

Элизабет Вернер

Своей дорогой



Элизабет Вернер Своей дорогой

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7740581

Аннотация

«Была весна. Небо и море, залитые солнечным светом, блистали яркой синевой; с тихим плеском к берегам Ривьеры подкатывались волны. Здесь весна уже наступила во всем своем великолепии, тогда как на севере еще бушевали снежные метели...»

Содержание

| | |
|----|-----|
| 1 | 5 |
| 2 | 14 |
| 3 | 28 |
| 4 | 53 |
| 5 | 70 |
| 6 | 77 |
| 7 | 102 |
| 8 | 121 |
| 9 | 141 |
| 10 | 161 |
| 11 | 171 |
| 12 | 176 |
| 13 | 182 |
| 14 | 196 |
| 15 | 223 |
| 16 | 236 |
| 17 | 252 |
| 18 | 265 |
| 19 | 280 |
| 20 | 290 |
| 21 | 305 |
| 22 | 318 |
| 23 | 332 |

| | |
|----|-----|
| 24 | 347 |
| 25 | 356 |
| 26 | 371 |
| 27 | 385 |

Эльза Вернер Своей дорогой

1

Была весна. Небо и море, залитые солнечным светом, блистали яркой синевой; с тихим плеском к берегам Ривьеры подкатывались волны. Здесь весна уже наступила во всем своем великолепии, тогда как на севере еще бушевали снежные метели.

Золотые лучи солнца играли на белых стенах домов и вилл города, расположенного на морском берегу широким полукругом; всюду высились стройные пальмы, зеленели лавры и мирты, на темной зелени пестрели тысячи камелий, все роскошно цвело и благоухало. С окрестных гор смотрели вниз древние, сверкающие белизной церкви; из-за пиний и оливковых деревьев выглядывали небольшие поселения, а вдали, словно плавающая в прозрачном, пронизанном солнечным сиянием воздухе, голубели увенчанные снегом вершины Альп.

Сегодня Ницца отмечала один из своих весенних праздников, и все население города и его окрестностей стремились в одно место; по улицам двигалась бесконечная вереница роскошных экипажей, все окна и балконы пестрели зри-

телями, а на тротуарах теснилась веселая толпа.

На корсо¹ перестрелка цветами была в полном разгаре. В воздухе беспрестанно мелькали душистые букеты; цветы, которые на севере являются большой редкостью и стоят немалых денег, здесь разбрасывались без всякого сожаления. Всюду развевались флаги, в воздухе стоял гул от веселых восклицаний, смеха и музыки, и разливался одуряющий аромат фиалок.

На террасе одной из гостиниц стояла небольшая группа мужчин, очевидно, соотечественников, случайно встретившихся здесь, за границей; они говорили по-немецки. Живой интерес, с которым двое младших следили за необычным зрелищем, показывал, что оно было для них ново; что касается третьего, довольно пожилого человека, то он оставался равнодушен к тому, что происходило перед его глазами.

– Я ухожу, – сказал он, взглянув на часы. – Это волнение и суэта способны оглушить хоть кого; невольно захочется тишины и покоя. А вы, господа, верно, еще останетесь?

По-видимому, молодые люди действительно намеревались остаться; один из них – красивый, стройный человек, очевидно, военный в штатском костюме – со смехом ответил:

– Разумеется, господин фон Штетен! Мы еще совершенно не Устали и не нуждаемся в отдыхе, и это зрелище нам,

¹ Корсо – главная улица, предназначенная для карнавальных гуляний Некоторых городах Италии, Франции.

северянам, кажется чем-то волшебным. Не правда ли, Вите-
нау? Ах, вот и Вильденроде! Вот это красота! Экипажа по-
чти не видно из-под цветов, а прекрасная Цецилия похожа
на настоящую фею весны!

Проезжавший мимо экипаж в самом деле выделялся рос-
кошным убранством; он был весь украшен камелиями, ими
же были убраны шляпы кучера и лакея, даже лошади.

Впереди сидели господин с гордой, аристократической
внешностью и девушка в шелковом платье и воздушной бе-
лой шляпке. Молодой человек, расположившийся на заднем
сидении, прилагал все усилия, чтобы уложить массу цветов,
которые сыпались со всех сторон именно в этот экипаж; ча-
сто летели и большие, дорогие букеты, брошенные, очевид-
но, в знак поклонения красоте девушки, а она, улыбаясь, си-
дела среди цветов и блестящими глазами смотрела вокруг
на возбужденную толпу.

Офицер схватил букет фиалок и ловким движением кинул
его в экипаж; однако вместо девушки букет попал в руки ее
спутника, и тот небрежно бросил его вместе с другими цве-
тами в кучу, висившуюся рядом с ним на заднем сидении.

– Ну, я посылал букет, конечно, не Дернбургу, – с неко-
торой досадой произнес офицер. – Само собой разумеется,
он опять в экипаже Вильденроде; теперь их можно встретить
только в его обществе.

– Да, с тех пор, как появился этот Дернбург, они, кажется,
считают излишним поддерживать прежние знакомства, –

заметил Витенау, мрачно следя за экипажем.

– Так и вы уже успели это заметить? Да, к сожалению, миллионеры всегда оказываются на первом плане, и, полагаю, барон Вильденроде особенно способен оценить это качество в своем друге, ведь не секрет, что в Монако² удача подчас отворачивается от него.

– Ну, об этом и речи быть не может, – возразил Витенау почти с недовольством. – Барон по виду очень приличный человек и вращается здесь в высшем обществе.

– Это еще ничего не значит. Именно здесь, в Ницце, границы между миром людей так называемого высшего общества и миром авантюристов почти совершенно исчезают; никогда не знаешь точно, где кончается один и начинается другой. А этот Вильденроде – Бог его знает, что он из себя представляет! В самом ли деле он дворянин?

– Несомненно, дворянин, это я могу засвидетельствовать, – вмешался Штетен, до сих пор слушавший молча.

– А, так вы знаете его?

– Много лет тому назад я бывал в доме старого барона, теперь уже умершего, и знаком с его сыном. Правда, я мало знаю его, но на свое имя и титул он имеет полное право.

– Тем лучше, – небрежно ответил офицер. – Впрочем, у меня с ним не более как шапочное знакомство, завязавшееся во время путешествия; оно ни к чему нас не обязывает.

² Крохотное княжество в Ривьере вблизи Ниццы с игорным домом, на средства которого оно существует.

– Разумеется, ни к чему; эти отношения так же легко порвать, как и завязать, – заметил Штетен с некоторым ударением. – Однако, мне пора! До свидания, господа!

– Я пойду с вами, – сказал Витенау, у которого вдруг как будто пропала охота смотреть на праздник. – Ряды экипажей уже начинают редеть. Только нам тяжеловато будет идти по улицам.

Они простились со своим товарищем и ушли с террасы. Действительно, нелегко было продвигаться в густой толпе, и прошло довольно много времени, прежде чем вся суета и толкотня остались позади них.

Разговор не вязался; Витенау был рассеян или не в духе. Вдруг он произнес без всякого предисловия:

– Значит, вы довольно близко знакомы с Вильденроде, а между тем я узнаю об этом только сегодня! И вы никогда не бываете у них!

– Нет, не бываю, – холодно ответил Штетен, – и для вас я желал бы другого общества. Я уже не раз делал вам намеки, но вы не хотели понимать их.

– Меня ввел в их дом один соотечественник, а вы выражались так неопределенно...

– Потому что сам не знаю ничего определенного. Знакомство, о котором я недавно говорил, существовало двенадцать лет тому назад, а с тех пор многое переменялось. Ваш друг прав: в Ницце граница между честным обществом и авантюристами нередко совсем пропадает, и, мне кажется, в насто-

ящее время Вильденроде находится уже по ту сторону этой границы.

– Вы не верите, что он богат? – спросил пораженный Витенау. – Он живет с сестрой на широкую ногу, его дела, по видимому, в блестящем состоянии, и, во всяком случае, в настоящее время в его распоряжении, наверно, значительные средства.

– Об этом надо спросить в Монако, ведь Вильденроде там – постоянный гость и, говорят, играет почти всегда удачно; но сколько времени ему будет везти – другой вопрос. Ходят слухи и кое о чем другом, посерьезнее. У меня нет желания возобновлять старое знакомство, хотя прежде мы были в довольно близких отношениях, так как наше родовое имение граничит с бывшими владениями Вильденроде.

– Бывшими? – переспросил молодой человек. – Так их имения проданы? Впрочем, я вижу, вам не хочется говорить об этом.

– С посторонними – конечно, но вам я готов, рассказать все, зная, что у вас есть причины интересоваться ими. Надеюсь, этот разговор останется между нами?

– Даю вам слово!

– Ну-с, это короткая и, к сожалению, обыкновеннейшая история. Имения Вильденроде давно уже были в долгах, тем не менее владельцы продолжали жить на широкую ногу. Барон женился вторично в преклонном возрасте, когда его сын уже был совершенно взрослым человеком; он ни в чем не мог

отказать своей молодой жене, а у нее было много, даже очень много желаний; сын, атташе посольства, тоже привык к роскоши; к этому прибавились неожиданные денежные расходы, и наконец разразилась катастрофа. Барон внезапно умер от удара – по крайней мере, так говорили...

– Он наложил на себя руки?

– Весьма вероятно. Надо полагать, он не смог пережить разорение и позор. Впрочем, семья избежала позора, ей помогло правительство, ведь бароны Вильденроде принадлежали к числу самых старинных дворянских родов в стране, и их имя надо было спасти во что бы то ни стало; замок и имения перешли во владение короля, кредиторы были удовлетворены, и продажа имений была воспринята всеми как добровольная. Семье, разумеется, не осталось ничего; вдове с маленькой дочерью пришлось бы терпеть нищету, если бы король не утвердил за ней ежегодной ренты и не дал помещения в одном из замков. А вскорости она умерла.

– А сын? Молодой барон?

– Он, конечно, вышел в отставку, да и должен был выйти при таких обстоятельствах; лишившись всяких средств, он не мог уже оставаться атташе посольства. Без сомнения, это был жестокий удар для честолюбивого человека, который так неожиданно оказался у разбитого корыта. Конечно, он мог избрать другой, вполне достойный и почетный путь; ему наверняка дали бы какое-нибудь место; но принять его значило бы, во-первых, унизиться, выйти из того общества,

в котором он играл до сих пор первую роль, а во-вторых, надо было упорно трудиться и довольствоваться сравнительно скудными средствами, а для Оскара фон Вильденроде это было невозможно. Он отказался от всех предложений, уехал за границу и пропал. Теперь, через двенадцать лет, я снова встретил его здесь, в Ницце, вместе с сестрой, которая тем временем выросла, но мы оба предпочли считать друг друга незнакомыми.

Витенау задумчиво выслушал этот рассказ и ничего не ответил. Штетен взял его под руку и произнес вполголоса:

– Вам не следует так враждебно смотреть на молодого Дернбурга, потому что его появление, по всей вероятности, спасло вас, помешав сделать большую глупость!

Молодой человек сильно покраснел; он явно смутился.

– Господин фон Штетен, я...

– Я ведь не упрекаю вас в том, что вы слишком глубоко заглянули в некие красивые глаза, – перебил его Штетен, – это так естественно в ваши годы, но в данном случае вы могли бы слишком дорого заплатить за свою смелость. Подумайте сами, годится ли в жены скромному помещику девушка, выросшая в такой обстановке и под таким влиянием? Хотя вы едва ли получили бы согласие Цецилии Вильденроде, потому что окончательное решение зависит от брата, а тому нужен зять-миллионер.

– А Дернбург, говорят, – наследник нескольких миллионов, – прибавил Витенау с Нескрываемой горечью, – следо-

вательно, он удостоится чести стать зятем барона Вильденроде.

– Что он наследник миллионов, это факт. Metallургические заводы Дернбурга, несомненно, самые значительные во всей Германии и прекрасно работают, их теперешний владелец – человек, каких немного; я случайно познакомился с ним несколько лет тому назад. Однако вот и Вильденроде возвращаются!

В самом деле, к ним приближался экипаж барона. Разгоряченные лошади мчались во весь опор, и экипаж, поднимая столбы пыли, пролетел мимо отошедших в сторону Штетена и Витенау.

– Жаль Оскара Вильденроде! – серьезно сказал Штетен. – Он очень незаурядный человек, и, может быть, из него вышло бы что-нибудь замечательное, если бы судьба так внезапно и безжалостно не вырвала его из круга, в котором он родился и вырос. Не смотрите так мрачно, Витенау! Вы немного погорюете о несбывшейся мечте юности, а вернувшись домой, к своим полям и лугам, поблагодарите судьбу за то, что эта мечта так и осталась мечтой.

2

Тем временем экипаж мчался дальше и остановился у подъезда одной из больших гостиниц, по виду которой можно было понять, что здесь останавливались лишь богатые иностранцы. Комнаты барона Вильденроде и его сестры были самыми лучшими и очень дорогими и отличались удобствами, к которым привыкли избалованные гости; в глаза бросалась чрезвычайно дорогая обстановка, но, как это всегда бывает в гостиницах, она была лишена малейшего изящества.

Приехавшие вошли в салон. Цецилия ушла в свою комнату, чтобы снять шляпу и перчатки, а ее брат и гость, разговаривая, вышли на веранду.

Дернбургу можно было дать лет двадцать пять. Его внешность была приятной, но не производила особенного впечатления. Тщедушная, несколько сгорбленная фигура, бледный цвет лица и своеобразный румянец на щеках ясно говорили, что он приехал на солнечные берега Ривьеры для восстановления здоровья. Черты его лица были слишком мягки и нежны для мужчины; та же мягкость выражалась и в мечтательном взгляде темных глаз. Самоуверенности, свойственной богатому наследнику, не было и следа; его манеры были крайне неприятельны, почти робки, и, если бы не его имя, благодаря которому его всюду принимали как почетного го-

стя, ему грозила бы опасность остаться совершенно незамеченным в обществе.

Внешность барона была полнейшей противоположностью. Оскар фон Вильденроде уже не мог похвалиться молодостью – ему было под сорок. В его высокой фигуре было что-то повелительное, а гордые, правильные черты лица можно было назвать красивыми, несмотря на резкость линий и глубокую складку между бровями, которая придавала ему мрачный оттенок; в темных глазах можно было прочесть лишь холодное спокойствие и наблюдательность, но иногда в них загоралась искорка, указывавшая на страстную, необузданную натуру.

– Надеюсь, вы не серьезно говорите об отъезде? – спросил барон. – По-моему, вам рано уезжать, вы попадете в самый разгар бурь и дождей, которые в нашей Германии удостаиваются названия весны. Всю зиму вы провели в Каире, всего шесть недель живете в Ницце, и вам еще не следует испытывать влияние сурового северного климата, если, конечно, не хотите подвергать опасности только что укрепившееся здоровье.

– Да я и не собираюсь ехать в ближайшие дни, – ответил Дернбург, – но и не могу откладывать возвращения домой на слишком долгое время; я провел на юге больше года, опять чувствую себя совершенно здоровым, и отец настаивает, чтобы я поскорее вернулся в Оденсберг.

– Ваш Оденсберг представляется мне чем-то величествен-

ным, – заметил барон. – По властолюбию вашего отца, по-видимому, можно сравнивать с правителем небольшого государства; он ведет себя как неограниченный повелитель.

– Да, но зато на нем лежит много забот и большая ответственность. Вероятно, вы и не подозреваете, что значит руководить такими предприятиями. Нужно обладать железной волей моего отца, чтобы вести такие дела; это исполинская задача.

– Как бы то ни было, это могущество, а могущество это – счастье, – возразил Вильденроде, и глаза его блеснули.

– Может быть, для вас и для моего отца, а я устроен иначе. Я предпочел бы тихую жизнь при самых скромных условиях в одном из райских мест южной Европы, примерно как здесь; но я единственный сын, и когда-нибудь Оденсберг должен перейти ко мне по наследству; о выборе не может быть и речи.

– Какая неблагодарность, Дернбург! Добрая фея с колыбели наделила вас жребием, о котором все мечтают, а вы принимаете его со вздохом.

– Потому что он мне не по плечу, и я чувствую это. Когда я смотрю на отца и думаю, что в будущем мне придется заменить его, то мне становится страшно; мной овладевают уныние и робость, с которыми я совершенно не могу справиться.

– В будущем! – повторил бурой. – Зачем думать о таком далеком времени? Ваш отец здоров и еще полон сил,

наконец, ведь он оставит вам хороших помощников в лице своих служащих, прошедших хорошую школу под его руководством. Так вы в самом деле недолго пробудете в Ницце? Жаль! Нам будет недоставать вашего общества.

– «Нам»? – тихо повторил Дернбург. – Вы говорите также и от имени вашей сестры?

– Конечно! Цецилии будет неприятно лишиться своего верного рыцаря. Разумеется, найдутся люди, которые постараются утешить ее. Кстати, знаете, вчера я чуть серьезно не поссорился с Марвиллем из-за того, что предложил вам место в своем экипаже, на которое он наверняка рассчитывал!

Лицо молодого человека омрачилось, и он с раздражением ответил:

– Виконт Марвилль всегда претендует на место возле баронессы и, конечно, с успехом заменит меня.

– Если вы добровольно уступите ему это место, – может быть. До сих пор Цецилия отдавала предпочтение своему соотечественнику-немцу, но, несомненно, что этот любезный француз нравится ей; к тому же отсутствующий всегда оказывается виноват, особенно в глазах молодых девиц.

Барон говорил шутливым тоном, не стараясь придать особенное значение своим словам, как будто вообще считал это дело не особенно серьезным. Тем серьезнее, по-видимому, смотрел на него Дернбург; он ничего не ответил, но было видно, что он борется с самим собой; наконец он заговорил неуверенным тоном и запинаясь:

– Господин фон Вильденроде, я хотел... давно уже... только до сих пор не смел...

Барон посмотрел на него вопросительно. В его глазах выражалась не то насмешка, не то сострадание; этот взгляд, казалось, говорил: «Ты хочешь предложить свои миллионы и «не смеешь» заговорить об этом?». Однако он произнес:

– Говорите, говорите, пожалуйста! Ведь мы не совсем чужие друг другу и, смею надеяться, я имею некоторое право на ваше доверие.

– Может быть, для вас не тайна, что я люблю вашу сестру, – почти робко произнес Дербург, – но все-таки позвольте мне сказать вам, что обладание Цецилией было бы для меня высшим счастьем и что я сделаю все от меня зависящее, чтобы она также была счастлива. Могу ли я надеяться?

Вильденроде, действительно, нисколько не был удивлен этим признанием; он только многообещающе улыбнулся.

– Об этом вам следует спросить у самой Цецилии. Девушки вообще щепетильны в таких делах, а моя сестрица особенно; очень может быть, что я чересчур снисходителен к ней, а в обществе ее еще больше балуют, в чем вы могли убедиться хотя бы во время сегодняшнего катанья.

– Да, я видел, – удрученным тоном произнес молодой человек, – и именно поэтому у меня не хватало до сих пор мужества заговорить с ней о своей любви.

– В самом деле? В таком случае я считаю своим долгом ободрить вас. Предвидеть решение нашей капризной ма-

ленькой принцессы невозможно, но, между нами говоря, я не боюсь, что вы получите отказ.

– Вы думаете? – с восторгом воскликнул Дернбург. – А вы, барон?

– Я с удовольствием буду приветствовать вас как зятя и с полным спокойствием доверю вам судьбу сестры. Ведь мне нужно одно: чтобы эта девочка была любима и счастлива.

– Благодарю вас! – воскликнул Дернбург. – Я невыразимо счастлив уже тем, что вы согласны и подаете мне надежду на успех, а теперь...

– Вы хотели бы услышать согласие и из других уст? – со смехом докончил Вильденроде. – Я с удовольствием доставлю вам случай объясниться, но вы должны сами добиться согласия сестры: я предоставляю ей полную свободу. Надеюсь, мое предположение придало вам некоторую храбрость; попытайтесь же, милый Эрих!

Барон дружески кивнул головой миллионеру и вышел. Дернбург вернулся в салон, и его взгляд остановился на массе цветов, принесенных лакеем из экипажа. Да, действительно, Цецилия Вильденроде избалована вниманием общества. Как осыпали ее сегодня цветами и комплиментами! У нее был огромный выбор поклонников; имел ли он, Дернбург, основание надеяться, что она выберет именно его? Он мог предложить Цецилии богатство, но ведь она сама была богата – поведение ее брата не позволяло сомневаться в этом; кроме того, она происходит из старинного дворянского ро-

да и представляет, по крайней мере, не менее выгодную партию, чем он.

По лицу молодого человека было ясно видно, что, несмотря на поощрение барона, он боится предстоящего объяснения.

Тем временем Вильденроде прошел в комнату сестры. Цецилия стояла перед зеркалом и, когда он вошел, слегка обернулась.

– Ах, это ты, Оскар? Я сейчас приду, только воткну цветок в волосы.

Барон взглянул на роскошный букет бледно-желтых роз, лежавший на туалетном столике перед Цецилией, и спросил:

– Эти цветы ты получила от Дербурга?

– Да, он подарил мне их сегодня перед катанием.

– Хорошо, укрась ими волосы.

– Это я сделала бы и без твоего милостивого разрешения, потому что они красивее всех других, – рассмеялась Цецилия и, вытащив из букета одну из роз, необыкновенно грациозным движением поднесла ее к волосам.

Стройная девятнадцатилетняя девушка была совершенно не похожа на брата; на первый взгляд у них только и было общего, что темный цвет волос и глаз, в остальном же ни одна черточка не указывала на их кровное родство.

Цецилия относилась к тем девушкам, которые производят неизгладимое впечатление на мужчин. Черты ее лица были не такими правильными, как у брата, но они обладали неот-

разимой прелестью; совершенно черные, необычайно густые волосы, зачесанные по последней моде, и смуглый, матовый цвет кожи никак не напоминали о ее германском происхождении; из-под черных ресниц влажно блестели темные глаза, казавшиеся загадкой всем, кто заглядывал в них поглубже. Это не были глаза только что расцветшей девушки; в их темной глубине тоже тлела искра, готовая разгореться в яркое пламя, и в них было то же пылкое, страстное выражение, которое скрывалось у Оскара под кажущейся холодностью. Только в этом заключалось сходство между братом и сестрой, но то было роковое сходство.

На Цецилии было то же шелковое платье, в котором она ездила на корсо; к груди она приколотла несколько полураспустившихся бутонов, а в темные волосы воткнула совершенно распустившуюся розу. В этом душистом украшении она была прелестна, и взгляд брата с видимым удовольствием остановился на ней.

– Цецилия, – понизив голос, заговорил он, – Эрих Дернбург предлагает тебе кое-что поважнее роз – свою руку. Он только что говорил со мной, и сейчас хочет объясниться и с тобой.

Молодая девушка приняла это известие без малейших признаков удивления и равнодушно спросила:

– Уже?

– Уже! Я давно ждал этого, и Дернбург давно был намерен объясниться, но, должно быть, ты мало поощряла его.

Между бровями Цецилии образовалась морщинка, и она воскликнула:

– Если бы только он не был так ужасно скучен!

– Цецилия, ты знаешь, как я желаю этого союза, и, надеюсь, что ты будешь вести себя соответственно этому желанию.

Слова барона звучали весьма жестко и, казалось, не допускали возражения сестры; она нетерпеливым движением отодвинула в сторону остальные розы.

– Но почему же я должна выйти именно за Дербурга? Виконт Марвилль гораздо красивее, гораздо приятнее...

– Но и не помышляет о том, чтобы сделать тебе предложение, так же, как и все другие твои поклонники, – перебил ее Вильденроде. – В этом ты можешь положиться на меня: я прекрасно знаю всех этих господ. Брак с Дербургом укрепит за тобой блестящее положение в свете: Дербург очень богат.

– Что же из этого? Мы тоже богаты.

– Нет! – коротко и резко ответил барон, – мы не богаты! Я вынужден сказать тебе это для того, чтобы ты из-за каприза или ребячества не погубила своего будущего. Я вполне убежден, что ты примешь предложение Дербурга.

Цецилия полуиспуганно, полунедоверчиво смотрела на брата; но, очевидно, она привыкла подчиняться его авторитету, а потому не пыталась более противоречить.

– Как будто я посмею сказать «нет», когда мой строгий,

братец велит сказать «да»? – ответила она, надув губы. – Только пусть Дернбург не воображает, что я стану жить с ним в его скучном Оденсберге! Жить среди орды рабочих, вблизи заводов с их пылью и копотью! Мне делается страшно даже при одной мысли об этом.

– Это все устроится. Ты не имеешь никакого понятия о том, что значит быть владельцем оденсбергских заводов и какое положение в свете ты займешь как жена Эриха; когда ты уяснишь себе это, то поблагодаришь меня за мой выбор. Однако пойдем: не будем заставлять долго ждать твоего будущего супруга.

Барон взял сестру под руку и повел ее в салон, где их ждал обеспокоенный Дернбург. Барон не подал вида, что заметил это, и завел непринужденный разговор с ним и сестрой о катании по корсо и небольших приключениях, происшедших за день; наконец ему пришло в голову полюбоваться солнечным закатом; он вышел на веранду, как будто нечаянно запер за собой стеклянную дверь и таким образом дал молодым людям возможность остаться с глазу на глаз.

– Здесь как на цветочном рынке! – со смехом воскликнула Цецилия, указывая на заваленный цветами стол. – Франсуа, разумеется, постарался как можно безвкуснее нагромоздить их друг на друга; придется самой заняться этим. Не поможете ли мне?

Она поставила букеты в вазы, а остальными принялась украшать камин. Дернбург помогал ей, но оказался очень

неловким, так как его глаза неотрывно следили за стройной фигурой девушки в блестящем платье и пышной розой в темных волосах. Он с первого взгляда узнал, что она приколола его цветы, и счастливая улыбка появилась на его губах. «Не сделал ли ей брат хоть какого-нибудь намека?» – подумал он. – Но нет, она держалась непринужденно, ее шаловливое обращение с ним ничем не отличалось от обычного, она весело смеялась над его рассеянностью, – не может быть, чтобы она уже знала о его предложении!

Действительно, в Цецилии не было и следа милой застенчивости и смущения молодой девушки, готовящейся услышать решительный вопрос из уст мужчины; ей и в голову не приходило смотреть на дело серьезно. Ей шел двадцатый год; в кругу, к которому она принадлежала, молодые девушки всегда выходят замуж в этом возрасте, или, скорее, их выдают замуж, так как обычно за них решают родители; она ровно ничего не имела против замужества вообще. Ей казалась весьма заманчивой свобода, которой пользуется замужняя женщина, ей хотелось приобрести право самостоятельно выбирать туалеты и пользоваться прочими прелестями, хотелось выйти из-под власти брата, который бывал иногда настоящим деспотом, только... виконт Марвилль казался ей несравненно более пылким и любезным, чем этот Дернбург, не обладавший даже дворянским титулом! Собственно говоря, она находила возмутительным факт, что баронессе Вильденроде придется носить простую мещанскую фамилию.

Девушка взяла последний букет, как вдруг услышала свое имя, произнесенное почти шепотом, но с глубокой нежностью: «Цецилия!». Она обернулась и взглянула на стоявшего рядом Эриха; он продолжал тем же тоном:

– Ваши глаза и мысли заняты только цветами; неужели у вас нет ни одного взгляда для меня?

– А вы так нуждаетесь в моем взгляде? – кокетливо спросила Цецилия.

– О, как нуждаюсь! Он должен придать мне мужества для одного признания. Согласны ли вы выслушать меня?

– Какой торжественный тон! Разве то, что вы хотите сказать, так уж важно?

– Я прошу вас подарить мне счастье всей моей жизни! Я люблю вас, Цецилия, полюбил с первого дня, когда увидел! Вы должны были уже давно заметить мою любовь, догадаться... но вы всегда окружены поклонниками и так редко давали мне повод надеяться. Теперь срок моего отъезда приближается, и я не в силах уехать, не узнав своей судьбы. Хотите ли вы быть моей, Цецилия? Я все положу к вашим ногам, буду исполнять каждое ваше желание, всю жизнь буду носить вас на руках! Скажите только слово, одно единственное слово, которое дало бы мне надежду, но не говорите «нет», потому что этого я не переживу!

Дернбург схватил руку девушки, его лицо покрылось яркой краской, голос дрожал от сильного волнения. Это признание нельзя было назвать бурным и страстным, но в каж-

дом слове слышались глубокая любовь и нежность. Цецилия, которой уже многие говорили о любви, но которой был совершенно незнаком такой тон, слушала не то с изумлением, не то с любопытством. Она никак не ожидала такого объяснения от своего тихого, робкого поклонника; он продолжал умолять еще нежнее, еще настойчивее, и наконец желанное «да» слетело с ее губ, правда, несколько нерешительно, но добровольно.

В избытке счастья Дернбург хотел заключить свою невесту в объятия, но она отскочила назад; это было бессознательное движение испуга, почти отвращения; оно, по всей вероятности, оскорбило бы и охладило бы всякого другого, но Эрих увидел в нем лишь милую стыдливость девушки и тихо сказал, ласково удерживая ее руки в своих:

– Цецилия, если бы ты знала, как я люблю тебя!

Голос Дернбурга был так нежен, что не мог не произвести впечатления на Цецилию; она только теперь сообразила, что не может отказать жениху в его праве.

– Ну, значит, и мне придется немножко любить тебя, Эрих! – сказала она с восхитительной улыбкой и позволила ему обнять себя и поцеловать.

Вильденроде продолжал стоять на веранде и обернулся только тогда, когда парочка подошла к нему. Дернбург, сияя гордостью и счастьем, представил ему свою невесту и принял поздравление своего будущего шурина, который обнял сначала сестру, а потом и его.

Веял теплый весенний ветерок; ослепительный блеск дня уже поблек, уступая место тому чудному теплему сиянию, которое можно наблюдать только на юге во время заката солнца; город и окружающие возвышенности точно светились в красных лучах, морские волны вздымались и плескались, как расплавленное золото; розовый туман заволакивал горы вдали, а кровавый солнечный диск опускался все ниже и наконец исчез за горизонтом.

Эрих обвил рукой талию невесты и стал нашептывать ей на ухо тысячи нежностей. Будущее с любимой девушкой представлялось ему таким же ясным и золотистым, как прекрасный мир, расстилавшийся перед ним. Вильденроде стоял отвернувшись; из его груди вырвался глубокий вздох и он чуть слышно прошептал с торжествующим блеском в глазах:

– Наконец-то!

3

– Мне очень жаль, господа, но я считаю все ваши проекты несостоятельными. Необходимо поскорее найти по возможности дешевый способ осушения почвы Радефельда; ваши же проекты требуют таких трудоемких и дорогостоящих работ, что об их выполнении не может быть и речи.

Таковыми словами Эбергард Дернбург, владелец оденсбергских заводов, энергично отверг предложения своих служащих. Те пожали плечами, продолжая смотреть на планы и чертежи, разложенные на столе; наконец один из них сказал:

– Но ведь все работы осложняются тем, что здесь очень тяжелые почвы, гора и лес на всем протяжении.

– И надо быть готовыми ко всяким случайностям, – вставил другой.

– Осушение, действительно, обойдется дорого, но в данном случае иначе и быть не может.

Все трое – директор заводов, главный инженер и заведующий техническим бюро – совершенно сходились во мнении. Совещание происходило в рабочем кабинете Дернбурга, где последний обычно принимал доклады своих подчиненных; сегодня здесь присутствовал и его сын. Это была просто отделанная комната с книжными шкафами; письменный стол был завален бумагами, на боковых столах лежали планы и карты. Эта комната была центром управления всех

громадных оденсбергских заводов, местом неустанной работы и непрерывной деятельности.

– Так вы считаете, что по-другому сделать никак нельзя? – снова заговорил Дернбург, вынимая из лежащего перед ним портфеля бумагу и разворачивая ее. – Взгляните-ка сюда, господа! Здесь прокладка трубы начинается тоже с верхнего участка, но Потом она проходит сквозь гору Бухберг и уже без всяких затруднений идет через Радефельд к заводам. Вот решение, которое мы ищем.

Все с несколько растерянным видом поспешно нагнулись над чертежом; такой проект, действительно, не приходил в голову ни одному из них, по-видимому, они смотрели на него не особенно благосклонно.

– Прорезать Бухберг? – спросил директор. – Весьма смелый план, несомненно, представляющий значительные выгоды, но я считаю его невыполнимым.

– И я также, – присоединился к нему главный инженер. – Во всяком случае, чтобы узнать, возможно ли осуществить этот план, необходимы предварительные исследования. Бухберг...

– Будет прорезан, – перебил его Дернбург. – Подготовка к работам уже начата. Эгберт Рунек производивший там исследования, утверждает, что это возможно, и подробно излагает свои соображения в объяснительной записке.

– Так это его план? – спросил заведующий техническим бюро. – Я так и думал.

– Что вы хотите этим сказать, господин Вининг? – спросил Дернабург, быстро обернувшись.

Вининг поспешил его заверить, что он не хотел сказать ничего особенного; этот вопрос интересовал его только потому, что он был непосредственным начальником молодого техника. Остальные молчали, но смотрели на своего патрона странным, вопросительным взглядом.

Однако тот как будто не замечал этого и сказал спокойно, но с известной резкостью в голосе:

– Я решил принять план Рунека, он соответствует всем моим требованиям, а издержки будут приблизительно вдвое меньше, чем при выполнении ваших проектов. Отдельные детали, разумеется, надо будет еще обсудить, но во всяком случае следует приступить к работам как можно скорее. Мы еще поговорим об этом, господа.

Служащие поклонились и вышли; в передней директор остановился и спросил вполголоса:

– Что вы на это скажете?

– Я не понимаю нашего патрона, – ответил главный инженер, также осторожно понизив голос. – Неужели он действительно ничего не знает? Или он не хочет знать?

– Понятно, знает! Я сам докладывал ему об этом, да наш господин социалист и не думает оставлять в тайне свои взгляды; он говорит об этом без малейшего стеснения. Пусть кто-нибудь другой решился бы на то же здесь, в Оденсберге – ему сию же минуту указали бы на дверь, а об отставке

Рунека, кажется, и речи нет! Вот и его план сразу же приняли, в то время как нам весьма ясно дали понять, что наши никуда не годятся. Ведь это, если хотите, возмутительно!

– Подождите еще, – спокойно перебил его Вининг, – в этом вопросе наш патрон не допускает шуток; в свое время он вмешается и, если Рунек не подчинится безоговорочно, – будь он хоть десять раз другом и спасителем его сына, – ему не сдобровать!

– Будем надеяться! – сказал директор. – Кстати, об Эрихе; он выглядит еще совсем больным и поразительно молчалив; на совещании он не сказал и десяти слов.

– Потому что ничего в этом не смыслит. Какими только знаниями его ни пичкали, но, очевидно, в его голове мало что застряло. Он ничего не унаследовал от отца ни физически, ни нравственно. Однако мне пора идти, надо съездить в Радефельд. До свидания, господа!

Отец и сын Дернбурги остались в кабинете одни. Первый стал молча ходить взад и вперед; несомненно, он был в плохом настроении.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Эбергард Дернбург был еще в расцвете сил и только седые волосы и морщины на лбу свидетельствовали о том, что он уже находится на пороге старости; однако его волевое лицо не напоминало об этом, взгляд был еще пронизателен и ясен, высокая фигура стройна; манеры и речь показывали, что этот человек привык повелевать и всюду встречать полное повиновение. Таким об-

разом, даже внешность говорила о его сильной натуре.

Что сын не унаследовал от него ни одной черты, было как нельзя более ясно, а взгляд, брошенный на портрет в натуральную величину, висевший над письменным столом, до некоторой степени объяснял это обстоятельство; портрет изображал покойную жену Дербурга, и Эрих был похож на нее как две капли воды; это было то же лицо с тонкими, но ничем не примечательными чертами, с теми же мягкими линиями и тем же мечтательным взглядом.

– Вот так, мои мудрые специалисты! – наконец заговорил Дербург-старший насмешливым и раздраженным тоном. – Целый месяц возились над решением задачи, придумывали всевозможные планы, из которых ни один совершенно не годится, а Эгберт втихомолку произвел все нужные исследования и вдруг преподнес мне готовый проект, да еще такой проект! Как ты находишь его, Эрих?

Молодой человек смущенно посмотрел на чертеж, который держал в руках, и произнес:

– Ведь ты говоришь, что он прекрасен, папа. Я... извини, я еще не вполне разобрал, в чем дело.

– Но, мне кажется, он достаточно понятен и, кроме того, он у тебя в руках со вчерашнего вечера. Если тебе нужно так много времени, чтобы понять такой простой проект, к которому к тому же приложены всевозможные объяснения, то как же ты научишься быстро и правильно разбираться во всех делах? А ведь эта способность совершенно необходима

будущему владельцу оденсбергских заводов.

– Я полтора года не был здесь, – заметил Эрих, – и все это время доктора настаивали, чтобы я избегал всякого умственного напряжения; будь снисходителен ко мне и дай мне время опять привыкнуть к делу.

– Тебя с детства жалели и всячески оберегали от работы, – нахмурившись сказал Дернбург. – При твоей болезненности о серьезном учении нечего было и думать, а о практической деятельности и подавно. Я возлагал все свои надежды на твое возвращение с юга, а теперь... Впрочем, я не упрекаю тебя, ты не виноват, но это – большое несчастье для такого человека как ты, ведь твое положение накладывает на тебя определенные обязанности. Что будет, когда меня не станет? Положим, у меня надежные служащие, но ведь они полностью зависят от меня и работают лишь под моим руководством. Я привык все делать сам и не выпускать из рук бразды правления, а твоя рука, боюсь, никогда не будет в состоянии удержать их. Я уже давно убедился в необходимости подготовить тебе помощника на будущее. Надо же было Эгберту именно теперь сыграть со мной такую злую шутку и запутаться в сетях социал-демократов! Это хоть кого взбесит!

Он сильно топнул. Эрих с некоторой робостью посмотрел на отца и тихо сказал:

– Может быть, дело еще не так плохо, как тебе сказали; директор мог кое-что преувеличить.

– Ничего он не преувеличил! Это ученье в проклятом Бер-

лине погубило мальчика! Я забеспокоился уже тогда, когда он через каких-нибудь два-три месяца после отъезда отказался от денег, которые я давал ему на его образование, говоря, что сам как-нибудь заработает уроками черчения или другой работой. Я знал, что ему придется довольно-таки туго, но мне понравились его гордость и независимость, и я предоставил поступать, как ему угодно. Теперь я вижу, в чем дело! Уже тогда эти безумные идеи начали бродить в его голове, тогда уже были затянуты первые петли сети, в которой он теперь запутался; он не хотел принимать денег, зная, что, как только известие о его сближении с социалистами дойдет до меня, между нами все будет кончено.

– Я еще не говорил с ним, а потому и не могу судить об этом. Он в Радефельде?

– Он приедет сегодня, я жду его.

– Ты хочешь потребовать от него отчета?

– Конечно. Давно пора!

– Папа, прошу тебя, не будь слишком суров с Эгбертом!

Разве ты забыл...

– Что он вытащил тебя из воды? Нет, но он забыл, что с тех пор был для меня почти сыном. Не спорь со мной, Эрих! Ты не понимаешь этого.

Молодой человек замолчал; он не смел противоречить отцу. Вдруг тот остановился и сердито сказал:

– У меня и без того голова полна всевозможными неприятностями, а тут еще ты со своей любовью и намерением же-

ниться! С твоей стороны было чрезвычайно необдуманно торопиться с помолвкой, не дождавшись моего согласия.

– Я думал, что могу заранее рассчитывать на него, и Вильденроде, отдавая мне руку сестры, думал так же. Да и что ты можешь иметь против моего выбора? У тебя будет прелестная дочь; кроме того, она богата, из уважаемой семьи, принадлежит к старинному аристократическому роду...

– Этого я ни во что не ставлю, – резко перебил Дербург-старший. – Если даже твой выбор и вполне подходящ, ты должен был сначала спросить меня, а ты, прежде чем получил мой ответ, не только обручился, но даже позволил объявить об этой помолвке в Ницце. Так и кажется, что вы боялись протеста с моей стороны и хотели предупредить его.

– Да об этом и речи быть не может. Мои чувства к Цецилии были замечены окружающими, о нас стали судачить, и Оскар сказал мне, что во избежание недоразумения необходимо объявить о помолвке.

– Все равно, ты не должен был самовольничать. Впрочем, полученные мною сведения оказались вполне удовлетворительными. Я обратился за справками не в Ниццу, где путешественники останавливаются лишь на короткое время, а на родину Вильденроде. Их бывшие поместья теперь принадлежат королю, и гофмаршал дал мне все нужные сведения.

– Это было совершенно лишнее! – с упреком сказал молодой человек.

– Для тебя – может быть, а я считаю это необходимым.

Вильденроде принадлежат к старинной аристократии. Покойный барон, как кажется, вел расточительный образ жизни, но пользовался всеобщим уважением; после его смерти имения были проданы за весьма значительную сумму королю с условием, чтобы вдове было предоставлено право жить во дворце; все это соответствует тому, что сообщил тебе Вильденроде, к которому, кстати, я не питаю ни малейшей симпатии.

– Но ведь ты его не знаешь! Оскар – очень умный и во многих отношениях замечательный человек.

– Очень может быть, но человек, который, получив наследство, тотчас постарался подороже спустить родовые поместья, бросил службу отечеству и без всякого дела отправился шататься по свету, не внушает мне особенного уважения. Такая цыганская жизнь знатных трутней, переезжающих с места на место и всюду гоняющихся лишь за удовольствиями, мне противна. Я не вижу также особенно трогательной братской любви в том, что барон заставил свою молоденькую сестру разделять с ним такую жизнь.

– Он страстно любит Цецилию, и у нее нет никого на свете, кроме него. Неужели он должен был поручить свою единственную сестру чужим людям?

– Может быть, это было бы гораздо лучше; лишая молодую девушку родины и семьи, мы лишаем ее опоры; но Цецилия все это снова обретет здесь, у нас. Ты любишь ее и, если ты уверен в ее взаимности...

– Разве я получил бы ее согласие в противном случае? – воскликнул Эрих. – Ведь я рассказывал тебе, сколько у нее поклонников; все общество было у ее ног; у нее был огромный выбор, но она предпочла меня!

– Вот это-то меня и удивляет; ты не обладаешь ни одним из прекрасных качеств, привлекающих девушку с ее воспитанием и претензиями. Но, как бы то ни было, я желаю прежде всего лично познакомиться с твоей невестой и ее братом; мы пригласим их в Оденсберг, а там посмотрим, что делать. А пока я прошу тебя больше не распространяться об этом.

С этими словами Дернбург вышел из кабинета в библиотеку, расположенную рядом.

Эрих бросился в кресло. Он чувствовал крайнее разочарование; его помолвка не получила одобрения отца, и это подействовало на него подавляюще. Он даже не предполагал о возможности каких-либо возражений и воображал, что отец с восторгом одобрит его выбор; вместо этого отец стал наводить справки, раздумывать; по-видимому, он питал недоверие к Вильденроде и хотел оставить за собой право отказать в согласии в последнюю минуту. Молодого человека бросило в жар при мысли, что прежде чем его избалованная невеста и ее гордый брат получат доступ в их семью, они будут подвергнуты в Оденсберге чему-то вроде испытания.

Открылась дверь; Эрих вздрогнул и очнулся.

– Эгберт! – радостно воскликнул он, вскакивая и быстро

идя навстречу вошедшему.

Тот протянул ему руку.

– Добро пожаловать на родину, Эрих!

– Да, я долго пробыл за границей, так долго, что родина стала мне почти чужой. Мы не виделись целую вечность.

– В самом деле, ведь я два года пробыл в Англии и только недавно вернулся. Но прежде всего как твое здоровье?

Эгберт Рунек был почти ровесником Эриху, но на вид казался на несколько лет старше. Он производил впечатление достаточно сильного человека, а ростом был значительно выше Эриха; загорелое от солнца и ветра лицо было вовсе некрасиво, но каждая его черта была выразительна и энергична; густые белокурые волосы и борода имели легкий рыжеватый оттенок, над темно-серыми глазами высился сильно развитой лоб. Этот человек имел такой вид, как будто до сих пор не знал и не искал радостей жизни, а был знаком лишь с ее трудностями. В его движениях тоже чувствовалась какая-то суровость, впрочем, смягченная в настоящую минуту, какое-то упорство, которое составляло выдающуюся черту его характера.

– О, я совсем поправился, – сказал Эрих, отвечая на вопрос друга. – Разумеется, путешествие немного утомило меня и перемена климата отражается на моем здоровье, но все это пройдет.

– Конечно, тебе надо еще привыкнуть к северному климату.

– Если бы только это не было так трудно! – вздохнул Эрих. – Ведь ты не знаешь, что именно так долго и так упорно удерживало меня там, на солнечном юге.

– Нет, но по намекам в твоём последнем письме я без труда угадал истину. Или это – тайна?

Светлая, счастливая улыбка скользнула по лицу Эриха; он слегка покачал головой.

– Для тебя – нет, Эгберт. Отец желает, чтобы пока в Оденсберге об этом никто не знал, но тебе я могу сказать, что под пальмами Ривьеры, на берегу голубого моря, я нашел счастье, такое опьяняющее, такое сказочное, о каком никогда даже и не мечтал. Если бы ты знал мою Цецилию, если бы видел ее красоту, ее обворожительные манеры... Ах, вот опять холодная, насмешливая улыбка, с которой ты встречаешь всякое горячее, восторженное чувство! Ты, строгий Катон³, никогда не знал любви, не хотел ее знать.

– Мне с самой ранней молодости пришлось взяться за серьезную работу, а при такой жизни романтизм не идет в голову. Для того, что ты называешь любовью, у нашего брата нет времени.

Это бесцеремонное замечание обидело влюбленного жениха; он взволнованно воскликнул:

– Так ты считаешь любовь забавой бездельников? Ты все прежний, Эгберт! Ты никогда не верил в эту таинствен-

³ Катон, знаменитый государственный деятель древнего Рима (234–149 гг. до Р. Х.), в должности цензора отличался особенной строгостью.

ную, могучую силу, которая непреодолимо влечет двух людей друг к другу и соединяет их навеки.

– Нет! – с сознанием собственного превосходства ответил Эгберт. – Однако не будем спорить об этом. Тебе с твоим мягким сердцем необходимо любить и быть любимым; это для тебя – одно из условий жизни; я же создан совсем из другого теста и с давних пор стремлюсь к иным целям, которые несовместимы с мечтами о любви. Так твою невесту зовут Цецилией?

– Цецилией фон Вильденроде. Что с тобой? Тебе знакома эта фамилия?

Рунок, действительно, как будто смутился и странно-испытующе взглянул на друга.

– Мне кажется, я когда-то слышал ее, говорили о каком-то бароне Вильденроде.

– По всей вероятности, о моем будущем шурине, – непринужденно заметил Эрих, – это старинная и всем известная дворянская фамилия. Прежде всего ты должен посмотреть на мою Цецилию; я познакомил с ней отца и сестру, по крайней мере, по портрету.

Он взял со стола отца большую фотографию и протянул ее другу. Портрет был очень похож и хотя, конечно, не передавал всей прелести оригинала, но все-таки достаточно выказывал его красоту; на Рунека смотрели большие темные глаза Цецилии. Эгберт молча рассматривал портрет, и только вопросительный взгляд жениха заставил его сказать:

– Очень красивая девушка.

От этих слов повеяло ледяным холодом, и это умерило пыл Эриха, который рассчитывал услышать слова восторга. Они стояли у письменного стола; взгляд Рунека случайно упал на другую фотографию, и на его лице опять промелькнуло то же странное выражение, которое появилось раньше, когда он слышал фамилию Вильденроде; его лицо дрогнуло.

– А это, по всей вероятности, брат твоей невесты? Об этом нетрудно догадаться, они очень похожи.

– Это, действительно, Оскар фон Вильденроде, но сходства между ними нет никакого: Цецилия совершенно не похожа на брата. У нее не такие черты лица.

– Но те же глаза, – медленно сказал Эгберт, не сводя взгляда с двух портретов, а потом вдруг отодвинул их от себя и отвернулся.

– Ты не хочешь даже пожелать мне счастья? – с упреком спросил Эрих, обиженный таким равнодушием.

– Извини, я забыл. Дай тебе Бог счастья, такого счастья, какого ты заслуживаешь! Однако мне надо идти к твоему отцу, он ждет меня.

Он явно хотел окончить разговор. Эрих в свою очередь вспомнил о предстоящем свидании друга с отцом и о предмете их беседы.

– Папа в библиотеке, – ответил он, – и ему нельзя мешать; ты можешь еще посидеть со мной. Он вызвал тебя из Радефельда... тебе известно зачем?

– По крайней мере, я догадываюсь. Он говорил с тобой об этом?

– Да, я услышал эту новость от него первого. Эгберт, Бога ради, ведь ты знаешь моего отца, а также то, что он никогда не потерпит инакомыслия на своих заводах!

– Он вообще не терпит никакого мнения, кроме своего. Он не хочет понять и никогда не поймет, что мальчик, который обязан ему своим воспитанием, стал взрослым человеком; его удивляет, как это его воспитанник смеет иметь собственные убеждения и идти своей дорогой.

– Кажется, эти идеи довольно резко расходятся с нашими, – тихо сказал Эрих. – В письмах ты ни разу не упоминал об этом.

– Зачем? Тебя надо было оберегать от всякого волнения, и ты все равно не понял бы меня, Эрих. Ты с детства робко отворачивался ото всех вопросов современной жизни, а я заглянул настоящему прямо в глаза; если при этом между нами образовалась пропасть, то я не в силах изменить это.

– Между нами – нет, Эгберт! Мы друзья и останемся друзьями, что бы ни случилось! Или ты думаешь, я забыл, что обязан тебе жизнью? Конечно, ты, по-прежнему, и слышать не хочешь о моей благодарности, но я до сих пор чувствую все, что тогда испытал, помню падение в воду, ужас, наполнивший мою душу, когда бешеный водоворот подхватил меня, а потом блаженное чувство безопасности, когда твоя рука схватила меня. Я всеми силами мешал спасти меня, судо-

рожно цепляясь за тебя; я подвергал тебя самого смертельной опасности, и всякий другой бросил бы меня, но ты этого не сделал; благодаря своей исполинской силе, ты сумел удержаться на поверхности и продвигаться вперед, пока мы оба не достигли берега. Для шестнадцатилетнего мальчика это был героический подвиг!

– Это был просто удобный случай испытать свои силы и умение плавать, – возразил Рунек. – Для меня это купание не имело никаких последствий, тогда как ты опасно заболел от испуга и простуды.

Он замолчал, потому что в эту минуту в комнату вошел Дербург с книгой в руке; патрон так спокойно ответил на поклон молодого инженера, как будто между ними ровно ничего не случилось.

– Вы, конечно, наслаждаетесь первым свиданием после долгой разлуки? – спросил он. – Ты впервые видишь сегодня Эриха, Эгберт; как ты его находишь?

– У него все еще болезненный вид, и, конечно, ему надо некоторое время очень беречься.

– Доктор того же мнения. Сегодня ты как будто особенно утомлен, Эрих! Иди в свою комнату и отдохни.

Молодому человеку хотелось остаться, чтобы стать третейским судьей и примирителем между ними, если объяснение примет чересчур бурный характер, но слова отца звучали почти приказанием, а Рунек тихо произнес:

– Уйди, прошу тебя!

Эрих с горечью покорился. Он чувствовал в этой привычке щадить его что-то унижительное для себя и сознавал, что его щадили не только ввиду его физической слабости. Отец никогда не смотрел на него, как на самостоятельного и равного ему человека; собственно говоря, и друг смотрел на него так же. Теперь его удалили, чтобы он «отдохнул» – другими словами, его хотели избавить от необходимости быть свидетелем очень неприятного столкновения, а он позволил удалить себя с тягостным сознанием, что его присутствие совершенно не нужно и бесполезно.

Дернбург и Эгберт остались одни; первый опустился на стул перед столом, держа в руках чертеж радефельдской трубы и глядя на него.

– Я принимаю твой проект, Эгберт, он лучший из всех, которые были предложены мне, и прекрасно решает все проблемы. О некоторых подробностях надо еще подумать, тебе придется кое-что изменить, но в общем проект превосходен, и работы будут начаты в ближайшее время. Хочешь взять на себя их ведение?

Молодой инженер был очень удивлен, он ожидал совсем другого вступления. На его лице отразилось удовольствие, которое доставило ему одобрение патрона.

– Охотно соглашусь, но, насколько я знаю, работы уже поручены главному инженеру.

– Если я изменю решение, главному инженеру придется покориться, – объявил Дернбург. – Кто будет распоряжаться

выполнением твоего плана – ты или он, зависит единственно от тебя, но, прежде чем говорить об этом, нам надо выяснить один вопрос.

Эгберт был достаточно подготовлен, чтобы догадаться, о чем пойдет речь; предстоящее объяснение совершенно не пугало его. Его лицо приняло холодное и упрямое выражение, и он выдержал мрачный взгляд патрона.

– Я уже давно замечаю, что ты вернулся к нам совсем другим, – заговорил Дернбург. – До известной степени эта перемена была неизбежна; ведь ты пробыл три года в Берлине и два года в Англии, твой кругозор расширился; я сам послал тебя из Оденсберга для того, чтобы ты посмотрел мир и научился правильно судить о нем; но теперь до меня дошли кое-какие слухи, и я желал бы получить от тебя объяснение по этому поводу. Правда ли, что ты постоянно водишь компанию с социал-демократами, открыто признаешь себя одним из них и состоишь в близких отношениях с их вождем Ландсфельдом? Да или нет?

– Да, – просто ответил Эгберт.

– Значит, все правда! И ты так спокойно говоришь это мне в лицо?

– Неужели же я должен отрицать истину?

– Когда ты стал членом их партии?

– Четыре года тому назад.

– Значит, в Берлине; я так и думал. Как это ты позволил обойти себя? Правда, тогда ты был еще очень молод и неопы-

тен, но все-таки я считал тебя умнее.

Видно было, что тон допроса оскорблял Эгберта; он ответил спокойно, но с резким ударением на словах:

– Это – ваше мнение, господин Дернбург. Мне очень жаль, но мои взгляды отличаются от ваших.

– И мне нет до них никакого дела, так хочешь ты сказать? Ошибаешься! Мне есть дело до политических воззрений людей, служащих у меня; только я не имею обыкновения спорить с ними. По этому поводу, а просто увольняю их. Кому не нравится здесь, в Оденсберге, пусть уходит, я никого не держу; но тот, кто остается, должен подчиниться безоговорочно. Или то или другое; третьего не дано.

– В таком случае, придется, конечно же, выбрать первое, – холодно сказал Эгберт.

– Тебе так легко бросить нас?

Молодой человек мрачно потупился.

– Я у вас в долгу, я знаю это.

– Ты вовсе не в долгу у меня! Я дал тебе воспитание и образование, зато ты спас мне Эриха; без тебя я лишился бы единственного сына; мы квиты, если уж тебе угодно вести разговор в чисто деловом русле. Если ты предпочитаешь такой взгляд на наши отношения, скажи прямо, и дело с концом!

– Вы несправедливы ко мне, – сказал Рунек, борясь с волнением, – мне было бы трудно смотреть на вас с такой точки зрения.

– Ну, так что же принуждает тебя к этому? Ничего, кроме сумасбродных идей, в которых ты запутался! Или, ты думаешь, мне легко будет потерять тебя? Образумься, Эгберт! С тобой говорит не начальник; ты столько лет был мне почти сыном!

Молодой человек упрямо поднял голову и ответил с сознанием собственного достоинства:

– Ну, уж раз я «запутался» в своих «сумасбродных идеях», значит, так при них и останусь. Дети всегда со временем становятся взрослыми, и я стал взрослым именно тогда, когда жил вдали от вас; я не могу уже вернуться к жизни лишнего самостоятельности мальчика. Я добросовестно исполню все, что вы потребуете от меня как от инженера, но слепо подчиняться вам, как вы заставляете всех ваших слушающих, я не могу и не хочу, мне нужна свобода!

– А у меня, значит, ты не пользуешься свободой?

– Нет, – твердо ответил Эгберт. – Вы отец для своих подчиненных, пока они рабски повинуются вам, но зато в Оденсберге знают только один закон – вашу волю. Директор покоряется вам так же беспрекословно, как последний рудокоп; собственного, независимого образа мыслей на ваших заводах нет и никогда не будет, пока вы ими руководите.

– Нечего сказать, приятные комплименты ты заставляешь меня выслушивать! – рассердился Дернбург. – Ты прямо называешь меня тираном. Правда, ты всегда знал, что можешь позволить себе по отношению ко мне гораздо больше, чем

все остальные, взятые вместе, да нередко и делал это; ты никогда не отказывался от собственной воли, да и я не требовал этого от тебя, потому что... Впрочем об этом мы поговорим после. «Свобода!». Это опять один из ваших лозунгов! По-вашему, надо все уничтожить, все разрушить для того, чтобы «свободно» идти по дороге... к гибели! Несмотря на свою молодость, ты, говорят, играешь весьма значительную роль в вашей «партии». Она не скрывает, что возлагает на тебя величайшие надежды и видит в тебе будущего вождя. Надо признаться, эти господа далеко не глупы и хорошо знают, с кем имеют дело; у них нет тебе замены.

– Господин Дернбург! – воскликнул Рунек. – Вы считаете меня способным на низкие расчеты?

– Нет, но я считаю тебя честолюбивым, – хладнокровно ответил старик. – Может быть, ты и сам еще не знаешь, что именно погнало тебя в ряды социал-демократов, так я скажу тебе это. Быть толковым, добросовестным инженером и мало-помалу добиться должности главного инженера, это почетная карьера, но она чересчур скромна и незаметна для такой натуры, как твоя; руководить тысячами людей, одним словом, одним знаком направлять их, куда вздумается, греметь в рейхстаге, произнося воспламеняющие речи, к которым прислушивается вся страна, быть поднятым на щит как вождь, это – другое дело, это – могущество; именно это и привлекает тебя. Не возражай, Эгберт! Мой опыт позволяет мне видеть дальше тебя; мы поговорим об этом опять через

десять лет.

Рунок стоял неподвижно, с нахмуренным лбом и сжатыми губами и не отвечал ни слова.

– Ну, мой Оденсберг вам придется пока еще оставить в покое, – продолжал Дернбург. – Здесь я хозяин и не потерплю вмешательства в мою власть, ни открытого, ни тайного; так и скажи своим товарищам, если они еще не знают этого. Однако интересно было бы услышать, что, собственно, ты думал, возвращаясь сюда с такими взглядами? Ведь ты знаешь меня! Почему ты не остался в Англии или в Берлине и не объявил мне войны оттуда?

Эгберт опять ничего не ответил, но опустил глаза, и темный румянец медленно залил его лицо до самых волос.

Дернбург видел это; его лицо прояснилось, на нем появилось даже что-то вроде легкой улыбки, и он продолжал более мягким тоном:

– Допустим, что причиной была привязанность ко мне и моей семье, ведь Эрих и Майя для тебя почти брат и сестра. Прежде чем ты действительно уйдешь от нас и будешь для нас потерян, ты должен узнать, от чего ты отказываешься и какого будущего лишаешь сам себя.

Рунок вопросительно посмотрел на него, он не мог понять, куда целит Дернбург.

– Что вы хотите сказать?

– Здоровье Эриха по-прежнему серьезно беспокоит меня. Хотя пребывание на юге устранило смертельную опасность,

но не принесло ему полного выздоровления; он всегда будет вынужден избегать утомления, никогда не будет в состоянии трудиться в настоящем смысле этого слова; кроме того, у него мягкий, податливый характер. Я хорошо понимаю, что он не дорос до положения, которое ожидает его в будущем, а между тем мне хотелось бы быть уверенным, что, когда я закрою глаза, созданное мной дело перейдет в надежные руки. Номинально⁴ моим преемником будет Эрих, фактически им должен быть другой... и я рассчитывал на тебя, Эгберт.

– На меня? Я должен?..

– Управлять Оденсбергом, когда меня не станет, – договорил за него Дернбург. – Из всех людей, прошедших мою школу, только один способен это сделать, и этот один хочет теперь перевернуть вверх дном все мои планы на будущее. Майя – еще почти дитя; я не могу предвидеть, будет ли ее муж годиться Для такого дела, как мое, хотя мне очень хотелось бы этого. Я не из тех глупцов, которые покупают для своих дочерей графские да баронские титулы; мне нужен только человек, все равно, какое бы положение он ни занимал, из какой бы среды ни вышел, предполагая, разумеется, что моя дочь почувствует к нему склонность.

В словах Дернбурга крылось ослепительно блестящее обещание, полувывысказанное, но достаточно ясное, и молодой человек как нельзя лучше понял его; его губы дрожали, он порывисто сделал несколько шагов к своему воспитателю и

⁴ Номинальный – фиктивный, являющийся кем-либо только по названию.

произнес сдавленным голосом:

– Господин Дернбург... прогоните меня!

– Нет, мой мальчик, я не сделаю этого; сначала мы еще раз попытаемся договориться. А пока ты возьмешься за осушение Радефельда, и я предоставлю тебе достаточную самостоятельность в этом деле; если мы сумеем организовать всех своих рабочих, то к осени, вероятно, работа будет закончена. Согласен?

Эгберт явно боролся с собой; прошло несколько секунд, прежде чем он тихо ответил:

– Это – риск... для нас обоих.

– Положим, но я хочу рискнуть. Мне кажется, бороться за светлое будущее народа вы всегда успеете, так что мы можем отсрочить окончательное решение на месяц-другой, а пока мы с тобой заключим перемирие. А теперь иди к Эриху, я уверен, что его мучает самый ужасный страх за исход нашего разговора, да и Майя тоже будет рада видеть тебя. Ты останешься у нас обедать и уедешь только вечером. По рукам!

Он протянул Рунеку руку, и тот молча подал ему свою. Было видно, что на него повлияла доброта этого всегда строгого и непреклонного человека; но еще больше подействовало признание старика в том, насколько он дорог ему. Дернбург нашел самое действенное, может быть, даже единственное средство, которое могло иметь успех в данном случае; он не требовал ни обещания, ни жертвы, а выказал неограниченное доверие своему упрямому воспитаннику и этим обез-

оружил его.

Дернбургские металлургические заводы принадлежали к числу наибольших предприятий и пользовались всемирной известностью. Оденсберг был расположен в одной из лесистых долин горного хребта, главное богатство которого состояло в неистощимых рудниках; полвека тому назад отец теперешнего владельца Оденсберга основал здесь небольшой завод, который постепенно сильно разросся, но такие грандиозные размеры он принял лишь при сыне, который, скупив все рудники и заводы в окрестностях, привлек к себе всю рабочую силу и так расширил производство, что стал диктовать свою волю промышленникам всей провинции.

Надо было обладать необыкновенным умом и энергией, чтобы создать такое предприятие и вести его, но Дернбургу эта задача оказалась по плечу. У него было множество инженеров, техников и других служащих, и все знали, что всякие сколько-нибудь важные распоряжения исходят от самого патрона; его считали строгим и непреклонным, но справедливым человеком, который, осознавая свое могущество, прекрасно понимает и свои обязанности.

Условия, которые он создал для своих рабочих, вполне соответствовали прекрасному состоянию производства и всеми признавались образцовыми. Создать их мог только человек, располагающий миллионами и не скупающийся на расхо-

ды, когда дело касалось блага его подчиненных; но взамен Дернбург требовал абсолютной покорности и твердо выдерживал натиск веяний нового времени, в основе которых была борьба за политические свободы каждого человека. В Оденсберге не знали, что такое выступление рабочих против хозяина и забастовки, постоянно происходившие в других промышленных городах; всем было известно, что патрона не переубедить; к тому же, увольняясь с его предприятия, рабочий лишал себя и свою семью обеспеченной жизни, поэтому никакие усилия социал-демократов не находили в Оденсберге благоприятной почвы.

И у этого человека, олицетворения силы и характера, был всего один сын, за жизнь которого он постоянно опасался. Эрих с детства был слабым и болезненным ребенком, а падение в воду вызвало продолжительную и опасную болезнь; докторам удалось спасти ему жизнь, но полного выздоровления они не добились, а два года назад у него пошла горлом кровь, вследствие чего было необходимо продолжительное пребывание на юге.

Прекрасные отношения, которые сложились между семьей молодого наследника и его спасителем, всегда были предметом не только удивления, но и зависти в Оденсберге. Эгберт Рунек, сын одного из рабочих завода, провел детство в кругу своей семьи, и если научился большему, чем его сверстники, то этим был обязан прекрасной школе, которую Дернбург открыл для детей своих рабочих. Способ-

ный мальчик и раньше уже обратил на себя внимание патрона неумолимостью и прилежанием; когда же Эгберт спас его единственного сына, его будущее было предрешиено: он стал учиться вместе с Эрихом, в доме патрона на него смотрели почти как на члена семьи, и, наконец, Дернбург отправил его для дальнейшего образования в Берлин.

Господский дом был построен на некотором расстоянии от заводов на холме. Это было красивое строение с широкой террасой, длинными рядами окон и большим балконом над входной дверью; далеко раскинувшийся парк захватывал часть горного леса. Эта прекрасная, внушительная усадьба, без сомнения, имела право на название замка, но Дернбург не хотел этого, а потому ее называли господским домом.

Семья Дернбурга проводила здесь большую часть года, хотя у него было несколько имений, расположенных в более живописных местах, и дом в Берлине. Он появлялся в столице только тогда, когда этого требовали обязанности члена рейхстага, а в имения заезжал лишь на короткое время, ведь Оденсберг постоянно нуждался в хозяйском глазе и был особенно дорог ему как его собственное произведение; здесь он чувствовал себя неограниченным хозяином, здесь мог получить громадную прибыль или громадный убыток, а потому Оденсберг стал его постоянным местопребыванием.

Семейная жизнь Дернбурга была безупречна; он всегда был примерным мужем своей кроткой жены, которая полностью находилась под его влиянием, подчиняясь более силь-

ной натуре. Теперь обязанности хозяйки дома исполняла единственная сестра Дернбурга, вдова фон Рингштедт; она уже много лет жила у брата, заменяя его детям рано умершую мать.

Был конец апреля, но погода все еще оставалась холодной и неприятной; молодые листочки едва осмеливались выглядывать из своих почек на свет Божий, а над темно-зелеными елями, покрывавшими горы, расстилалось хмурое, серое небо.

В господском доме ждали гостей. Шторы в комнатах для приезжих были подняты, а гостиная, примыкавшая к этим комнатам, имела праздничный вид; всюду благоухали цветы и роскошно украшали комнату, предназначенную, очевидно, для женщины.

В настоящую минуту здесь было две дамы. Младшая забавлялась игрой с маленьким белым шпирцем, заставляя его беспрестанно прыгать и лаять; другая же, окидывая гостиную взглядом заботливой хозяйки, передвигала кресла в одном месте, поднимала выше занавес в другом, расставляла по красивее письменные принадлежности.

– Неужели вы не можете хоть на время расстаться со своим Пуком, Майя? – недовольно сказала она. – Он только и знает, что производит беспорядок.

– Да я заперла его, но он вырвался и побежал за мной, – ответила Майя. – Тише, Пук! Будь умником! Фрейлейн Фридрих гневается и приказывает тебе вести себя прилично!

Она засмеялась и ударила шпича носовым платком; собака с лаем кинулась на нее, пытаясь схватить платок. Фрейлейн Фридберг нервно вздрогнула.

– И это – взрослая девица! На днях я уже жаловалась господину Дернбургу, что вас невозможно урезонить. У вас до сих пор голова полна детских шалостей. Когда же наконец вы станете умнее?

– Надеюсь, еще долго не стану! – объявила Майя. – Здесь, в Оденсберге, все так ужасно серьезны и умны – и папа, и тетя, и вы, фрейлейн Леони, а с Эрихом в последнее время вообще неизвестно что делается, он все вздыхает и тоскует по своей невесте. И вы хотите, чтобы и я стала такой же? Как бы не так!

Она схватила Пука за передние лапки и пустилась с ним танцевать, несмотря на то, что он ясно выражал свое недовольство.

Майя Дернбург, решительно объявившая войну серьезности, только недавно вышла из детского возраста; ей было не более семнадцати лет. При взгляде на ее стройную фигурку сердце радовалось и на душе становилось светлее, как от солнечного луча; прелестное розовое личико сияло молодостью и здоровьем, а в красивых карих глазах не было задумчивости Эриха – они живо блестели, в их взгляде не было еще ни малейшей тени; золотистые волосы вились по плечам, а надо лбом нависли непослушные маленькие локончики. Черты ее лица были полудетскими, миниатюрная фигурка еще не до-

стигла полного развития, но именно это и придавало девушке невыразимую прелесть.

Леони Фридберг, воспитательнице Майи, было лет тридцать; это была миловидная, стройная женщина с темными волосами и глазами и озабоченным лицом. Она не ответила на веселое замечание своей воспитанницы, а только пожала плечами и опять посмотрела вокруг.

– Кажется, здесь все прекрасно. По-моему, вы чересчур много наставили цветов, Майя, их запах может просто одурманить.

– О, невесту надо засыпать цветами! Надо, чтобы Цецилии понравился ее будущий дом, а цветы – единственное, чем мы можем выразить ей внимание, так как папа не хочет устраивать более торжественного приема.

– Само собой разумеется! Ведь о помолвке будет объявлено не сразу.

– Зато тогда у нас будет праздник, а потом пышная, пышная свадьба! О, как мне хочется увидеть невесту Эриха! Должно быть, она очень красива, Эрих просто бредит ею. Как он комичен в роли влюбленного жениха! Среди белого дня спит и видит только свою Цецилию! Папа уже несколько раз серьезно сердился на него, а вчера сказал мне: «Не правда ли, ты будешь разумнее вести себя, когда станешь невестой?» Понятно, я буду разумно вести себя, страшно разумно! – и в доказательство Майя схватила Пука на руки, а затем волчком завертелась с ним по комнате.

– О, да, это весьма правдоподобно! – с досадой воскликнула Леони. – Майя, Бога ради, не прыгайте и не вертитеесь при встрече с будущими родственниками; что подумают баронесса Вильденроде и ее брат о вашем воспитании, когда увидят, что семнадцатилетняя девушка скачет, как ребенок?

Майя с торжественной миной остановилась перед своей воспитательницей.

– О, не беспокойтесь, я заслужу высочайшее одобрение. Я прекрасно знаю, как следует держать себя, меня научила этому мисс Вильсон, англичанка с желтым лицом, острым носом и бесконечно глубокой ученостью. В самом деле это была ужасно скучная особа, но придворному поклону меня выучила. Посмотрите-ка, вот! – Она сделала глубокий, церемонный реверанс. – Моя будущая невестка будет самого высокого мнения о моем воспитании, а потом я брошусь ей на шею и поцелую ее вот так! – и девушка осыпала бурными ласками застигнутую врасплох гувернантку.

– Майя, вы задушите меня! – сердито крикнула та, с трудом вырываясь из ее рук. – Боже мой, уже бьет двенадцать! Нам надо идти вниз; я хочу заглянуть еще в спальни, посмотреть, все ли там в порядке.

Она вышла из гостиной. Майя, как мотылек, слетела с лестницы; Пук, разумеется, последовал за ней.

Жилые комнаты Дернбургов находились на нижнем этаже. Большая передняя была убрана в честь ожидаемых гостей высокими лавровыми и апельсинными деревьями и

множеством тропических растений. Там стоял молодой человек и, по-видимому, ждал кого-то; увидев дочь хозяина дома, он отвесил почтительный поклон. Майя слегка кивнула ему.

– Здравствуйте, господин Гагенбах. Доктор тоже здесь?

– Так точно, – ответил Гагенбах с глубоким поклоном. – Дядя у господина Дернбурга с докладом о состоянии больницы за последнюю неделю, а я... я подожду его здесь... если позволите.

– Позволяю, – ответила Майя.

Гагенбах, очень молодой человек с чрезвычайно светлыми волосами и чрезвычайно светлыми голубыми глазами, был застенчивым и неловким. Встреча с Майей очень смутила его, отчего он краснел и запинаясь; тем не менее он чувствовал необходимость показать себя светским человеком и, после нескольких безуспешных попыток заговорить, наконец, все-таки произнес:

– Смею ли... смею ли я... осведомиться о вашем здоровье... многоуважаемая фрейлейн Дернбург?

– Благодарю вас, я совершенно здорова, – ответила Майя, и углы ее губ начали заметно подергиваться.

– Я чрезвычайно рад, – принялся уверять ее молодой человек. Собственно говоря, он хотел бы сказать что-нибудь совсем другое, что-нибудь остроумное или глубокомысленное, но, как назло, ничего такого не мог придумать, а потому продолжал: – Я даже не могу выразить, до какой степени рад!

Смею надеяться, госпожа фон Рингштедт тоже здорова?

Майя с трудом подавила улыбку, отвечая утвердительно и на этот вопрос. Гагенбах, все еще не отказываясь от надежды выжать из себя какое-нибудь остроумное замечание, судорожно продолжал разговор на избранную тему о состоянии здоровья членов семьи Дернбургов.

– А молодой господин Дернбург?

– Поехал на станцию, – перебила его Майя, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. – Вы можете надеяться, что мой брат здоров и что мой отец тоже здоров, вся семья здорова и сердечно благодарит вас за вашу трогательную заботу о ее благополучии.

Смущение Гагенбаха заметно росло. Он растерянно нагнулся к Пуку, все внимание которого было поглощено его клетчатыми панталонами, и со словами: «Какое прелестное маленькое животное!» – хотел погладить его.

Но «прелестное маленькое животное» весьма неблагоприятно отнеслось к намерению молодого человека и с громким лаем бросилось к его ногам; Гагенбах отскочил назад, Пук прыгнул вслед за ним и зубами вцепился в панталоны; Гагенбах скрылся за цветочной кадкой; преследователь отправился туда же, а Майя от души потешалась над этой сценой.

К счастью, помощь явилась с другой стороны. Из двери, ведущей в кабинет Дернбурга, показался пожилой господин; он без церемонии схватил лающего шпица за белую шерстку

и поднял его в воздух с сердитым восклицанием:

– Почему же ты не возьмешь его так, Дагоберт? Или ты хочешь посмотреть, как он разорвет тебе панталоны?

Запыхавшийся Дагоберт стоял под лавровым деревом с нескрываемым чувством облегчения. Теперь и Майя вмешалась.

– Будьте милосердны и отпустите преступника на волю, – смеясь воскликнула она. – Право, жизнь вашего племянника не подвергалась серьезной опасности; за целый год своего существования Пук еще не растерзал ни одного человека.

– И того довольно, если он растерзает панталоны, особенно такие изящные, как те, которым сейчас грозила опасность, – весело возразил Гагенбах, опуская на пол собачонку. – Здравствуйте, фрейлейн Майя! О вашем здоровье мне, конечно, нечего и спрашивать?

– Совершенно нечего, о нем уже достаточно спрашивали сегодня, – ответила девушка, бросая шаловливый взгляд на Дагоберта. – Прощайте, господа, я спешу к папе! – и она, весело кивнув, пролетела мимо, к двери в комнаты отца.

Доктору Гагенбаху, оденсбергскому врачу и домашнему доктору Дернбурггов, было около сорока пяти лет; его волосы уже начинали седеть, а фигура выказывала некоторое расположение к полноте, но вообще он был еще совсем хоть куда и представлял довольно резкую противоположность своему племяннику.

– Надо признаться, ты вел себя как настоящий герой, –

насмешливо обратился он к Дагоберту. – Шалунья-собачонка хотела поиграть с тобой, а ты тут же обратился в бегство.

– Мне не хотелось так грубо обращаться с любимицей фрейлейн Дернбург, – ответил Дагоберт, озабоченно осматривая свои панталоны.

Дядя только пожал плечами.

– Едва ли нам удастся нанести визит фрейлейн Фридберг, как мы предполагали, – сказал он. – Я сейчас узнал, что гостей из Ниццы ждут к часу, весь дом на ногах, готовятся к их приему. Но, раз мы здесь, я все-таки попытаюсь переговорить с ней, а ты, тем временем, можешь привести себя в порядок.

Он поднялся по лестнице и наверху столкнулся с Леони, которая шла в переднюю. Она почти ежедневно видела доктора, но тем не менее в той манере, с которой она ответила на его приветствие, заметно чувствовалась сдержанность. Гагенбах как будто не видел этого, вскользь спросил, как ее здоровье, рассеянно выслушал ответ и наконец сказал:

– Сегодня я пришел к вам, фрейлейн, по совершенно особому делу. Правда, я неудачно выбрал время, потому что вы, очевидно, тоже заняты хлопотами в ожидании гостей, но я могу высказать свою просьбу в нескольких словах, а потому позвольте мне сделать это здесь же.

– У вас есть просьба ко мне? – с удивлением спросила Леони.

– Вы удивляетесь, потому что обычно я только раздаю

приказания да пишу рецепты? Да, врачу позволительно так себя вести; он должен во что бы то ни стало поддерживать свой авторитет, особенно, если ему приходится иметь дело с так называемыми «нервными» больными.

Ударение, которое он сделал на слове «нервными», рассердило его собеседницу; она вспльчиво ответила:

– Мне кажется, вам нечего опасаться за свой авторитет, порукой в его неприкосновенности служит ваш «деликатный» способ заставляя себя повиноваться.

– Пожалуй, но ведь с некоторыми пациентами деликатностью ничего не добьешься, – хладнокровно ответил Гагенбах. – Однако, перейдем к делу. Вы знаете моего племянника, приехавшего в Оденсберг три недели тому назад?

– Сына вашего брата? Конечно, знаю. Кажется, он потерял родителей?

– Да, он остался круглым сиротой; я его опекун и вообще должен взять на себя заботу о его будущем, ведь его родители не оставили ему ни гроша. Очевидно, они полагали, что мне, как одинокому человеку и старому холостяку, может понадобиться наследник. Гимназию Дагоберт закончил, экзамен на аттестат зрелости сдал, хотя и с грехом пополам, потому что особенно светлым умом он никак не может похвастать. От продолжительного сидения в комнате без свежего воздуха и усиленного «зубрения» у него совсем жалкий, болезненный вид. Представьте, у него уже расстроены нервы, по крайней мере, он воображает, что они у него расстроены; придется

мне лечить его. Уж я подтяну ему нервы!

– Будем надеяться, что молодой человек выдержит курс вашего лечения, – резко сказала Леони. – Вы любите сильные средства, доктор!

– Там, где они уместны, действительно, люблю. Впрочем, я не собираюсь сживать со свету своего племянника, как вы, кажется, предполагаете. Лето он проведет здесь, чтобы поправиться перед поступлением в высшую школу. Но если мальчишке совсем нечего будет делать, ему в голову полезут всякие глупости, а потому я хочу, чтобы он хоть немного занялся иностранными языками; латинским и греческим его уже напичкали, а вот что касается английского и французского – здесь он очень слаб. Я и хотел спросить вас, не будете ли вы так добры взять на себя труд помочь ему в этом. Ведь вы прекрасно говорите на обоих языках.

– Если господин Дернбург ничего не будет иметь против.

– Он согласен, я только что говорил с ним об этом. Весь вопрос в том, захотите ли вы. Я знаю, что я у вас не особенно в милости...

– Полноте, доктор, – холодно перебила его Леони, – я очень рада случаю отблагодарить вас за медицинскую помощь, которую вы несколько раз мне оказывали.

– Во время «нервных припадков». Ну, в таком случае наше дело улажено. Дагоберт! Мальчик! Где ты там застрял? Иди сюда!

Это громкое приказание по-настоящему испугало Леони;

она недовольно заметила:

– Вы третируете молодого человека, как школьника.

– Неужели я должен соблюдать какие-то церемонии с мальчишкой? Ему и без того очень нравится разыгрывать роль важного барина, а сам он краснеет, как пион, и запинается, как только заговорит с чужим человеком. Вот и ты наконец, Дагоберт! Фрейлейн так добра, что согласна принять тебя в ученики. Благодарите!

Дагоберт снова необыкновенно низко и почтительно поклонился, покраснел и начал:

– Я очень благодарен вам, фрейлейн. Я чрезвычайно рад. Я не могу даже выразить, до какой степени я рад.

Тут он окончательно спутался, но Леони решила ему помочь, ласково сказав:

– Я не строгая учительница, и, надеюсь, мы с вами будем друзьями, господин Гагенбах.

– Зовите его просто Дагобертом, раз уж ему дали такое диковинное имя, – бесцеремонно перебил ее доктор. – По справедливости мальчика следовало назвать Петром, так зовут меня, а я его крестный отец; но моей невестушке это имя показалось недостаточно поэтичным, вот она и придумала. Дагоберт Гагенбах! Язык сломаешь, прежде чем выговоришь!

– В данном случае ваша невестка была, несомненно, права: имя Петр грешит не только против поэзии.

– Какую же еще погрешность вы в нем находите? – раздраженно спросил доктор, выпрямляясь и становясь в боевую

позицию, – Петр – прекрасное, прославленное библейское имя! Мне казалось, что апостола Петра все считают вполне достойным человеком!

– Ну, с апостолом Петром у вас не много общего, – заметила Леони. – Итак, господин Дагоберт, завтра после полудня я жду вас, чтобы назначить время уроков и составить предварительный план занятий.

Такое дружелюбное отношение приятно тронуло робкого Дагоберта, и он еще усерднее принялся уверять, что чрезвычайно рад; и это продолжалось до тех пор, пока, наконец, не вмешался дядя в высшей степени немилостивым тоном:

– Мы и так слишком долго задерживали фрейлейн; пойдем, Дагоберт, а то еще, пожалуй, попадем в непрошенные гости во время встречи приезжающих.

Сойдя с лестницы, племянник позволил себе сделать замечание:

– Фрейлейн Фридберг – чрезвычайно любезная дама!

– Зато нервозная и сумасбродка, – проворчал Гагенбах. – Терпеть не может имени Петр! Почему, спрашивается? Если бы твои почтенные родители окрестили тебя Петром, из тебя вышел бы совсем другой малый, а теперь ты – просто малокровная девушка, которую по ошибке назвали Дагобертом.

На террасе они встретились с Рунеком. Доктор сдержанно поклонился и хотел пройти мимо, но инженер остановил его:

– Я только что был у вас на квартире, доктор; один из моих рабочих по собственной неосторожности получил травму во

время взрыва. Насколько я могу судить, рана не опасна, но врачебная помощь все-таки нужна; я привез его с собой и оставил в больнице на ваше попечение.

– Сейчас пойду к нему, – ответил Гагенбах. – Вы идете в господский дом? Там сейчас ждут гостей из Ниццы и едва ли господин Дернбург...

– Знаю. Я именно поэтому и приехал из Радефельда. До свиданья, доктор! – Рунек пошел дальше.

Гагенбах посмотрел ему вслед, стукнул палкой о землю и вполголоса произнес:

– Это уж чересчур!

– Ты видел, дядя? Он во фраке, – заметил Дагоберт, – значит, его пригласили.

– Похоже на то! – сердито воскликнул доктор. – Пригласили для приема гостей, а ведь это чисто семейное дело! Чудеса в решете творятся нынче в Оденсберге!

– Весь Оденсберг уже говорит об этом, – тихо произнес Дагоберт, осторожно оглядываясь. – Все в один голос осуждают господина Дернбурга и сожалеют о его невероятной слабости к...

– Что ты-то знаешь об этом, мальчишка? В Оденсберге никогда не осуждают господина Дернбурга и не сожалеют о нем. Ему просто повинуются. Он всегда прекрасно знает, чего хочет, и теперь, конечно, знает; лишь бы его любимчику не вздумалось все перевернуть по-своему; он дорожит своим мнением не меньше, чем его воспитатель и учитель, а ко-

гда сталь попадает на кремень – сыплются искры. Однако отправляйся домой, а я пойду взглянуть на радефельдского рабочего. – И доктор направился к больнице, предоставив свободу племяннику, который был очень рад возможности избавиться от своего тирана-дядюшки.

Войдя в дом, Рунок столкнулся с фрейлейн Фридберг, спускавшейся с лестницы. И тут на его приветствие ответили не особенно предупредительно: Леони сделала три шага назад и бросила вокруг беспомощный взгляд. На губах молодого человека появилась насмешливая улыбка, и он с величайшей вежливостью осведомился, в кабинете ли господин Дернбург.

Ей не пришлось отвечать, так как в эту минуту дверь открылась, и сам Дернбург вышел в переднюю в сопровождении дочери.

Майя тотчас бросилась к Руноку и поздоровалась с ним самым непринужденным, фамильярным тоном.

– Вот наконец и ты, Эгберт! Мы уже думали, что ты опоздаешь к приезду гостей; экипаж может показаться каждую минуту.

– Меня случайно задержали, – ответил Эгберт. – Кроме того, мне пришлось ехать очень медленно, потому что я вез с собой раненого; иначе я давно был бы здесь.

Он подошел к Дернбургу и стал рассказывать ему о происшедшем, а Леони прошептала своей воспитаннице:

– Что за неприличная фамильярность, Майя! Ведь вы уже не ребенок! Сколько раз я просила вас помнить о своем возрасте и положении! Неужели мне придется прибегнуть к ав-

торитету вашего отца?

Майя не слушала выговора, а с нетерпением ждала, пока Эгберт закончит свой доклад. Дернбург подробно расспросил о ране, которую получил рабочий, и остался очень доволен, услышав, что она не опасна и что доктор уже извещен о больном. Наконец Эгберт освободился и обратился к девушке:

– Вы слышали, фрейлейн Майя, я не виноват, что опоздал, и вы не должны сердиться на меня.

– Я буду очень сердиться, если ты упрямо будешь называть меня «фрейлейн» и говорить мне «вы»! Ты делал это все время при нашем последнем свидании, но я не потерплю этого, слышишь?

Она весьма выразительно топнула ножкой и сделала премиленькую гневную гримаску.

Гувернантка со страхом взглянула на хозяина дома; ему давно следовало вмешаться со своим авторитетным словом, так как ее влияния оказывалось недостаточно.

Однако Дернбург, по-видимому, ничуть не разделял ее негодования, а совершенно спокойно сказал:

– Уж если Майя так настаивает, видно, придется уступить ей, Эгберт. Ведь, собственно говоря, ты член нашей семьи.

Это разрешение показалось Леони таким чудовищным, что она осмелилась возразить.

– Господин Дернбург, мне кажется...

– Что вам угодно?

Это был простой, спокойно произнесенный вопрос, но гувернантка сию же минуту потеряла охоту продолжать свой протест и быстро прибавила:

– Мне кажется, на террасе следует поставить слугу, чтобы он известил нас, как только появится экипаж.

– Прекрасно, потрудитесь распорядиться, – сказал Дернбург, – а нам, я думаю, следует пока отправиться в комнаты, Эрих может и опоздать.

Он пошел в гостиную; Майя на ходу шаловливо повернула головку назад и воскликнула:

– Слышали, господин инженер? Высочайшие власти разрешают нам говорить мне «ты»! Ты слушаешься, Эгберт? Сию же минуту слушаешься?

В ее тоне и взгляде было такое восхитительное лукавство, что даже серьезный Эгберт шутливо поклонился.

– Если тебе так угодно!

Майя ликовала, как ребенок, радуясь, что переупрямила друга детства. Дернбург улыбнулся, взглянув на милое, светлое существо, шедшее рядом с ним; видно было, что Майя – его любимица.

Не больше чем через четверть часа пришло известие, что вдали показался экипаж. Большие входные двери были открыты настежь; в них стал Дернбург с сестрой, немного чопорной, но полной достоинства старушкой, а рядом Майя, полная радости и ожидания. Эгберт и Леони остались в гостиной.

Вскоре перед террасой остановилось полузакрытое лан-до, запряженное великолепными вороными лошадьми. Лакей открыл дверцу; Эрих выскочил первый и помог выйти невесте; сзади виднелась высокая фигура барона.

Дернбург сделал шаг вперед и выпрямился во весь рост. Хотя он принимал потомка старинного дворянского рода, от него веяло гордостью и сознанием собственного достоинства человека, который собственными силами и упорным трудом достиг высокого положения в обществе. Он оказывал честь баронессе Вильденроде, принимая ее в свою семью, а не она ему, вступая в нее.

Когда Эрих подвел Цецилию к отцу, она поклонилась со свойственной ей грацией, отбросила вуаль и взглянула на его строгое лицо; впрочем, последнее не внушало ей ни малейшего страха: она слишком хорошо знала впечатление, которое производила на всех и которое не могла не произвести и здесь. Молодости и красоте всегда легко одержать победу, даже когда им приходится иметь дело с холодной, опытной старостью. В продолжение нескольких секунд взгляд Дернбурга был пытливо и неподвижно устремлен на нее, потом он нагнулся и поцеловал ее в лоб.

– Добро пожаловать в мой дом, дитя мое! – сказал он серьезно, но ласково.

Эрих украдкой облегченно вздохнул; этими словами отец признавал Цецилию дочерью. И здесь стоило ей только появиться, чтобы победить. Его сердце переполнилось радост-

ной гордостью.

Госпожа фон Рингштедт последовала примеру брата и приняла молодую баронессу просто и сердечно. Тем временем Вильденроде здоровался с хозяином дома, а Майя с восторгом рассматривала свою прекрасную невестку; она совершенно забыла о торжественно обещанном «придворном реверансе» и бурно бросилась на шею Цецилии с восклицанием:

– О, Цецилия, я и не думала, что ты так хороша!

Баронесса улыбнулась. Как ни была она привычна к комплиментам, этот детский восторг без малейшей примеси зависти польстил ей; в порыве нежности она поцеловала милую маленькую Майю, о которой Эрих так много ей рассказывал.

– Вы так любезно встретили мою сестру, фрейлейн, – вдруг произнес густой, звучный голос. – Смею ли я также надеяться на дружеский прием?

Майя встретила взгляд темных глаз, устремленных на нее с каким-то выражением, странно, почти неприятно взволновавшим ее, хотя она чувствовала, что в нем крылось восхищение; легкий трепет пробежал по ее телу, она испытывала почти предчувствие страха перед этим взглядом, и ее голос потерял свой обычный звонкий, веселый тембр, когда она полувопросительно произнесла:

– Господин фон Вильденроде?

– Да, Оскар фон Вильденроде просит вас протянуть ему

руку в знак приветствия.

В словах барона слышался легкий упрек. В самом деле, Майя еще не подала руки новому родственнику; только теперь она нерешительно протянула ее, обнаруживая совсем чуждую ей застенчивость. Вильденроде наклонился и поцеловал руку. Это была обычная вежливость, но молодая девушка слегка вздрогнула при его прикосновении, а ее глаза не могли оторваться от его темных глаз, точно опутавших ее какой-то невидимой сетью.

Дернбург предложил руку своей будущей невестке, чтобы ввести ее в дом, барон подошел к его сестре, а Майя поспешно повисла на руке брата. Эрих был в самом радужном настроении; он нежно и с благодарностью прижал к себе руку сестры, с такой любовью принявшей его невесту.

– Так Цецилия тебе нравится? – спросил он. – Ну как, я преувеличил что-нибудь, описывая ее?

– О, нет, она гораздо, гораздо красивее, чем на портрете! Такими я всегда представляла себе сказочных принцесс!

– А как ты находишь моего будущего шурина? Не правда ли, у него чрезвычайно видная внешность, хотя он далеко уже не молод?

– Не знаю, – медленно сказала Майя. – У него такие странные глаза... такие бездонные и темные... почти неприятные.

– Дурочка! Мне кажется, ты боишься его! – пошутил Эрих. – Это совершенно непохоже на нашу резвую маленькую Майю. Оскар будет не особенно польщен впечатлением,

произведенным на тебя. Сначала узнай его получше; он в высшей степени интересен в обществе, у него поразительно блестящий дар красноречия.

Майя ответила не сразу. Неужели она боится? Да, то, что она испытывала, было очень похоже на страх, но теперь она стыдилась этого ребяческого чувства и бросила немилостивый взгляд на барона, шедшего впереди с ее теткой; к ней вернулась ее шаловливость, и она со смехом воскликнула:

– О, я, как сказочные герои, не знаю, что такое страх!

6

Погода испортилась. Горы окутались туманом, время от времени лил проливной дождь, ветер яростно трепал деревья парка.

Тем приветливее казалась большая гостиная в доме Дернбурга – высокая, просторная комната с темно-красными обоями и портъерами, резной дубовой мебелью и громадным камином из черного мрамора. Стены были украшены дорогими картинами и несколькими фамильными портретами. В камине пылал яркий огонь; вся комната производила впечатление солидности и богатства.

Обед был только что окончен. Молодежь, оживленно болтая, сидела перед камином, госпожа Рингштедт разместилась с Леони на угловой софе, а хозяин дома занялся разговором с бароном. Они говорили об оденсбергских заводах; барон не только проявлял необыкновенный интерес к этому делу – его вопросы и замечания свидетельствовали, что он не так неопытен в этой области, как предполагал Дернбург, так что последний даже сказал ему:

– Право, я не думал, чтобы вы были настолько осведомлены в этой области! Работа вроде нашей обычно интересуется только специалистов, а вы, кажется, довольно хорошо знаете ее.

– Я кое-что читал об этом, – небрежно ответил Вильден-

роде. – Тот, у кого, подобно мне, нет определенных занятий, поневоле должен заняться изучением какого-либо вопроса, а я всегда чувствовал пристрастие к горному делу. Мои познания, конечно, поверхностны, как у дилетанта, но, может быть, вы позволите мне несколько пополнить их здесь.

– Я с удовольствием готов быть вашим гидом. Проездом вы видели лишь небольшую часть моих владений, а с этой террасы открывается их общий вид.

Он открыл стеклянную дверь и вышел с гостем на террасу. Туман стлался по склонам лесистых гор, но заводы, расположенные у их подножья, и кипевшая на них жизнь нисколько не теряли от этого в своем величии, которое могло поразить любого, впервые увидевшего их. Именно такое впечатление произвела эта картина на барона; его взгляд медленно окинул долину из конца в конец.

– Ваш Оденсберг – грандиозные владения! Ведь это – целый город, возникший по вашему желанию среди необитаемых горных лесов. Те громадные строения, что высятся в центре, это...

– Прокатные цеха и литейный завод; там, дальше – доменные печи.

– А постройки направо? Они похожи на целый поселок.

– Это дома моих служащих. Рабочие живут по другую сторону. Впрочем, в Оденсберге я смог разместить лишь самое небольшое количество рабочих; большая часть живет в соседних деревнях.

– Эрих показывал их мне дорогой. Сколько у вас рабочих, господин Дернбург?

– Здесь, на заводах, девять тысяч; на рудниках, там, в горах, свой штат служащих и рабочих.

Дернбург взглянул на удивленного человека с полнейшим спокойствием и абсолютно без всякого намерения поразить слушателя развертывавшейся перед ним картиной такого богатства и власти, от которых кружилась голова. Каждый из этих рудников, о которых он упоминал как бы между прочим, взятый в отдельности, уже представлял порядочное состояние; о своих имениях, принадлежащих к числу самых больших в провинции, он и вовсе не говорил; в его словах не было и тени хвастовства, он просто сообщал сведения, которыми интересовался барон, ничего больше. Барон облокотился на каменную балюстраду и произнес:

– Я много слышал о вашем Оденсберге от Эриха и других, но получить полное представление о нем можно, только увидев его собственными глазами. Чувствовать себя неограниченным хозяином таких владений, знать, что от одного твоего слова зависит судьба десяти тысяч человек, это, должно быть, опьяняющее чувство.

– Я больше тридцати лет потратил на то, чтобы довести свое дело до такого состояния, – хладнокровно ответил Дернбург. – Того, кто вынужден шаг за шагом завоевывать себе место под солнцем, успех уже не опьяняет. Вместе с ним приходят и тяжелые обязанности, которые вы едва ли

решились бы взять на себя; вам даже управление отцовскими имениями показалось таким непосильным бременем, что вы постарались тотчас же отделаться от него.

В последних словах слышалась некоторая резкость; барон понял их, но нисколько не обиделся и спокойно спросил:

– Вы ставите это мне в упрек?

– Нет! Какое я имею право упрекать вас? Каждый волен устраивать свою жизнь как ему угодно; одни ищут удовлетворения в труде, другие...

– В безделье?

– Я хотел сказать, в наслаждении жизнью.

– Но вы подумали именно то, что я сказал, и, к сожалению, я должен сознаться, что вы правы. Мне всегда казалась интересной лишь деятельность в грандиозных масштабах, а имения, доставшиеся мне в наследство, не представляли таких обширных владений, чтобы я мог удовлетворить это стремление; я не мог обречь себя на монотонную, будничную жизнь сельского хозяина с вечно одними и теми же обязанностями, которые каждый порядочный управляющий может исполнить не хуже меня; я не гожусь для такой жизни.

– Почему же вы не остались на службе? Тут вашему честолюбию открывался полный простор.

– Причиной тому явились личные отношения. У меня были неприятности с начальством; я считал, что меня обошли, обиделся и поспешил разом все покончить. Я был еще молод тогда, меня неотразимо манили большой свет и свобо-

да. С годами это проходит! Я уже давно почувствовал, что моя жизнь лишена настоящей цели, и буду еще сильнее чувствовать это, когда Цецилия покинет меня. Такое бесцельное существование всегда оставляет по себе горькое чувство неудовлетворенности.

– Вы одни во всем виноваты, – серьезно сказал Дернбург. – Вы еще не стары, у вас есть состояние; нужна только решимость.

– Совершенно верно, решимость, до сих пор у меня не было ее. Труд всегда представлялся мне в виде чего-то мелочного, тягостного; здесь, увидев ваш Оденсберг, я впервые понял, какая мощь заключается в труде, какого невероятного успеха можно достичь благодаря труду, признаюсь, это могло бы подзадорить и меня, могло бы заставить применить все мои силы и способности! Позвольте ли вы этому бездельнику внимательно присмотреться к вашей работе? Может быть, это послужит мне уроком.

В этой просьбе и во всей внешности барона было что-то подкупающее. Дернбург был приятно удивлен его откровенностью и уже более теплым тоном ответил:

– Я буду очень рад, если мой Оденсберг послужит вам таким уроком. Вы правы! И я на собственном опыте узнал эту непривлекательную сторону труда; если бы я жалел свои руки и голову, то, по всей вероятности, здесь все еще стоял бы небольшой металлургический завод, который оставил мне отец. Я говорю это не в укор другим; вся суть в том, что-

бы каждый делал что-нибудь и выполнял свое назначение в жизни.

Начавшийся дождь заставил их уйти назад в комнату. Дернбург уже отказался от предубеждения, которое раньше питал к будущему шурину своего сына; Оскар фон Вильденроде одержал победу именно там, где это было труднее всего.

В гостиной Цецилия была в центре внимания небольшого общества у камина. Она умела быть чрезвычайно любезной, когда хотела, и очаровала молоденькую сестру своего жениха, а Эрих не отходил от нее; сегодня он видел и слышал только свою невесту. Эгберт Рунек почти не принимал участия в разговоре; он то поглядывал на террасу, где стояли барон и Дернбург, то снова переводил взгляд на молоденькую баронессу, и его брови почти грозно сдвигались.

– Нет, Эрих, ты не убедишь меня, что в твоём отечестве тоже бывает весна! – смеясь воскликнула Цецилия. – На берегах Средиземного моря все цветет уже несколько месяцев, а здесь, с тех пор, как мы переехали через Альпы, мы не видели ничего, кроме бурь и холода. А эта поездка в Оденсберг! Все безжизненно, как зимой; только и видишь вокруг печальную темную зелень бесконечных хвойных лесов, туман и облака да потоки ледяного дождя. Брр... я зябну в вашей серой, холодной Германии.

– В вашей Германии! – повторил Эрих с нежным упреком. – Но ведь Германия и твоя родина, Цецилия.

– Боже мой, да, но мне всегда нужно сначала вспомнить,

что я действительно – дитя этого отвратительного, чуждого мне севера. Когда умер мой отец, мне исполнилось только восемь лет, а через два года я лишилась и матери; тогда меня отправили сначала в Австрию, к родственникам, а потом в Лозанну, в пансион. Когда я выросла, Оскар забрал меня. С тех пор мы в основном жили на юге, а в Германию никогда не заглядывали.

– Бедная Цецилия! Значит, у тебя вовсе не было родины! – с состраданием воскликнула Майя.

Цецилия удивленно взглянула на нее; такая жизнь с постоянной переменой обстановки и окружения казалась ей именно такой, какой только и можно было желать. Родина? Это понятие было чуждо ей. Ее взгляд скользнул по гостиной; да, конечно, это было нечто другое, чем роскошные, но в то же время холодные комнаты гостиниц, в которых они жили уже много лет; эти тяжелые шелковые обои и занавесы, эта дубовая мебель, где каждый отдельный стул или кресло представляли ценное художественное произведение, эти фамильные портреты по стенам, а главное, этот комфорт, которым было проникнуто все вокруг! Но в сером свете дождливого дня все это показалось девушке удивительно серьезным и мрачным, и родина жениха внушала тайный страх избалованной дочери большого света.

– Неужели вы большую часть года живете в Оденсберге? – спросила она. – Ведь такая жизнь, должно быть, очень однообразна. У вас, по словам Эриха, чудный дом в Берлине, а вы

не проводите там и двух месяцев зимой. Я не понимаю этого!

– Папа говорит, что у него нет времени, чтобы разъезжать по свету, – непринужденно ответила Майя, – а я с тетей и фрейлейн Леони была только на морских купаньях. Мне очень нравится в Оденсберге.

– Майя еще не выезжает, – объяснил Эрих, – она начнет выезжать этой зимой, когда ей исполнится семнадцать. До сих пор, когда у нас бывали приемы, наша малютка оставалась в детской, таким образом она еще вовсе не знает большого света.

– Я начала выезжать в шестнадцать лет, – заметила Цецилия. – Бедная Майя, как долго тебя заставляют ждать! Это ужасно!

– О, я не считаю этого таким большим несчастьем, потому что тогда мне придется «прилично вести себя», как выражается фрейлейн Фридберг, постоянно быть серьезной и рассудительной, и нельзя будет больше танцевать с Пуком. Пук, мне кажется, что ты спишь средь бела дня! И не стыдно тебе? Изволь сейчас же проснуться!

С этими словами Майя бросилась в угол гостиной, где Пук, обиженный тем, что сегодня на него совершенно не обращали внимания, сладко заснул на скамеечке для ног. Цецилия насмешливо скривила губы.

– В самом деле, Майя – еще совсем дитя, – тихо сказала она Эриху. – Что, Оскар, дождь загнал тебя в комнаты?

– Да, – ответил только что вошедший Вильденроде. – Мы

осматривали Оденсберг, пока еще только с террасы, но твой отец, Эрих, обещал на днях ввести меня в свое царство.

– Да, да, Цецилия тоже должна познакомиться с ним, – сказал Эрих, – а потом мы съездим в Радефельд, там предполагается проложить туннель через гору Бухберг. Эгберт, – обратился он к молча слушавшему Рунеку, – мы приедем к тебе в гости.

– Я боюсь только, что наши работы не заинтересуют господина фон Вильденроде, – возразил Эгберт, – внешне он не представляет ничего достойного внимания, а до прорытия туннеля мы даже еще не дошли.

Вильденроде обернулся к инженеру, который был ему представлен перед обедом. Он знал от Эриха, что этот друг детства занимает исключительное положение в их доме, но его присутствие во время первого визита в тесном семейном кругу все-таки удивило его; при всей вежливости, с которой он отнесся к Рунеку, в его глазах ясно читался немой вопрос: «Зачем ты здесь?».

– Кажется, вы сами составили проект этих работ, господин Рунок? – спросил он. – Эрих рассказывал мне о вас. Я очень рад познакомиться с таким прекрасным инженером.

Голос барона звучал очень любезно, но на слове «инженер» было сделано ударение, и этим Вильденроде отметил границу, отделявшую сына заводского рабочего от семьи миллионера. Эгберт поклонился не менее любезно и ответил:

– Я уже имел удовольствие познакомиться с вами, господин фон Вильденроде.

– Со мной? Я не помню, чтобы мы когда-нибудь встречались.

– Это понятно, потому что мы встретились в более обширном обществе, – три года тому назад в Берлине, у госпожи Царевской.

Глаза барона пытливо устремились на молодого инженера, но на его губах появилась насмешливая улыбка.

– И вы видели меня там? Я никак не предполагал, чтобы вы вращались в таком кругу.

– Вы не ошиблись, я был там по особому случаю и не в качестве гостя. Может быть, вы скорее вспомните, если я назову точную дату? Это было двадцатого сентября.

Рука Вильденроде, лежавшая на спинке кресла Цецилии, слегка вздрогнула, и его глаза метнули гневный, угрожающий взгляд на говорившего; но этот взгляд скользнул по совершенно неподвижному лицу Рунека, как стрела, встретившая крепкий щит. Впрочем, молчание длилось не более секунды, затем барон небрежно ответил:

– Вы слишком многого хотите от моей памяти. За последние десять лет я побывал в стольких местах и встречал столько людей, что не могу помнить каждого в отдельности. Что именно случилось в тот день?

– Если вы забыли, то не стоит и говорить об этом, – холодно ответил Рунек. – Что же касается меня, то с того вечера

я навсегда запомнил ваше лицо.

– Это очень лестно для меня!

Вильденроде высокомерно кивнул Рунеку и повернулся к нему спиной. Он направился в противоположный конец комнаты, где Майя теребила своего любимца Пука.

Приближение барона тотчас положило конец этой игре; Майя воинственно выпрямилась; она чувствовала настоятельную потребность заставить барона забыть ее ребяческое смущение при встрече. За столом для этого не представилось удобного случая, так как фон Рингштедт совершенно завладела новым родственником, сидевшим рядом с ней; теперь же он должен был убедиться, что Майя ни чуточки не боится его и твердо решила дать ему отпор.

Но Вильденроде не обратил внимания на ее настроение; он, как ни в чем не бывало, занял место рядом с Майей и стал беззаботно поддразнивать сначала собаку, а потом и ее хозяйку. Он говорил о всевозможных вещах немного шутливо, но необыкновенно занимательно. Такой разговор был совершенно нов для молодой девушки; барон умел очень естественно и деликатно разговаривать чрезвычайно дружеским тоном, на который ему давало право будущее родство; наконец он постарался завоевать расположение Пука. Все это не могло не повлиять на Майю. Мало-помалу она забыла о своем воинственном намерении, стала доверчивее и, наконец, так увлеклась, что начала рассказывать ему о разных разно-
стях.

Разговор был в полном разгаре, когда Вильденроде вдруг без всякого предисловия спросил:

– Так вы больше не боитесь меня?

– Я? – Девушка собиралась с негодованием возразить, но горячий румянец против воли залил ее лицо.

– Да, вы! Я прекрасно видел ваш испуг при нашей первой встрече. Или вы станете отрицать это?

Румянец на лице Майи сгустился. Барон как нельзя лучше угадал правду, но такая неуместная пронизательность раздосадовала Майю, а то, что он еще и говорил ей об этом, она нашла весьма неделикатным с его стороны.

– Вы смеетесь надо мной! – рассерженно сказала она.

Барон улыбнулся. Мрачная складка на лбу разгладилась, резкие линии смягчились, и он ответил очень мягким голосом:

– Разве я похож на насмешника? Неужели вы серьезно так думаете?

Майя взглянула на него. Нет, в этих глазах не было и следа насмешки, но они производили то же оцепеняющее действие, что и раньше; девушка не могла оторвать своих глаз от его взгляда и опять испытывала прежнее необъяснимое чувство стеснения и замешательства. Она не нашла ответа и только слегка покачала головой.

– Нет? – спросил Вильденроде. – Ну, так докажите же мне, что гость, приехавший сегодня в ваш дом, не пугает вас больше, и исполните одну мою просьбу. – Вильденроде нахло-

нился к ней, и его голос понизился до шепота. – Все здесь зовут вас Майей, каждый из членов этого общества имеет право называть вас просто по имени, которое звучит так мило, как ни одно имя на свете; даже этому... этому господину Рунеку позволено это; я один обращаюсь к вам официально. Я не так дерзок, чтобы предъявлять претензию на права Цецилии, которая, как сестра, говорит вам «ты», но... могли я звать вас Майей?

В просьбе барона не было ничего особенно дерзкого или необычного; пожилой человек мог позволить себе такую фамильярность по отношению к молодой девушке, брату которой он будет приходиться шурином, но Майя медлила с ответом.

Она колебалась так долго, что барон с упреком спросил:

– Вы отказываете мне?

– О, нет, конечно нет, ведь вы брат Цецилии.

– Да, но у брата Цецилии есть имя, которое ему очень хотелось бы слышать от вас, Майя; меня зовут Оскаром.

Ответа не последовало.

– Вы не хотите?

– Я... не могу!

В этом испуганном восклицании выразался боязливый отпор. Оскар опять улыбнулся.

– Неужели это так трудно? Ну, я не буду настаивать, пока с меня довольно и вашего позволения. Благодарю вас, Майя!

Он нежно пожал руку своей собеседницы и выпустил ее.

Майя! Как странно он выговаривал это имя! Этот звук наполнял душу молодой девушки никогда еще неизведанным чувством, сладостным и в то же время тревожным. Увидев подходившего к ним Эриха, она облегченно вздохнула.

– Право, мне кажется, Оскар, ты ухаживаешь за нашей маленькой Майей, – шутливо сказал он.

– Пока я только предъявляю права, которые дает мне будущее родство, – весело ответил барон. – Майя только что разрешила мне отбросить церемонное «фрейлейн». Надеюсь, ты ничего не имеешь против?

– Ровно ничего, – со смехом ответил Эрих, – хотя ты с гораздо большим достоинством мог бы разыграть роль дядюшки нашей малютки; посмотри, какое почтение ты внушаешь ей!

Майя не слышала последних слов; она быстро подошла к отцу, подсевшему к старшим дамам, и порывисто прижалась к нему, как будто искала у него защиты от какой-то опасности, неведомой, но уже успевшей бросить свою тень на ее светлое настоящее.

Цецилия продолжала сидеть у камина; Рунек, «каменный гость», как в насмешку шепотом назвала его своему жениху Цецилия, тоже не уходил со своего места. Молчаливость Эгберта в самом деле бросалась в глаза, по крайней мере, Эриху и Майе; баронесса же Вильденроде находила ее вполне естественной; молодой человек, очевидно, чувствовал себя чужим в обществе, к которому не принадлежал по пра-

ву, и милость, оказанная ему приглашением, по всей вероятности, больше тяготила его, чем радовала. Цецилия вполне разделяла мнение брата об этом и, подражая ему, до сих пор почти не обращала внимания на молодого инженера; но она заметила, что он наблюдает за ней; само собой разумеется, она сочла это доказательством удивления и восхищения ее красотой, а потому соблаговолила заговорить с ним.

– Так вы раньше знали моего брата?

– В большом городе не удивительно встретиться, – спокойно ответил Рунек. – Впрочем, встреча была мимолетней.

– Это было три года тому назад, в Берлине? Я помню, он приехал оттуда в Лозанну, чтобы забрать меня из пансиона.

– Но, мне кажется, Оскар не особенно любит Берлин. Вы долго пробыли там?

– Несколько лет, ведь я учился в Берлине.

– А, вот как! Зимой и я познакомлюсь с ним, мне покажет его Эрих. Воображаю, каким блеском должна отличаться там к жизнь общества, особенно во время сезона!

– Об этом я, к сожалению, ничего не могу сказать; я ездил в Берлин, чтобы учиться и работать.

– Но ведь не все же время шло на это?

– Все!

Этот твердо произнесенный ответ прозвучал почти сурово; он чрезвычайно не понравился Цецилии, но еще больше не понравился ей человек, давший такой ответ; она впервые взглянула на него внимательно. Этот друг Эриха имел поло-

жительно отталкивающую внешность! Правда, высокая, могучая фигура делала его приметным, но она решительно не вписывалась в рамки гостиной; к тому же у него были некрасивые, неправильные черты лица, жесткие, резкие и нелюбезные манеры. Последний ответ прозвучал так, как будто этот Рунек пытался поучать ее, баронессу Вильденроде. К своему удивлению, она заметила, что о робости и угнетенности здесь и речи быть не может, что в холодных серых глазах Рунека выражается вовсе не восхищение ею, они блестели враждебно. Однако это лишь подзадорило Цецилию.

Она положила хорошенькие ножки на каминную решетку и, откинувшись на спинку глубокого кресла, приняла небрежную, но необыкновенно грациозную позу. В этой части гостиной уже были сумерки; огонь в камине колеблющимся светом озарял стройную фигуру Цецилии в светлом шелковом платье, украшенном кружевами, розы на ее груди и красивую головку, лежавшую на темно-красной подушке.

– Боже мой, как я буду жить в этом Оденсберге! – со вздохом сказала она, – каждое третье слово здесь «работа»! Кажется, здесь не знают ничего другого. Я, легкомысленная дочь света, просто робею и обязательно попаду в немилость к моему будущему свекру, который тоже кажется записным тружеником.

Она говорила задорным тоном, который все в ее кругу находили пикантным, но здесь он не произвел никакого впечатления.

– Совершенно верно, господин Дернбург служит всем нам примером в этом отношении, – ответил Рунек. – Я не думаю, что Оденсберг мог бы понравиться вам, баронесса, но ведь Эрих наверняка подробно описал вам его, прежде чем вы решились приехать сюда.

– Мне кажется, мы сходимся с Эрихом во вкусах, он тоже любит веселый, солнечный юг и мечтает о вилле на берегу голубого моря, под пальмами и лавровыми деревьями...

– Эрих был болен и страдает от холодного воздуха своей родины, но все-таки любит ее; югу он обязан выздоровлением, прочем, он достаточно богат, чтобы купить себе где-нибудь в Италии виллу, куда мог бы приезжать на отдых, но его постоянным местопребыванием должен остаться Оденсберг.

– Вы считаете это необходимым?

– Конечно. Со временем он должен будет продолжить дело своего отца. Это его долг, который он обязан будет исполнять. Это касается и его будущей супруги.

– Обязан? Кажется, это ваше любимое выражение! Вы употребляете его при каждом удобном случае. Я терпеть не могу этого ужасного слова и не думаю, что когда-нибудь примирюсь с ним.

Казалось, Эгберт не находил особенного удовольствия в этом разговоре. В его ответе слышалось нетерпение, даже раздражение.

– Мы сделаем лучше, если не будем спорить об этом; мы принадлежим к двум различным мирам, и я должен изви-

ниться за то, что совершенно не понимаю вашего мира.

Цецилия засмеялась. Наконец-то ей удалось вывести этого человека из его непроницаемого спокойствия, на которое она смотрела, как на личное оскорбление; она не привыкла, чтобы ею не восхищались, чтобы ей говорили о долге.

– Полагаю, существует же мост, который соединял бы эти два мира, – шутя сказала она. – Может быть, мы еще и научимся понимать друг друга. Или вы думаете, не стоит и пробовать?

– Нет, – холодно ответил Рунек.

Цецилия вдруг выпрямилась и метнула на него гневный взгляд.

– Вы очень... откровенны, господин Рунек!

– Вы не так меня поняли, – спокойно ответил он. – Я только хотел сказать, что вам, разумеется, не стоит опускаться в мир, который настолько ниже вашего; ничего больше.

Баронесса закусила губы. Он хорошо отпарировал ее удар, но она знала, что именно хотел он сказать, и поняла жестокую насмешку, которая крылась в его словах. Чем можно было объяснить то, что этот человек осмеливался так говорить с невестой своего друга, с будущим членом семьи, благодеяниями которой он пользовался? Если до сих пор она почти не замечала этого инженера, считая его ниже себя, то теперь в ней закипела вражда к нему, и она решила, что он должен быть наказан за то, что рассердил ее.

Она встала и быстро направилась к Эриху, разговаривав-

шему с бароном в другом конце комнаты. Эгберт остался на месте; его глаза следили за братом и сестрой.

«Бедный Эрих, – подумал он, – в плохие руки ты попал!»

С наступлением ночи все разошлись; хозяева хотели поскорее дать отдых гостям, совершившим сегодня довольно большой переезд. Однако они еще не легли спать.

Оскар и Цецилия были одни в маленькой угловой гостиной, прилегавшей к комнатам для приезжих. Аромат цветов наполнял воздух, но ни брат, ни сестра не обращали на них внимания. Цецилия стояла среди комнаты; она казалась рассерженной и взволнованной, а в ее голосе слышалось плохо скрытое раздражение.

– Так ты все еще недоволен мной, Оскар? Мне кажется, что я сделала сегодня все возможное, а ты упрекаешь меня!

– Ты была слишком неосторожна в выражениях, – ответил Оскар. – Ты почти не скрывала своего нерасположения к Оденсбергу. Берегись! Отец Эриха очень обидчив, когда дело касается Оденсберга; он не простит этого.

– Неужели я обязана на протяжении нескольких недель ломать здесь комедию и делать вид, что я в восторге от этой отвратительной трущобы, которая, оказывается, гораздо ужаснее, чем я думала? Здесь чувствуешь себя отрезанной от всего света, заживо погребенной между горами и сосновыми лесами! К тому же эта близость заводов с их шумом и толпами рабочих!.. а главное – здешние люди! Только Майя представляет собой что-то более или менее сносное;

мой будущий свекор, по-видимому, обладает деспотическим характером и тиранит весь дом. Мне просто страшно делается при виде его строгого лица! Когда мы приехали, он так посмотрел на меня, словно хотел пронзить меня насквозь! А эта скучнейшая фон Рингштедт со своей окаменелой миной, эта не менее скучная, бледная гувернантка, а главное, этот так называемый «друг» Эриха, который наговорил мне такого, такого! – И Цицилия сердитым движением швырнула веер на стол.

– Что он сказал тебе? – быстро и резко спросил барон.

– О, на словах немного, но я прекрасно поняла, что осталось невысказанным. Если бы мы виделись не впервые, то я предположила бы, что он ненавидит и меня, и тебя; в его холодных и жестких серых глазах было что-то крайне враждебное, когда он говорил со мной, и совершенно то же выражение было в них и тогда, когда он напомнил тебе о встрече в Берлине.

Вильденроде с удивлением взглянул на сестру; он никак не ожидал от нее такой наблюдательности.

– Кажется, ты довольно долго разговаривала с ним, – заметил он. – Впрочем, ты не ошибаешься; этот Рунок – чрезвычайно неприятная и, может быть, даже опасная личность. Надо будет отделаться от него.

– Раз и навсегда говорю тебе: я не вынесу такой обстановки! Ты говорил мне, что Эрих будет жить со мной в городе, мы никогда даже не предполагали, что будет по-другому, а

здесь об этом и речи нет; все считают, что мы будем жить в Оденсберге, что иначе и быть не может! Неужели, вступая в брак, я должна отказаться от всего, что составляет в моих глазах прелесть жизни, учиться под руководством своего почтенного свекра домоводству и прочим семейным добродетелям, а в награду за хорошее поведение совершать ежедневные прогулки по его заводам? О каких-либо иных удовольствиях здесь и не представляют!

– Дело не в твоих удовольствиях, а в необходимости! – резко ответил Оскар. – Мне казалось, что я достаточно объяснил тебе суть вопроса, когда принимал приглашение приехать в Оденсберг. Еще в день твоего обручения ты вынудила меня сказать тебе правду, так что теперь ты прекрасно знаешь, в каком состоянии наши дела. Наше состояние погибло; до сих пор я давал тебе возможность жить в роскоши, как богатые люди, – какими жертвами я достигал этого, известно мне одному; но наступит время, когда и эти последние источники дохода иссякнут, и этот день уже не за горами. Если ты откажешься от блестящего будущего, которое я пытаюсь тебе устроить, выдавая тебя замуж, то тебе нечего будет и мечтать о том, что ты называешь «жизнью», тебе придется прозябать в бедности и лишениях. Неужели я должен несколько раз повторять тебе одно и то же?

Это бессердечное напоминание подействовало, баронесса Вильденроде боялась бедности и лишений; простая мысль о том, что она будет вынуждена распрощаться с той жизнью,

к которой привыкла, испугала ее и заставила отказаться от борьбы. Она опустила голову и молчала. Брат продолжал:

– До сих пор я почти всегда давал тебе волю, как избалованному ребенку, да и не было необходимости показывать тебе ту, непривлекательную сторону жизни; теперь же я требую, чтобы ты полностью подчинялась мне и делала то, что я посчитаю нужным. Ты еще не замужем, а старый Дернбург – такой человек, что не задумываясь разорвет наш союз в последнюю минуту, если появятся серьезные соображения против него. Прежде всего ты должна позаботиться о том, чтобы приобрести его расположение, потому что Эрих – совершенно бесхарактерная натура и всегда покорится воле отца. Тут главное – осторожность! Я не позволю тебе своим упрямством разрушить мои планы, о всей важности которых ты и понятия не имеешь; ты знаешь меня!

Голос барона звучал как приказание и угроза, и Цецилия, испуганно взглянув на брата, недовольно вздохнула и бросилась в кресло, но больше не стала возражать.

Наступила минутная пауза; потом Оскар подошел к сестре и заговорил гораздо ласковее:

– Как легко ты поддаешься своей горячей натуре! Другие все бы отдали, чтобы быть на твоём месте; найдутся тысячи девушек, которые будут завидовать тебе, а ты охотно оттолкнула бы от себя это счастье, как игрушку, которая тебе не нравится. В чем другом, а в расчетливости тебя никак нельзя упрекнуть!

– Зато ты расчетлив за двоих!

– Я? – Вильденроде нахмурился. – Не важно кто я и кем мне приходится быть, хотя мое внутреннее «я» и возмущалось против этого! Тот, кто, подобно мне, двенадцать лет плывет по воле волн, знает только одно: удержаться на поверхности во что бы то ни стало. Благодарю Бога за то, что можешь избежать этой участи, благодари и меня за то, что я спасаю тебя. Ты вступаешь в семью уважаемых людей, замужество доставит тебе почти несметное богатство, а твой будущий муж не знает большего счастья, чем исполнять малейшее твое желание; мне кажется, этого довольно.

– А что ты намерен делать, когда я выйду замуж? – спросила Цецилия.

– Это предоставь мне! Во всяком случае я не намерен жить милостями богатой сестры, для такой роли я не гожусь. Однако спокойной ночи, дитя! Будь же впредь осторожнее и не показывай, что Оденсберг тебе не нравится. Надеюсь, что во второй раз мне не придется напоминать тебе об этом.

Барон слегка коснулся губами лба сестры и вышел в свою комнату, примыкавшую к гостиной.

Наступила ночь. В доме воцарились мрак и тишина, и только в окнах спален еще виднелся свет. Ветер стих, и ближайшие окрестности погрузились в глубокий покой, но на заводах кипела работа, и среди безмолвной тишины ночи можно было различить каждый отдельный звук. Время от времени над заводами вспыхивало яркое зарево, из гигант-

ских горнил поднимались столбы искр, а из доменных печей вырывались черные клубы дыма, озаренные кровавым отблеском огня. Картина была величественная и интересная.

По-видимому, стоявший у окна Оскар Вильденроде был именно такого мнения. Восторг, который он выказал сегодня после обеда хозяину Оденсберга, не был лицемерием; его грудь высоко поднималась от волнения, и он произнес почти вслух:

– Быть хозяином такого богатства, знать, что от одного твоего слова зависят тысячи людей!.. Как стоял сегодня Дербург на пороге своего дома, встречая нас! Словно какой-нибудь монарх! На деле он действительно похож на монарха. Его уже не опьяняет успех, меня же он опьянит! – Он гордо выпрямился, но вдруг в его лице появилось особенно мягкое выражение и он продолжал шепотом. – Что за милое дитя эта Майя! Такое чистое, такое нетронутое! С замужеством этого ребенка связана другая половина этого богатства и власти.

Барон открыл окно» и, высунувшись наружу, стал смотреть на заводы, а в его мозгу роились честолюбивые мысли. Отважный игрок не довольствовался первым удачным ходом, он замышлял второй, еще более удачный.

Цецилия тоже еще не ложилась; она неподвижно сидела на прежнем месте, рассеянно ощипывая увядшие розы, снятые с груди. Эти чудные бледно-желтые розы, подарок Эриха, должны были напомнить ей о дне их помолвки, когда на

ней были такие же цветы. Вялые лепестки скользили по платью Цецилии и падали на пол, но невеста не замечала этого. Очевидно, нерадостные мысли занимали ее голову; между ее бровями опять виднелась роковая морщинка, напоминавшая о ее родстве с братом, а ее глаза стали совсем похожи на его глаза.

Обручение наследника Оденсберга с баронессой Вильденроде было объявлено и произвело среди соседей большое волнение; все предполагали, что Дернабург и в этом деле не даст сыну воли, то есть сам найдет ему невесту, и вдруг Эрих самостоятельно выбрал себе подругу жизни на далеком юге, не спросив позволения или совета у отца. Впрочем, красота невесты, ее происхождение и кажущееся богатство делали его выбор совершенно приличным, а потому согласие отца никого не удивило.

Пока у Цецилии не было никакого основания жаловаться на изолированность, которой она боялась в Оденсберге; ее помолвка оживила прежде тихий господский дом. Жених и невеста нанесли обычные визиты и приняли визиты соседей, принадлежавших в большинстве своем к числу самых крупных помещиков провинции; затем посыпались бесчисленные приглашения на более или менее пышные вечера, царицей которых была молодая невеста. Таким образом Цецилия на всех парусах плыла по потоку удовольствий; новые люди, новая обстановка, новые триумфы – все это не давало ей почувствовать перемену, происшедшую в ее образе жизни.

Барон Вильденроде также всюду производил благоприятное впечатление. Его аристократическая внешность и блестящий дар красноречия пленяли всех, чью симпатию он хо-

тел завоевать, тем более что к нему относились особенно любезно, как к будущему родственнику Дербурга. За несколько недель своего пребывания здесь он уже успел завоевать себе исключительное положение в обществе.

Тем временем работы по осушению радефельдского участка быстро продвигались вперед. Рабочие были размещены в основном в близлежащей деревне; там же поселился и инженер, руководивший работами. Обычно он ездил в Оденсберг один или два раза в неделю с докладом патрону о том, как идут дела.

Жизнь в Радефельде, маленькой деревушке среди леса, была лишена всяких удобств. Две крошечные комнатки, которые занимал Эгберт в доме одного из крестьян, были весьма скудно меблированы; но Эгберт не был избалован, он перевез из своей квартиры только книги, планы и чертежи и устроился в этом тесном помещении как мог.

Обычно Рунек рано появлялся на месте работ; сегодня его задержал гость из города, человек лет пятидесяти, с характерными чертами лица и темными глазами; он сидел в старом кресле, заменявшем здесь диван. По-видимому, они были заняты серьезным разговором.

– Хотел бы я еще спросить, почему ты теперь так редко бываешь в городе? – сказал гость. – Ты не был у нас уже несколько недель, и тебя приходится просто искать, когда появляется необходимость увидеться с тобой.

– Я очень занят. Ты сам видишь, у меня по горло работы.

– Работы! – насмешливо повторил гость. – А мне кажется, что наша работа понужнее, чем это копанье да возня в лесу! Я слышал, ты составил и план этих работ? Ты что же, хочешь заработать своему почтенному патрону лишний миллион в придачу к тем, которые у него уже есть?

– Дело не в миллионах, а в том, чтобы выполнить взятое на себя обязательство, – коротко ответил Эгберт. – Собственно говоря, осушка касается главного инженера; я должен оправдать доверие, оказанное мне, ведь меня поставили на его место.

– Для того, чтобы удержать тебя в Радефельде, подальше от Оденсберга, где ты можешь быть опасен! Да, старик не глуп, надо признаться, он ничего не делает просто так. Вероятно, он уже знает правду.

– Оставь насмешки, Ландсфельд! – нетерпеливо перебил гостя Эгберт. – Конечно, Дернбург знает правду; он спросил меня, и я без обиняков признался в своих убеждениях. Разумеется, я ждал, что за этим последует моя отставка, а вместо этого он поручил мне работы в Радефельде.

– Как странно! Это совершенно не похоже на старика! Или он по уши влюблен в тебя, или у него есть какая-нибудь мысль по этому поводу. Впрочем, твоя откровенность в данном случае пришлась весьма некстати, потому что теперь тебе, разумеется, и пошевелиться свободно не дадут в Оденсберге. Неразумно, очень неразумно, мой милый!

– Так я должен был отрицать правду? – удивился Эгберт,

сдвигая брови.

– А почему же и нет, если это может принести пользу.

– Так поищите себе другого, который был бы поискуснее во лжи! Скрывать свои взгляды и отречься от своей партии я считаю трусостью! Я поступил сообразно с этим убеждением.

– То есть ты опять сделал то, что взбрело тебе на ум, и послал к черту все наши предписания. Твое поле деятельности – Оденсберг; там ты должен работать сообща с нашими друзьями, а вместо этого ты преспокойно занимаешься осушкой Радефельда да нежишься в так называемом господском доме. Разве ты не знаешь, зачем мы прислали тебя сюда?

– А ты разве не знаешь, что я отказывался ехать, что в конце концов меня вынудило лишь строгое приказание комитета?

– К сожалению, знаю! Может быть, ты и это изволил сказать своему любезному патрону?

– Нет, он совсем иначе объясняет мое возвращение сюда, а я не стал ему объяснять. Добровольно я никогда не приехал бы в Оденсберг, а теперь окончательно убедился, что не могу оставаться здесь; как я и предвидел, мое положение очень шаткое.

– И тем не менее ты останешься, – сухо сказал Ландсфельд. – Этот Оденсберг – точно неприступная крепость. Своими школами, больницами да пенсионными кассами ста-

рик приручил своих рабочих; они боятся потерять свое обеспеченное положение, а главное – безбожно боятся своего тирана. Труссы! Сколько мы ни пытались поговорить с ними, у нас ничего не вышло. Дернбург сумел внушить им недоверие к нашим агитаторам. Ты сын рабочего, ты вырос среди них и, кроме того, пользуешься доверием их патрона; тебя они будут слушать и последуют за тобой, когда понадобится.

– Куда? – мрачно спросил Рунек. – Я не раз говорил вам, что восстание в Оденсберге совершенно не имеет смысла. Дернбурга невозможно переубедить, я знаю его; скорее он закроет заводы. Он из тех людей, которые предпочитают нести какие угодно убытки, но никогда не уступают; к тому же он достаточно богат, чтобы вести борьбу до конца.

– Именно поэтому и надо отбить у него охоту чваниться своей непогрешимостью! Пусть он, по крайней мере, убедится, что есть люди, которые не боятся восставать против него! Денежный мешок! Любуется на свои миллионы да бражничает, в то время как другие...

– Это неправда! – страстно воскликнул Эгберт. – Ты сам знаешь, что лжешь! Дернбург работает больше чем я или ты, а отдыхает только в кругу своей семьи. Раз и навсегда говорю тебе, я не потерплю, чтобы в моем присутствии клеветали на этого человека!

– Ого! Вот каким тоном ты заговорил! – раздраженно воскликнул Ландсфельд. – Ты защищаешь его от нас? Скажите, пожалуйста! Видно, барская-то жизнь делает покладистыми

тех, кто однажды попробует ее!

– Берегись, как бы я не доказал тебе, что я менее всего ответственую эпитету «покладистый»! Повторяю тебе, я не потерплю подобных разговоров, тем более что они совершенно не относятся к нашему делу. Или ты откажешься от этих необоснованных обвинений против Дербурга, или... я не переступлю больше твоего порога, а свое жилище уж я сумею защитить от обвинителей, которых не желаю слышать.

Ландсфельд равнодушно пожал плечами.

– Другими словами, ты хочешь вышвырнуть меня за дверь? Весьма любезно и по-товарищески! Но не будем спорить из-за этого; у нас вообще не принято говорить друг другу комплименты. Так ты будешь на предстоящем собрании?

– Да, – сурово и сердито ответил Эгберт.

– Хорошо, я полагаюсь на твое слово. Будут обсуждаться важные дела; мы ждем нескольких товарищей из Берлина, и тебя, конечно, по головке не поглядят за твою бездеятельность. Итак, через неделю! – Ландсфельд кивнул головой и ушел. Выйдя из дома, он обернулся и бросил злой взгляд назад. – Если бы ты не был так нужен нам! – пробормотал он. – Но здесь, в Оденсберге, без тебя невозможно обойтись. Однако подожди, мой милый, мы еще выьем из тебя спесь!

Эгберт остался один посреди комнаты со сжатыми кулаками и нахмуренным лбом; очевидно, в его душе происходила борьба противоречивых чувств. Вдруг он выпрямился и топнул, как будто хотел силой положить конец этой борьбе.

– Нет, нет и нет! Я сам выбрал этот путь и должен идти по нему до конца...

В долине Радефельда стоял гул; всюду рыли землю, взрывали скалы, деревья и кусты падали под топорами; неутомимые труженики достигли уже подошвы горы Бухберг, сквозь которую предполагалось проложить туннель. Рунек стоял на возвышении, руководя оттуда взрывом большой скалы. По сигналу рабочие отбежали от места, где была заложена взрывчатка; раздался глухой удар, и каменная стена раскололась; часть ее осталась стоять, другая – обрушилась. Группа рабочих, собравшихся у подошвы холма, двинулась вперед; Рунек тоже сошел с места, чтобы вблизи осмотреть результаты взрыва, но в это время к нему подошел старик-надсмотрщик и доложил:

– Господин инженер, господа из Оденсберга!

Эгберт оглянулся, ожидая увидеть экипаж Дернбурга, часто приезжавшего посмотреть, как идут дела, и вдруг от неожиданности так сильно вздрогнул, что старик удивленно посмотрел на него. На въезде в долину он увидел Эриха Дернбурга и Цецилию Вильденроде верхом на лошадях. Должно быть, лошади испугались взрыва, а потому грум, сойдя на землю, крепко держал их под уздцы. Эгберт быстро овладел собой и пошел навстречу приехавшим. Эрих приветливо протянул ему руку.

– Мы сдержали слово, Эгберт, и приехали без предупреждения. Ты позволишь нам посмотреть на твои владения?

– Я к вашим услугам, – ответил Рунок, кланяясь девушке, грациозно спрыгнувшей с седла, едва дотронувшись до руки жениха.

– Мы остановились в Радефельде и заглянули через открытые окна в ваше жилище, господин Рунок, – сказала она. – Господи, что за обстановка! Неужели вы действительно собираетесь прожить так все лето?

– Почему же нет? Мы, инженеры, – кочевой народ; нам надо уметь жить где попало.

– Но ведь в Оденсберге у тебя прекрасная квартира, а экипаж всегда к твоим услугам, – заметил Эрих. – Почему бы тебе не жить там?

– Потому что тогда мне придется ежедневно терять три часа на дорогу сюда и обратно. У меня в Радефельде книги и работа; Все остальное меня не очень интересует.

– Да, ты спартанец и физически, и нравственно, – со вздохом сказал Эрих. – Хотел бы я быть похожим на тебя, но, к сожалению, о подражании и думать нечего. Я слишком избаловался на юге и вот теперь расплачиваюсь.

Он вздрогнул как от озноба. Очевидно, он страдал от климата своей родины, не желая признаться в этом даже самому себе; он был бледен и нездоров на вид, а прогулка верхом, казалось, больше утомила, чем доставила ему удовольствие. Тем более бросался в глаза цветущий вид его невесты. Для нее продолжительная и быстрая езда была игрушкой, и она с большой досадой подчинялась необходимости ради Эриха

придерживать лошадь. Впрочем, она была в прекраснейшем настроении и даже к Эгберту отнеслась чрезвычайно любезно; ни один взгляд, ни одно слово не напоминали об их стычке при первой встрече.

Рабочие почтительно кланялись молодым господам; их взгляды с восторгом следили за невестой; красота Цецилии и здесь произвела фурор, только Рунек казался нечувствительным к ней. Он сопровождал своих гостей, подробно объясняя непонятное, но по отношению к баронессе Вильденроде хранил прежнюю сдержанность и обращался в основном к Эриху, хотя не нашел в нем особенно внимательного слушателя; молодой наследник выказывал лишь вялое, полувынужденное участие ко всем этим вещам, которые, казалось бы, должны были интересовать его больше всего.

– С трудом верится, что ты сможешь сделать все это за несколько недель, – наконец сказал Эрих с откровенным удивлением. – На это следовало бы посмотреть моему шурина, который теперь целыми днями торчит на заводах. Я никогда не поверил бы, что Оскар может чувствовать такой страстный интерес к подобным вещам.

Рунек ничего не ответил, но его губы презрительно дрогнули. Эрих не заметил этого и продолжал:

– Да, не забыть бы, Эгберт! На днях мы устроили прогулку в горы, и кое-кому из нашего общества показалось, будто крест на Альбенштейне покосился. Папа желает, чтобы это было исследовано для предупреждения несчастного случая.

Нет ли среди твоих рабочих человека, который согласился бы сделать это?

– Конечно, найдется, – ответил Рунок. – Действительно, если такой тяжелый крест слетит с утеса, может случиться несчастье; ведь как раз под ним проходит шоссе. На днях я сам пойду взгляну, в чем дело.

– На Альбенштейне? – спросила Цецилия. – Но ведь он, говорят, недоступен.

– Для обыкновенных смертных недоступен, – пошутил Эрих. – Для того, чтобы предпринимать подобные прогулки по нашим горам, надо быть Эгбертом Руноком. Я думаю, Эгберт был на Альбенштейне уже раза три-четыре.

– Я привык ходить по горам, – спокойно сказал Рунок. – Мальчиком я излазил все скалы и утесы, а такое умение не утрачивается. Впрочем, Альбенштейн не недоступен; нужно только обладать крепкими нервами и хладнокровием, – тогда пройти можно.

– Бога ради, не говори этого! – воскликнул Эрих. – Иначе Цецилия, чего доброго, вернется к сумасшедшей мысли, которой она недавно напугала меня. Она непременно хотела отправиться на Альбенштейн.

По-видимому, Рунока удивила такая фантазия.

– Ну да! – весело ответила Цицилия, – мне хотелось бы постоять там около креста, высоко-высоко, у самого края пропасти. Должно быть, это страшное и сладостное чувство! Но даже мысль об этом приводит Эриха в ужас.

– Пили, ты мучаешь меня своими шутками!

– Ты считаешь это шуткой? А если бы я говорила серьезно, ты пошел бы со мной?

– Я? – воскликнул Эрих с таким видом, точно ему предлагали прыгнуть с того утеса, о котором шла речь.

На губах невесты заиграла сострадательная, почти презрительная улыбка; она едва заметно пожала плечами.

– Успокойся! Такого доказательства любви я от тебя не потребую; я пошла бы одна.

– Цили, Бога ради! – воскликнул Дернбург, уже серьезно испуганный, но Эгберт остановил его мольбы, спокойно и уверенно заметив:

– Тебе нечего бояться, эта дорога не для избалованных дамских ножек. Баронесса Вильденроде едва ли попытается предпринять такую прогулку, а если и попытается, то через пять минут вернется.

– Вы убеждены в этом? – странным тоном спросила Цецилия, причем ее глаза заблестели.

– Да, потому что знаю Альбенштейн.

– Но вы не знаете меня!

– Может быть, и знаю!

Цецилия молчала; ответ, казалось, поразил ее; вдруг ее взгляд упал на жениха, и она насмешливо улыбнулась.

– Не делай такого несчастного лица, Эрих! Ведь все это шутка; я и не помышляю об Альбенштейне и его ущельях, в которых, говорят, легко свернуть себе шею... Каким обра-

зом вы умудрились взорвать этот каменный колосс, господин Рунек?

Эрих с облегчением вздохнул и обратился к старому надсмотрщику, стоявшему неподалеку и видимо ожидавшему, чтобы с ним заговорили.

Старик Мертенс служил еще отцу нынешнего владельца, и теперь ему дали довольно легкую и выгодную должность старшего надсмотрщика на радефельдском участке работ. Эрих знал его с детства; он ласково заговорил с ним, спросил его о семье, а потом обратился и к другим стоявшим поблизости рабочим. Кто видел, как он стоял в толпе, сгорбленный и усталый, тот никогда не догадался бы, что это будущий владелец Оденсберга; у него не было совершенно никаких данных для этой роли.

По всей вероятности, и баронессе Вильденроде пришло это в голову, потому что она с досадой сдвинула тонкие брови и медленно перевела взгляд на инженера, стоявшего перед ней. До сих пор она видела его только во фраке, сегодня же на нем была серая кожаная куртка и высокие сапоги с отворотами, но он поразительно выигрывал от этой простой одежды; здесь, где он был в своей среде, его внешность полностью соответствовала окружению. С первого взгляда было видно, что он здесь – хозяин и распорядитель, что он умеет приказывать.

Эгберт легким поклоном пригласил баронессу следовать за ним к месту работы, чтобы объяснить интересовавший ее

вопрос; но, показывая ей мину, которую уже успели заложить под уцелевшую часть утеса, он обращал все свое внимание исключительно на камень и почти не смотрел на свою прекрасную слушательницу.

– Мы видели оттуда взрыв, – сказала она с улыбкой. – Это было чрезвычайно красиво. Вы стояли на возвышении, как на троне, изображая собой горного духа, рабочие разместились у ваших ног, подобно подвластным вам духам земли; легкое движение вашей руки – и скала с грохотом разлетелась на части. Как в сказке!

– А вам известны сказки и легенды наших гор? – холодно спросил Эгберт.

– Да, я узнала их благодаря Майе; она познакомила меня с фольклором своей родины, и я, право, подозреваю, что малютка очень серьезно относится к нему. Майя – еще совершенный ребенок, – прибавила она рассудительным тоном взрослого человека.

Действительно, эту стройную молодую девушку, стоявшую перед Эгбертом, прислонившись к каменной глыбе, в плотно прилегающей серебристо-серой амазонке и серой шляпе с перьями, никто не мог упрекнуть в том, что она до сих пор была еще ребенком; даже здесь она оставалась знатной светской дамой, ради развлечения приехавшей посмотреть, как трудятся люди. Но Цецилия была обворожительно прекрасна в своей вызывающей, самоуверенной позе; не сомневаясь в победе, сияя красотой, она стояла перед един-

ственным человеком, который не поддавался ее чарам, до сих пор никогда не изменявшим ей.

Может быть, именно эта нечувствительность молодого инженера и подзадоривала избалованную девушку, и она продолжала веселым тоном:

– При виде фантастической картины, в центре которой были вы, я невольно вспомнила старинную легенду о разрыв-траве, чудодейственном жезле горного духа; перед ее силой сами собой открываются все запоры и раздвигаются скалы, обнажая спрятанные в земле сокровища; они блестят в темной глубине и манят к себе избранника, которому предстоит вынести их на свет Божий.

«В глубокую, темную ночь
Берет он ларец золотой.
Алмазы, жемчуг, серебро –
Все взял удалец молодой»...

Не правда ли, я внимательно отнеслась к урокам Майи? Произнося слова старинной песни о всемогущей разрыв-траве, Цецилия устремила свои улыбающиеся глаза на Эгберта, но лицо инженера оставалось совершенно неподвижным; оно было чуточку бледнее обычного, однако голос звучал ровно и спокойно.

– Наше время уже не нуждается в волшебных средствах, – произнес он, – оно нашло новую разрыв-траву, которая также разрушает скалы и позволяет заглянуть в недра зем-

ли? Вы видите...

– Да, я вижу обнаженные каменные глыбы и груды мелких осколков, но где же сокровища? Они продолжают скрываться в недрах земли.

– В недрах земли пусто и мертво; там нет больше сокровищ.

– А, может быть, просто забыто волшебное слово, без которого разрыв-трава бессильна, – весело ответила Цецилия, делая вид, что не замечает неприятного выражения лица Рунека. – Как вы думаете?

– Я думаю, что мир волшебства и сказок остался далеко позади нас. Мы больше не понимаем его, вернее – не хотим понимать.

Было что-то почти грозное в этих словах, по-видимому, не лишенных смысла. Цецилия прикусила губу; выражение лучезарной любезности на ее лице моментально исчезло, и глаза сердито сверкнули, но в следующую секунду она уже звонко рассмеялась.

– О, как сердито! Бедненькие гномы и карлики в вашем лице приобрели себе злейшего врага! Послушай-ка, Эрих, как твой друг громит весь сказочный мир.

– Да, о подобных вещах с Эгбертом лучше не говорить, – сказал подошедший к ним Эрих. – Поэзия не подлежит измерению и вычислению, а потому, по его мнению, является крайне бесполезным занятием. Я до сих пор не могу забыть, как он принял известие о моей помолвке, – положительно с

состраданием! А когда я рассердился и упрекнул его в том, что он не знает любви и не хочет ее знать, я услышал в ответ ледяное «нет»!

Цецилия взглянула своими большими темными глазами на Эгберта, и в них опять блеснула демоническая искорка.

– Вы говорите серьезно, господин Рунек? – улыбаясь спросила она.

Эгберт побледнел, но твердо выдержал ее взгляд и холодно ответил:

– Да!

– Видишь? – воскликнул Эрих. – Он тверд, как эта скала.

– Допустим, что это так, но ведь и скалы иногда вынуждены уступать, как, например, эта, – промолвила Цецилия. – Берегитесь, господин Рунек! Вы насмеялись над таинственной силой природы и отрицаете ее существование, она отомстит за себя.

Вместо шутки от этих слов веяло насмешкой. Эгберт ничего не ответил, а Эрих с удивлением переводил взгляд то на него, то на Цецилию.

– О чем вы говорите? – спросил он.

– О разрыв-траве, заставляющей скалы рассыпаться, а землю – расступаться над зарытыми в ней кладами. Однако, мне кажется, мы могли бы уже отправляться в обратный путь, если ты не возражаешь.

Эрих согласился и обернулся к Эгберту:

– Я вижу, вы собираетесь продолжать взрывные работы,

но ты, конечно, подождешь, пока мы уедем подальше; наши лошади были очень испуганы взрывом, грум едва удержал их.

На губах Цецилии опять появилась презрительная улыбка; она прекрасно видела, как ее жених вздрогнул от глухого звука взорванной мины и подозвал грума поближе к себе; и ее лошадь сильно испугалась, но она сама сдержала ее. Тем не менее она подавила готовое сорваться с ее губ замечание и, направляясь в сопровождении Эриха и Эгберта к месту, где стояли лошади, сказала:

– Примите нашу благодарность за любезный прием и объяснение! Конечно, вы будете очень рады поскорее отделаться от мешающих вам гостей.

– О, напротив! Эрих здесь хозяин, следовательно, об этом не может быть и речи.

– И все-таки вы были буквально ошеломлены, когда заметили нас при входе в долину.

– Я? О, нет! Ваше зрение обмануло вас; увидев вас так близко, я просто испугался, ведь никогда невозможно предвидеть, что случится.

Цецилия нетерпеливо ударила хлыстом по складкам своей амазонки. Неужели эту «скалу» ничем не проймешь?

Они дошли до выхода из долины; Цецилия и Эрих сели на лошадей, баронесса слегка поклонилась и быстро ударила хлыстом свою красивую рыжую лошадь; горячее животное встало на дыбы и тотчас сорвалось с места в галоп, так что

другие едва поспевали. Минут пять всадники еще виднелись на лесной дороге, ведущей в Радефельд, а затем скрылись за лесом.

Эгберт стоял неподвижно и горящими глазами смотрел на дорогу; его губы были плотно сжаты, а на лице застыло странное выражение, как от острой боли или гнева. Наконец он повернулся и пошел назад. Вдруг он заметил у своих ног что-то белое и воздушное, подобное комку снега. Он остановился как вкопанный, потом медленно наклонился и поднял тонкий носовой платок; исходящий от него нежный, сладкий аромат одурманил Эгберта. Его пальцы невольно все крепче и крепче сжимали нежную ткань.

– Господин инженер! – раздался голос сзади него.

Рунок вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял старый Мертенс.

– Рабочие спрашивают, можно ли начинать, все готово.

– Конечно, я сейчас приду. Мертенс, вы пойдете сегодня вечером в Оденсберг?

– Да, я хочу провести воскресенье вместе с детьми.

– Так вот, возьмите... – Рунок запнулся; старик с удивлением глядел на него, инженер как будто задыхался. Впрочем, это продолжалось не больше нескольких секунд, а затем он произнес совершенно не своим, каким-то грубым голосом: – Возьмите этот платок и отнесите в господский дом, его потеряла баронесса Вильденроде.

Мертенс взял платок и сунул в карман, а Эгберт вернул-

ся к рабочим, ждавшим его прихода. Он подал знак, и «разрыв-трава» новейшего времени исполнила свое дело: утес глухо треснул, покачнулся и, раздробленный, обрушился к ногам Рунека, увлекая за собой деревья и кустарники.

8

– Как я уже имел честь докладывать вам, нервы – просто прескверная привычка! С тех пор как дамы изобрели нервы, мы, врачи, стали несчастнейшими людьми на свете. Пусть нервы будут полезнейшим изобретением в глазах женатых людей, но такие закоренелые холостяки как я не чувствуют к ним ни малейшего уважения.

Такими словами доктор Гагенбах закончил свою пространную речь в комнате фрейлейн Фридберг. Леони, которая с виду действительно была бледна и нездорова, обратилась к нему за советом и на его вопрос в чем дело, объявила, что «ее нервы донельзя расстроены». Подобные заявления всегда выводили доктора из себя, и сегодня результатом была резкая выходка с его стороны.

Леони пожала плечами.

– Я думаю, доктор, вы единственный медик, отрицающий существование нервов. Наука...

– То, что наука называет нервами, я вполне признаю и уважаю – перебил ее Гагенбах, – того же, что подразумевают под этим словом дамы, не существует. Почему вы не обратитесь к городскому врачу, почтительно расшаркивающемуся перед каждым отдельным нервом своих больных, или к одному из моих юных оденсбергских коллег, относящихся к этому предмету еще с некоторой робостью? Раз вы обрати-

лись ко мне – шутки в сторону, это вам известно?

– Да, известно! – несколько раздраженно ответила пациентка. – Я жду ваших предписаний.

– Которых, разумеется, не станете выполнять? Но этим вы от меня не отделаетесь, я придерживаюсь строгой методики. Во-первых, воздух в вашей комнате никуда не годится – он слишком удушлив и тяжел; прежде всего мы откроем окно! – Гагенбах без дальнейших рассуждений распахнул окно. – Вчера вы выходили из дома?

– Нет, вчера был ветер и дождь.

– На этот случай существуют дождевики и зонтики. Берите пример со своей воспитанницы; посмотрите в парк, фрейлейн.

Майя превесело переносит ветер, а это крошечное существо Пук тоже борется с ветром весело и храбро, хотя его чуть не сдувает с земли.

– Майя молода; она счастливый ребенок, не знающий еще ничего, кроме смеха и солнечного света, – со вздохом сказала Леони. – Ей еще не известны горе и слезы, тяжелые и горькие удары судьбы, которые надрывают наши силы.

Она невольно посмотрела на письменный стол, на стене перед которым главное место занимала большая фотография в темной раме; должно быть, с этим портретом были связаны дорогие и горестные воспоминания, потому что он был окружен черным флером⁵, а перед ним стояла вазочка с фи-

⁵ Флёр – тонкая просвечивающаяся ткань.

алками.

Проницательный доктор заметил этот взгляд. Он как бы случайно подошел к столу и, рассматривая портреты, сухо заметил:

– От ударов судьбы никто не застрахован, но их гораздо лучше переносить со здоровым юмором, чем со вздохами и слезами. А, портрет фрейлейн Майи! Очень похожа! А рядом ее брат, удивительно, до чего он не похож на отца! Кого изображает эта фотография? – и он указал на портрет, украшенный траурным флером.

Вопрос застал Леони врасплох; она вспыхнула и ответила нетвердым голосом:

– Одного... одного родственника.

– Может быть, вашего брата?

– Нет, кузена... очень дальнего родственника.

– Вот как? – протяжно произнес Гагенбах. Казалось, этот «дальний родственник» заинтересовал его; он весьма внимательно рассмотрел лицо бледного и худого молодого человека с гладко зачесанными волосами и мечтательно прикрытыми глазами, а потом равнодушно продолжал: – Это лицо как будто знакомо мне; должно быть, я видел его где-то.

– Вы ошибаетесь! Его давно нет в живых, много лет назад он похоронен в знойных песках африканской пустыни.

– Упокой, Господи, его душу! Как же он попал в Африку с ее знойными пустынями? Как исследователь?

– Нет, он умер мучеником за святое дело; он отправился с

миссией, целью которой было обращение язычников в христианство, и не выдержал климата.

– Мог бы сделать что-нибудь поумней. Я считаю совершенно излишним обращать в христианство черных язычников далекой Африки, когда у нас под носом, в Германии, проживает множество белых язычников, которые знать не хотят христианства, хоть и крещены. Если бы ваш двоюродный брат спокойно сидел в своем приходе и проповедовал прихожанам слово Божие...

– Он был не богословом, а учителем, – рассерженно перебила его Леони.

– Все равно! В таком случае ему следовало внушать страх Божий нашим школьникам; в наше время у этих повес он имеется далеко не в достаточной мере.

Это мнение выводило Леони из себя, но случай избавил ее от необходимости отвечать, потому что в эту минуту слышался робкий стук в дверь и вслед за тем вошел Дагоберт. Не успел еще он выполнить свой церемонный поклон, как дядя крикнул ему:

– Сегодня не будет урока английского языка! Фрейлейн Фридберг только что объявила, что «ее нервы донельзя расстроены», а нервное расстройство и английская грамматика несовместимы.

Вероятно, молодой человек чувствовал большое влечение к изучению языков, потому что это известие совсем расстроило его. Леони решительно возразила:

– Прошу вас, останьтесь, милый Дагоберт! Наши уроки не должны страдать от этого. Я сейчас принесу книги.

Она встала и вышла в соседнюю комнату. Доктор с Досадой посмотрел ей вслед.

– Никогда еще у меня не было такой несговорчивой пациентки! Вечное олицетворение противоречия! Послушай, Дагоберт, ты, кажется, знаешь здесь многое; что это за человек там висит?

– Висит? Где? – с ужасом спросил Дагоберт.

– Ну, к чему сразу же думать о петле? Я говорю о том портрете над письменным столом в этой проклятой раме из крепа и фиалок.

– Это родственник фрейлейн, кузен...

– Ну да, «очень дальний родственник»! Это она и мне сказала. Только мне что-то не верится! Это, наверняка, ее умерший жених. Не знаешь ли ты его имени?

– Фрейлейн раз назвала его при мне... Энгельберт.

– Ну, вот видишь – Энгельберт! – серьезно произнес доктор. – Это имя по своей сентиментальности как раз под стать его неприятной физиономии. Энгельберт и Леони – превосходное сочетание! Наверно, они ворковали друг другу о своей тоске в разлуке и изливали свою скорбь в слезах, как две плакучие ивы!

– Да ведь бедняга уже умер, – вставил Дагоберт.

– Не много умного сделал бы он, если бы и остался в живых, – проворчал Гагенбах. – Этакая жалкая фигура! Однако

мне пора; передай мой поклон фрейлейн. Желая вам найти удовольствие в нервном уроке английского языка! – Доктор вышел. Сильно не в духе спускался он с лестницы; «сентиментальный кузен из песчаных пустынь», казалось, вконец испортил его настроение. Вдруг он остановился. – Я где-то видел это лицо, это, как дважды два – четыре. Только странно, оно выглядело совершенно по-другому!

Произнеся это загадочное замечание, доктор сердито потряс головой и вышел из дома.

Погода не располагала к прогулке; был один из тех холодных, ветреных весенних дней, которые так часты в горах. Правда, природа уже ожила, деревья оделись в свежую зелень, но из-за недостатка солнца и тепла растительность почти не развивалась.

Темные облака мчались по небу, вершины деревьев гнулись от ветра, но это ничуть не беспокоило молодой девушки, легкой поступью быстро шедшей по узкой лесной тропинке. Майя знала, что отец не любил, когда она одна предпринимала такие далекие прогулки пешком, но Пук сломя голову перебежал через луг, она последовала за ним, потом они забрались в лес; там под шумящими соснами было очень хорошо, густые зеленые чащи манили все вперед и вперед. Какое удовольствие бродить совсем одной, бегать наперегонки с Пуком! Увлечшись этим удовольствием, Майя совсем забыла о возвращении, пока наконец сама судьба не напомнила ей об этом самым неделикатным образом: пошел

дождь, сначала маленький, потом все сильнее и сильнее, и наконец с неба хлынули целые потоки воды.

Майя спряталась под сосну, но нашла там убежище лишь на несколько мгновений; не успела она опомниться, как с ветвей закапала вода, а по стволу заструились целые ручьи. А небо становилось все черней и черней. Это не был кратковременный порыв дождя, и девушке не оставалось ничего другого, как бежать со всех ног в лесной домик, находившийся в десяти минутах ходьбы отсюда. Задумано – сделано! Девушка бросилась вперед, перескакивая через пни и камни, по мокрой мшистой почве, достигла полянки, но тут попала совершенно во власть дождя и ветра и наконец, измокшая и задыхающаяся, прибежала к домику вместе со своим маленьким четверногим спутником.

Домик принадлежал оденсбергскому лесничеству, но был расположен на расстоянии получаса ходьбы от него, среди леса. В зимнее время здесь кормили проголодавшуюся дичь, а потому здесь же хранились запасы корма. Это был маленький домик с крепкой крышей и двумя низенькими окнами; теперь, ранней весной, он был совершенно пуст. Он стал желанным убежищем для двух беглецов.

Майя стряхнула одежду. Плащ предохранил ее платье, но шляпке пришлось совсем худо; эта хорошенькая вещица из кружева и перьев представляла какую-то бесформенную массу. Не лучше выглядел и Пук; его шелковистая белая шерстка была насквозь пропитана водой и висела на боках

тяжелыми мокрыми прядями; он имел такой жалкий вид, что Майя громко расхохоталась.

– Видишь, Пук, вот мы и поплатились! – сказала она с комическим отчаянием. – Почему мы были так глупы и не остались в парке! Боже, в каком виде мы вернемся и как будет бранить нас папа! А во всем виноват ты, ведь ты первый побежал в лес. Слава Богу, что нам повезло, иначе нас обоих смыло бы, и Эгберту пришлось бы выуживать нас из воды.

Она бросила испорченную шляпку на низенькую скамейку, села и стала смотреть в окно. Дождь лил с прежней силой, а ветер свистел вокруг домика, словно хотел сорвать его с места. О возвращении домой пока еще нечего было и думать. Майя покорила неизбежному, натянула капюшон плаща на голову и стала наблюдать за Пуком, который, выставив нос в щелку не совсем притворенной двери, сердито следил за пролетающими мимо каплями.

Вдруг на опушке леса появилась фигура человека. Несколько секунд он стоял, озираясь вокруг, потом бегом направился через полянку прямо к домику; незнакомец, очевидно, тоже убегающий от непогоды, смелым прыжком перелетел через маленькое озерко, образовавшееся как раз перед дверью, и так сильно толкнул ее, что Пук с ужасом отскочил, а затем с отчаянным лаем бросился на нахала, осмелившегося оспаривать у него и его госпожи право на безраздельное владение домом.

– Ну-ну, не злись, забияка! – смеясь воскликнул незнако-

мец. – Разве ты здесь хозяин? Или, может быть, хозяин – тот серый гном, что притаился там, на скамье?

Он нагнулся, чтобы схватить собачонку, но она ловко увернулась от его рук и поспешно бросилась в угол, откуда слышались подавленный смех и тонкий голосок, произнесший:

– Серый гном благодарит вас за лестное мнение.

Ответ показал незнакомцу, что там, в полутемном углу сумрачной комнаты, сидит вовсе не дитя угольщика или крестьянина, как он подумал с первого взгляда. Он присмотрелся пристальнее, но из-под низко надвинутого на лоб капюшона только и были видны маленький розовый ротик, хорошенький носик и большие темные глаза, которые тоже с любопытством и удивлением смотрели на незнакомца, вторгшегося в дом.

Это был молодой человек лет двадцати четырех с красивым, открытым лицом, темными, слегка выющимися волосами и веселыми светлыми глазами. Погода нелюбезно обошлась с ним; с его серого дорожного костюма текла вода, а с полей шляпы на пол брызнуло несколько маленьких водопадиков.

– Заблудившийся и застигнутый непогодой путник просит милостивейше разрешить ему на короткое время воспользоваться этим приютом, – сказал он, обращаясь к Майе. – Право же, я обыкновенное человеческое существо, а не сам водяной, как можно предположить, если судить по моей внеш-

ности. Вы позволите мне приблизиться?

– Оставайтесь у двери, – послышалось из угла, – духи воды не ладят с духами земли.

– Да? В таком случае мне остается одно – предъявить все доказательства того, что я человек с именем, фамилией, положением и прочими земными принадлежностями. Итак, граф Экардштейн, лейтенант пехоты, брат владельца экардштейнского майората, направляющийся в свой родовой замок. Я послал экипаж вперед в Радефельд, а сам хотел пройти пешком через оденсбергский лес, как вдруг нелюбезным облакам заблагорассудилось излиться на землю потоками воды; отсюда мой необычный туалет, которому я обязан оскорбительным подозрением в принадлежности к водяному царству; этим и ограничивается моя сказочность. Довольны ли вы таким объяснением?

– Мне кажется. Итак, граф Виктор снова появляется на родине после шести лет отсутствия?

– Вы знаете меня? – изумленно воскликнул граф.

– Гномы всеведущи.

– Но они не остаются невидимками, когда снисходят до общения со смертными. Неужели я не увижу, кто кроется под этой серой накидкой?

Молодой человек снова попытался заглянуть в лицо таинственному существу, но безуспешно, потому что внезапно появившаяся маленькая розовая ручка так низко надвинула капюшон, что из-под него виднелся только нос. Опять

послышались тихий, поддразнивающий смех и возглас:

– Угадайте, граф!

– Это немыслимо! Как я могу угадать? Я не знаю никого даже в Экардштейне, а тем более в Оденсберге; ведь мы же на оденсбергской земле.

Он остановился, как будто ожидая ответа, но вместо него последовало новое:

– Угадайте!

Граф Виктор сообразил, что так он не достигнет цели, а серебристый смех и звонкий голос давали ему основание предполагать, что девушка, игравшая с ним в прятки, должна быть еще очень молоденькой. Его глаза шаловливо блеснули, он почтительно поклонился и сказал с напускной серьезностью:

– В самом деле, кажется, теперь я узнаю голос, а также и фигуру. Я имею честь говорить с фрейлейн Короной фон Шметвиц?

Средство подействовало: гном выскочил из темного угла, капюшон отлетел назад, и перед глазами графа появилась прелестная головка Майи, окруженная волнами светлых волос, ее милое детское личико, пурпурное от негодования.

«Корона фон Шметвиц! Сорокалетняя дева, у которой одно плечо выше другого и такой скрипучий голос! Так у меня такая же фигура? Я так же говорю?» – подумала девушка и бросила на графа уничтожающий взгляд.

Последний, вероятно, никак не ожидавший, чтобы под се-

рой накидкой скрывалось что-либо до такой степени привлекательное, с изумлением смотрел на девушку. В первую минуту он совершенно не узнал ее, но потом в его голове вдруг блеснуло воспоминание, и он воскликнул почти с восторгом:

– Маленькая Майя! Извините, я невольно вспомнил детство!

– Да, – весело засмеялась Майя, – тогда я еще носила коротенькие платьица и у меня были длинные-длинные косы, за которые вы всегда ловили меня. Но я сержусь на вас, граф, очень сержусь. Принять меня за Корону Шметвиц!

– Это была военная хитрость – иначе я не скоро узнал бы истину. Неужели вы серьезно думаете, что я мог спутать вас с дамой, к которой еще мальчиком питал такое почтение, что старался улизнуть куда-нибудь подальше всякий раз, как она подъезжала к Экардштейну? Как, вы все еще сердитесь на друга вашего брата? Ведь он не раз принимал участие в ваших играх.

– Да, вы часто снисходили до игры с «маленькой Майей», – ответила она, надув губы. – Единственное, что осталось у вас в памяти, это мое имя.

– Нет, в моей памяти осталось и кое-что другое, иначе я не узнал бы вас сию же минуту, как только вы сбросили свое серое облачение. Во всяком случае я приехал бы на днях в Оденсберг. Эрих дома?

– Да, и он жених! Ведь вы еще не знаете этого?

– Нет, знаю, я получил известие о его помолвке, но еще

не поздравил его. Мне о многом надо расспросить, я стал совсем чужим на родине, а так как у нас теперь есть время...

– У нас совсем нет времени, – возразила Майя. – Посмотрите, небо проясняется, дождь перестает; мне кажется, непогода миновала.

Граф подошел к двери и взглянул на облака с крайним разочарованием. Он только что находил их нелюбезными за то, что они разразились дождем; теперь же, казалось, признавал их еще более нелюбезными за то, что им вздумалось редеть.

– Да, дождь прекращается... но он опять скоро начнется, – сказал он надеясь, что это действительно так и будет. – Во всяком случае нам следует переждать новый порыв дождя.

– Чтобы совсем застрять здесь? – возразила Майя. – Нет, я воспользуюсь перерывом и поскорее побегу в Оденсберг. Сюда, Пук, бежим!

– Так и я побегу с вами! – рассмеялся граф.

Все трое отправились в обратный путь. Дождь прекратился, но на открытых местах бушевал ветер, а когда они укрывались под защиту деревьев, то шумящие вершины щедро осыпали их крупными каплями, производя настоящее подобие дождя. Тропинка превратилась в быстрый ручеек, так что Майе и ее спутнику приходилось пробираться сбоку, по мху и древесным корням; речка переполнилась и залила берега по обе стороны плотины, надо было перебраться через нее, прыгая с камня на камень; Пук, потеряв равновесие, со-

скользнул с камня в воду и поднял жалобный визг, потому что никак не мог справиться с водоворотом; Майя горестно вскрикнула, боясь за своего любимца, а граф Экардштейн, прыгнув по колени в воду, схватил барахтавшуюся собачку и принес ее хозяйке, наградившей храброго спасителя благодарным Взглядом; неожиданно среди леса они увидели дикую яблоню в цвету. Девушка воскликнула от восторга, что дало графу повод Показать свою ловкость в гимнастике; к сожалению, под ним сломалась ветка, он повис на сучке и вернулся на землю с зияющей дырой на рукаве.

Молодые путешественники весело боролись с бушующим ветром, звонко смеялись, когда он, вдруг налетая на деревья, обдавал их обильным дождем, неумоимо перепрыгивали через корни деревьев, карабкались по камням и становились тем веселее, чем непроходимее делалась дорога. Смеху, болтовне, вопросам и рассказам не было конца; ожили старые воспоминания детства и юности. Серый туман клубился между соснами, по небу мчались темные тучи, но над этими двумя людьми сияло яркое солнце молодости и счастья; что за дело им было до дождя и ветра!

Наконец они достигли оденсбергского парка. Майя направилась к маленькой решетчатой калитке, через которую вышла несколько часов назад, как вдруг калитка открылась изнутри и из нее поспешно вышел Оскар фон Вильденроде.

– Майя, как это можно в такую погоду, одной...

Вдруг он замолчал, и его глаза с видимым удивлением

остановились на ее спутнике, которого он заметил только теперь.

Майя, опять надевшая капюшон на голову вместо испорченной шляпки, которую держала на руке, весело рассмеялась.

– А вы, наверно, уж думали, что мы с Пуком пропали в тумане? Нет, вот мы оба, а с нами наш товарищ, которого мы нашли по дороге. Ах, ведь вы еще не знакомы! Граф Виктор фон Экардштейн... барон Вильденроде, будущий шурин моего брата.

Барон сдержанно ответил на любезный поклон незнакомца, который смеясь сказал:

– Очень рад познакомиться с вами, барон, несмотря на то, что промок до костей. Обычно я бываю суше, уверяю вас, а сегодня не подготовился к тому, чтобы быть представленным. Я только хотел провести до парка фрейлейн Дербург, а там откланяться.

– Разве вы не зайдете поздороваться с папой и Эрихом? – спросила Майя.

– Нет, я не могу показаться в доме в таком виде. Я приеду на днях, если позволите?

– А вы боитесь, что я могу не позволить?

– Кто знает! Духи воды не ладят с духами земли, но я все-таки попробую. Пока же я попрошу вас принять от меня это в знак примирения. Вы знаете, как тяжело она мне досталась, – и он с легким поклоном протянул девушке цветущую ветку,

которую держал в руке.

Вильденроде слушал молча, но не сводил глаз с разговаривающих; их фамильярность, казалось, в высшей степени поражала его, а когда граф стал прощаться, он поклонился ему очень холодно, произнес несколько не менее холодных слов, быстро вошел с Майей в парк и сильно хлопнул калиткой.

– Вы, кажется, очень близко знакомы с этим господином, – заметил он, идя с ней к дому.

– О, еще бы! – непринужденно ответила его спутница, – граф Виктор был товарищем Эриха и не раз в детстве играл со мной. Я очень обрадовалась, увидев его опять после шести лет разлуки.

– В самом деле? – протяжно произнес барон, с каким-то странным выражением посмотрев на фигуру графа, исчезавшего за деревьями.

– Как бы мне незаметно прокрасться в свою комнату? – сказала Майя, не обратив на это внимания. – Папа рассердится, если увидит меня.

– Да, он будет бранить вас, – с ударением сказал Вильденроде. – Мне самому хотелось бы сделать то же. Когда начался дождь, я пошел в парк искать вас и вдруг узнаю от садовника, что час назад вы ушли в лес. Какая неосторожность! Неужели вам совершенно не приходило в голову, что ваши домашние могут встревожиться... что я буду беспокоиться о вас?

Этот вопрос вызвал на лице девушки яркий румянец.

– О, беспокоиться совершенно не стоит; здесь, в Оденсберге, меня знает каждый рабочий, каждый ребенок.

– Все равно, впредь вы не должны уходить так далеко без провожатого. Вы обещаете, Майя, не правда ли? А в залог того, что вы сдержите слово, я попрошу у вас это, – и барон вдруг, как будто шутя, выхватил из ее рук ветку цветущей яблони.

Майя взглянула на него не то испуганно, не то недовольно.

– Мою ветку? Нет! На каком основании я должна отдать ее вам?

– Потому что я прошу.

– Нет, господин фон Вильденроде, я не отдам этих цветов.

Молния гневного изумления сверкнула в глазах барона; он не ожидал, что это «дитя» способно на такое резкое сопротивление, когда дело касалось его желания. Это подзадо-рило его во что бы то ни стало настоять на своем.

– Вы так дорого их цените? – спросил барон с жесткой насмешкой. – Кажется, и граф чрезвычайно ценит их. Не имеет ли этот «знак примирения» какого-нибудь тайного значения для вас обоих?

– Это была шутка, ничего больше! Виктор – товарищ по детским играм.

– А я для вас чужой – вы это хотите сказать, Майя? Я понимаю! – В его словах слышалась горечь.

Ее карие глаза испуганно и с мольбой посмотрели на него.

– О нет, я не думала этого, право, нет!

– Нет? А между тем вы зовете его по имени, тогда как я остаюсь для вас господином фон Вильденроде. Как я просил вас хоть один единственный раз произнести мое имя! Я никогда не слышал его из ваших уст.

Майя ничего не ответила и стояла неподвижно, с пылающими щеками и потупленными глазами; она чувствовала на себе его горячий взгляд.

– Неужели вам так трудно звать меня по имени? Ведь я имею право требовать этого как будущий родственник. В самом деле так трудно? Ну хорошо, я не буду настаивать, чтобы вы называли меня так в присутствии других, но сейчас мы одни, и я хочу слышать свое имя... Майя!

Еще секунда колебания, а потом дрожащие губы девушки тихо произнесли:

– Оскар!

Мрачное лицо барона осветилось неизмеримым счастьем; он сделал порывистое движение, как будто хотел прижать к своей груди девушку, которая стояла перед ним, дрожащая и смущенная, но потом обуздал свое желание и только крепко сжал маленькую дрожащую ручку.

– Наконец-то! А вторую просьбу? Ветку, Майя, которую дал вам другой и которую именно поэтому я не желаю оставлять в ваших руках! Прошу вас!

Майя больше не сопротивлялась; безвольная от этого взгляда и голоса, она протянула ему ветку.

– Благодарю! – тихо прошептал Оскар.

Он произнес только одно это слово, но в нем слышалась с трудом сдерживаемая нежность.

В это время у открытого окна дома появилась Леони Фридберг; увидев свою воспитанницу, она в ужасе всплеснула руками.

– Майя, да неужели вы выходили в такую погоду? Ведь вы можете простудиться! Боже, в каком вы виде! Скорее снимите мокрый плащ!

– Да, это и я посоветовал бы сделать, – улыбаясь сказал Оскар. – Скорее, скорее домой!

Девушка с поклоном проскользнула мимо него. Вильденроде последовал за ней в дом, но в передней остановился; взглянув на яблоневую ветку, он нахмурился; у него мелькнуло подозрение, что он может встретить какую-нибудь помеху при выполнении своего плана, а между тем осознавал, что говорить об этом теперь опасно; он еще недостаточно милостиво принимался Дербургом, а тот едва ли не задумываясь отдаст свою любимицу человеку, который намного старше ее; да и в Майе он еще не был уверен. Одно недуманное слово могло все испортить. Надо же было именно теперь явиться этому графу Экардштейну и на правах друга детства вступить в дружеские отношения с Майей!

Несколько минут барон стоял, погруженный в раздумье, потом поднял голову, и его глаза опять блеснули гордым сознанием собственного достоинства. Он не боится борьбы за

обладание Майей! Какое малодушие сомневаться в исходе состязания с этим безусым франтом! Горе ему, если он осмелится стать на пути барона Вильденроде!

Майя стояла у окна своей комнаты, не сняв мокрого плаща, и мечтательно смотрела на затянутое тучами небо; тихая, счастливая улыбка бродила на ее губах. Встреча в лесном домике была забыта, образ товарища по детским играм расплылся, она видела только одно – глубокие темные глаза, взгляд которых опутывал ее какими-то волшебными нитями, слышала только сдержанный голос, дрожавший от подавленной страсти. На душе у нее было сладко и в то же время жутко; она сама не могла бы сказать, что означает это ощущение: горе или радость.

Наступила весна. Она победоносно проложила себе путь сквозь бури и холод, мороз и туман и пробудила землю новой радостной жизни.

По склону горы, покрытой зеленеющим лесом, быстро подымался одинокий путник. Было раннее утро; лес стоял еще погруженный в глубокую синеватую тень, а на мшистой почве блестели тяжелые капли росы. Этим путником был Эгберт Рунек; выполняя обещание, он шел на Альбенштейн, чтобы осмотреть крест на вершине скалы. Инженер вышел из леса на маленький горный лужок; прямо перед ним высилась эта могучая Скала. Совершенно обнаженная, она отвесно поднималась из темного соснового леса, обступившего подножье; вершина состояла из нагроможденных друг на друга зазубрин; в расселинах лепились карликовые сосны и хилый терн. Исполинский крест, укрепленный на вершине, отличал эту возвышенность от других.

Этот одиноко стоявший каменный утес был овеян множеством легенд; они населили леса таинственными гномами и эльфами, воспоминания о которых до сих пор жили в памяти суеверного народа. В недрах Альбенштейна таились несметные сокровища; они дремали в его каменной груди, ожидая минуты освобождения, и уже немало смельчаков заплатили жизнью за попытку добыть их оттуда; только всемогу-

щая разрыв-трава может открыть доступ в эти сокровенные глубины. Тот, кто найдет эту траву, должен трижды ударить ею по скале и тогда

«В глубокую, темную ночь
Берет он ларец золотой.
Алмазы, жемчуг, серебро –
Все взял удалец молодой!»

Странно, эти слова постоянно звучали в ушах Рунека, стоявшего на опушке горного леса. Это был последний куплет старинной народной песни; Эгберт знал ее в детстве, но давно уже забыл. Для него не существовало больше сказочных сокровищ, недра земли были пусты и мертвы, но слова песни все звучали в его душе, или, скорее, звучал голос, который последний раз произнес их при нем. Рунок всей душой ненавидел эту обольстительную прекрасную девушку, которая завлекла в свои сети его друга и собиралась стать хозяйкой Оденсберга, но не мог отделаться от звука ее голоса и демонического очарования ее глаз; никакой труд, никакое напряжение силы воли не могли помочь ему в этом.

Он перешел через луг и взглянул на Альбенштейн. Глубокие зимние снега и последние весенние бури, конечно, могли заставить крест пошатнуться, но, насколько было видно снизу, он все-таки стоял еще крепко и надежно. Вдруг Эгберт остановился; его глаза, как прикованные, не могли оторваться от вершины утеса; там, наверху, он увидел светлый

силуэт, отчетливо вырисовывавшийся на небе, и его зоркий взгляд узнал эту фигуру, несмотря на значительное расстояние.

Итак, это было не простое хвастовство, не мимолетный каприз – бесстрашная девушка привела в исполнение то, что задумала, и притом, наверно, одна. Эгберт сурово сдвинул брови, но об отступлении нечего было и думать, его, безусловно, тоже заметили. Он взялся за посох и начал медленно взбираться наверх.

Дорога отсюда на вершину утеса была доступна лишь человеку бесстрашному и не подверженному головокружению. Она представляла нечто вроде тропинки, проложенной охотниками, и извивалась по самому краю почти отвесного обрыва, так что перед глазами того, кто шел по ней, постоянно была пропасть; иногда и эта тропинка исчезала, и тогда приходилось самому выбирать себе путь по крутому склону, покрытому камнями и острым щебнем, пока опять на некоторое время не показывалась протоптанная тропинка.

Эгберту изменили спокойствие и хладнокровие, с которыми он всегда ходил по горам; он то и дело спотыкался и шел значительно медленнее обычного. На вершине, в ярком свете утреннего солнца, сияя красотой и жизненной энергией, перед ним стояла Цецилия Вильденроде.

– Господин Рунек! Вот так встреча на Альбенштейне! – воскликнула она. – Однако нельзя сказать, чтобы вы не потеряли времени на подъеме; я вскарабкалась быстрее.

– Я знаком с опасностями, – спокойно ответил Эгберт, – а потому не напрашиваюсь на них сам.

– Опасности? Я и не думала о них! Вы полагали, что я не решусь пройти по этой дороге, а если и решусь, то вернусь через пять минут; что вы скажете теперь? – и Цецилия вызывающе посмотрела на Рунека.

Теперь с его губ должно было, наконец, сорваться хоть одно слово восхищения! Но они произнесли только холодный вопрос:

– В Оденсберге знают о вашей прогулке?

– Это еще зачем? – со смехом воскликнула девушка. – Чтобы меня подвергли домашнему аресту или, по меньшей мере, стали следить за каждым моим шагом? На рассвете, когда все еще спали, я потихоньку вышла из дома, велела запрячь лошадей и поехала в Кронсвальд, а оттуда дорогу найти уже нетрудно. Видите, я нашла ее!

– Одна? – произнес Рунек. – Какая неосторожность! А если бы вы оступились и упали, а вблизи нет никого, чтобы помочь вам, и...

– Боже мой, не начинайте проповеди! – нетерпеливо перебила его Цецилия. – Я достаточно наслушаюсь выговоров, когда вернусь в Оденсберг.

– Я не имею ни намерения, ни права читать вам проповеди; это может позволить себе разве Эрих.

– Ему-то я меньше чем кому другому позволю читать мне нравоучения.

– Вашему будущему мужу?

– Именно потому, что он мой будущий муж; я твердо намерена удержать право распоряжаться собой.

– Это не составит вам особого труда, у Эриха уступчивый характер; он и не подумает защищаться.

– Защищаться? – повторила Цецилия. – Кажется, вы смотрите на наш будущий брак, как на нечто вроде военных действий! Лестно для меня!

– Извините, я хочу осмотреть крест, – перебил ее Эгберт, – собственно, я пришел для этого. Надо предупредить возможность несчастного случая.

Цецилия закусил губы. Этот ответ говорил о явном нежелании перейти на дружеский тон, который ей заблагорассудилось принять; она метнула гневный взгляд на человека, осмелившегося так поступить с ней, и молча стала наблюдать, как Рунек шел к кресту и осматривал его. Он отнесся к делу весьма добросовестно, так что прошло не менее десяти минут, прежде чем он окончил осмотр и вернулся на прежнее место.

– Крест держится очень крепко и ничуть не покосился, – спокойно сказал он. – Не будете ли вы так добры передать это в Оденсберге, потому что я сам буду там лишь послезавтра; я полагаю, что вы не станете делать тайну из своей прогулки?

– Напротив, я намерена вдоволь нахвастаться ею. Не смотрите на меня с таким удивлением! Видите, этот кружевной шарф вовсе не подходит к моему костюму туристки; я взяла

его, чтобы доказать им, что действительно была на Альбенштейне. Ведь я не могла предполагать, что встречу здесь вас и буду иметь право привести вас в качестве свидетеля.

Цецилия развязала белый кружевной шарф, покрывавший ее плечи и талию, и направилась к кресту.

– Что вы хотите делать? – спросил Эгберт.

– Ведь я сказала: хочу оставить здесь знак своего пребывания, для того чтобы в Оденсберге поверили, что я была на Альбенштейне. Мой шарф будет развеиваться там, на кресте.

– Но это – крайность, безумство! Вернитесь!

Однако Цецилия не послушалась. Стоя на самом краю пропасти, она обвязала крест шарфом. Страшно было смотреть на нее; ведь достаточно одного неосторожного движения – и она лежала бы разбитая в пропасти.

– Фрейлейн фон Вальденроде, вернитесь, прошу вас! – воскликнул Рунек.

Голос молодого человека был глух и беззвучен, в нем слышалось что-то вроде мучительной тоски. Цецилия обернулась и засмеялась:

– Неужели вы умеете просить? Я отойду... только посмотрю вниз; мне это нравится.

И в самом деле, охватив правой рукой крест, она сильно перегнулась над пропастью и бесстрашно заглянула в нее.

Эгберт невольно сделал несколько шагов к ней и протянул руку, как будто хотел силой увести ее с опасного места; он не сделал этого, но когда Цецилия наконец отошла от креста, в

его лице не было ни кровинки.

– Теперь вы верите моему бесстрашию? – кокетливо спросила она.

– Не было никакой надобности в такой дерзкой игре с опасностью лишь для того, чтобы убедить меня, – ответил он сурово и, когда смелая девушка благополучно вернулась, глубоко вздохнул. – Один неверный шаг – и вы погибли бы.

– У меня не кружится голова; мне хотелось испытать сладкое и жуткое чувство, сжимающее сердце, когда стоишь над пропастью. Так и тянет вниз, так и кажется, что ты должна броситься туда, навстречу смерти! Вы никогда этого не испытывали?

– Нет, – холодно сказал Эгберт. – Надо иметь много... свободного времени для того, чтобы испытывать подобные ощущения.

– Которые вы считаете недостойными серьезного человека?

– По крайней мере, нездоровыми. Кому нужна жизнь для труда, тот дорожит ею, а если рискует, то лишь тогда, когда этого требует долг.

Если бы этот резкий ответ был произнесен кем-то другим, Цецилия, не говоря ни слова, повернулась бы спиной к такому нахалу. Несколько минут она молча смотрела на лицо молодого человека, все еще покрытое бледностью, а потом улыбнулась.

– Благодарю за нравоучение! Мы ведь не понимаем друг

друга, господин Рунек.

– Я уже говорил, что мы принадлежим к двум различным мирам.

– Хотя и стоим так близко друг к другу здесь, на вершине Альбенштейна, – насмешливо договорила Цецилия. – Впрочем, я нахожу, что достаточно насладились этим оригинальным удовольствием; я буду возвращаться.

– Так позвольте мне проводить вас, спуск гораздо опаснее, чем подъем. Дружба с Эрихом обязывает меня не оставлять вас одну.

– Дружба с Эрихом? Ах, вот как! – губы баронессы надменно искривились, когда ей напомнили о женихе. Она бросила последний взгляд на крест, где утренний ветерок развевал длинные концы ее шарфа, и продолжала: – Старому, закаленному в непогодах кресту, конечно, никогда еще не случалось носить такое украшение! Я дарю этот шарф духам Альбенштейна; может быть, они из благодарности позволят мне хоть одним глазком взглянуть на их сокровища.

Она звонко засмеялась и направилась вниз; Рунек молча пошел впереди. Он был прав: спуск был очень опасен.

Время от времени в особенно опасных местах Эгберт несколькими словами напоминал своей прекрасной спутнице, чтобы она была осторожнее, и протягивал ей на помощь руку, но она ни разу не воспользовалась его услугами; она беззаботно шла по крутой тропинке, словно по самой удобной дороге; легкость походки давала ей возможность идти по

сыпкому щебню, где ноги Эгберта не находили опоры, а когда надо было перепрыгнуть, она опиралась на альпеншток⁶ и перелетала с камня на камень, как эльф.

Когда они прошли большую часть пути и уже увидели впереди зеленеющий луг, Цецилия с обычной небрежностью ступила на мягкий щебень; на этот раз он обрушился и посыпался в пропасть, Цецилия поскользнулась, потеряла равновесие и в ужасе громко вскрикнула, чувствуя, что летит вниз; в глазах у нег потемнело.

Но в ту же секунду ее подхватили две сильные руки. Эгберт молниеносно обернулся, изо всех сил уперся спиной в скалу, подхватил дрожащую девушку и крепко сжал ее в объятиях.

Цецилия потеряла сознание, но через несколько мгновений ее большие темные глаза испуганно открылись и взглянули на склоненное над ней лицо ее спасителя. Она увидела, что это лицо было смертельно бледным, заметила выражение страха в этих обычно холодных чертах, почувствовала дикое, бурное, биение сердца в груди, на которой лежала ее голова. Она подвергалась опасности, и смертельный ужас отразился на его лице.

Несколько минут они стояли неподвижно; наконец Рунок медленно опустил руки.

– Обопритесь на мое плечо, – тихо сказал он. – Покрепче!

⁶ Альпеншток – длинная палка с заостренным железным наконечником, употребляемая при восхождении на высокие горы.

Не смотрите ни направо, ни налево, а только на дорогу перед собой. Я поддержу вас.

Он поднял альпеншток и обхватил правой рукой талию Цецилии. Баронесса повиновалась, как автомат; опасность, которую она осознала только теперь, сломила ее упрямство, она дрожала всем телом, и у нее кружилась голова. Они медленно начали спускаться; Эгберт дышал учащенно и прерывисто, а на его лице пылал яркий румянец.

Наконец опасность миновала, они достигли луга. За все время спуска они не произнесли ни слова, и только теперь Цецилия подняла голову; она была еще бледна, но старалась улыбнуться, протягивая руку своему спасителю.

– Господин Рунек... благодарю вас!

Ее голос прозвучал как-то по-особому, в нем было что-то вроде сердечной теплоты, слышалась горячая благодарность, но Эгберт еле прикоснулся к ее протянутой руке.

– Не за что! Я оказал бы ту же услугу всякому, кто подвергался бы такой же опасности. Теперь успокойтесь, а потом я провожу вас до экипажа в Кронсвальд; до него еще довольно далеко.

Цецилия взглянула на него с удивлением, почти ошеломленная; неужели это был тот же человек, который только что в смертельном страхе наклонялся над ней, все существо которого дрожало от лихорадочного возбуждения, когда он скорее нес, чем вел ее с горы? Он стоял перед ней с неподвижным лицом и говорил по-прежнему холодно и равно-

душно, как будто воспоминание о последней четверти часа совершенно изгладилось в его памяти. Но так только казалось; темные глаза Цецилии проникли в эту тщательно охраняемую от чужого взора душу, она знала, что в ней крылось.

– Вы считаете меня трусихой, способной часами дрожать после того, как опасность миновала? – тихо спросила баронесса. – Я только устала после трудного пути, и у меня болят ноги. Я отдохну с четверть часа.

Она опустилась на землю под высокой сосной, обросшие мхом корни которой образовали нечто вроде кресла. Она изнемогала от усталости, но у ее спутника не нашлось ни слова сочувствия или сожаления; казалось, у него было только одно желание – поскорее освободиться от роли проводника.

Трава ярко сверкала на солнце, позади них высился Альбенштейн, впереди открывался великолепный вид на горы. В этом ландшафте было особенное обаяние, мечтательное и тоскливое, как своеобразная поэзия, которой дышали все местные легенды. Внизу лежали долины, погруженные в голубоватую дымку, тогда как окружающие возвышенности были залиты ярким солнцем; по этим долинам и возвышенностям разливалось безграничное море леса, из которого то там то сям выступали обнаженные вершины утесов да побелевшие от пены ленты горных потоков. Как из неведомой дали несся таинственный шум деревьев; он то рос с неудержимой силой, то замирал вместе с ветром. И другие звуки доносил ветер снизу; было воскресное утро, и церковные колоко-

ла во всех маленьких лесных селениях призывали к службе.

Цецилия сняла шляпу и прислонилась к стволу дерева. Эгберт стоял в нескольких шагах; его глаза были обращены на нее; напрасно он силился смотреть вдаль, его взгляд снова возвращался к этой стройной фигуре в простом платье из бумажной материи, к блестящим волосам, сегодня просто зачесанным назад и заколотым на затылке под шелковой сеткой. Сейчас это была совсем другая девушка, чем та, которую до сих пор знал Эгберт, гораздо привлекательнее и... гораздо опаснее.

Несколько минут длилось молчание; наконец Цецилия подняла глаза и тихо спросила:

– И вы даже не браните меня?

– Я? Как мне может такое прийти в голову?

– Вы имеете полное право сердиться; своим легкомыслием я подвергла опасности и вашу жизнь; я чуть не увлекла вас за собой в пропасть. Мне... мне стыдно!

Баронесса говорила просительным тоном, почти робко; странно было слышать такую речь из этих уст. Эгберт покраснел до корней волос, но его голос сохранил прежний ледяной тон.

– Вы не знали, насколько серьезна опасность; в другой, раз будете осторожнее.

– Так вы не хотите принимать мою просьбу о прощении точно так же, как отвергли благодарность? – с упреком спросила Цецилия. – Вы спасли мне жизнь, рискуя своей соб-

ственной... Впрочем, в настоящую минуту вы имеете такой вид, как будто горячо раскаиваетесь в том, что сделали.

– Я? – воскликнул Эгберт.

– Да, вы! У вас такое выражение лица, точно вы не на жизнь, а на смерть боретесь с заклятым врагом. Боже мой, с кем бы это? Ведь кроме меня здесь никого нет!

Опять зашумел лес и стих, а звон колоколов стал слышен явственнее. Воздух переполнился звуками; они точно плыли и качались в солнечных лучах и сливались в странную музыку, которая звучала сначала отдельными разорванными аккордами, а потом полилась плавной мелодией.

Эти два человека, встретившиеся на уединенном лугу, принадлежали к различным сословиям; во всех мыслях и чувствах их разделяла пропасть; и тем не менее эта избалованная светская девушка, жившая лишь в водовороте развлечений, в вечной погоне за удовольствиями, в каком-то мечтательном забытьи прислушивалась теперь к таинственному пению леса, а этот человек, которому непрерывный труд никогда не оставлял свободного времени для мечтаний и дум, тщетно боролся с очарованием этой мелодии. Он привык всегда трезво оценивать действительность, видеть вещи в их истинном свете, ясными, спокойными глазами смотреть на жизнь, полную борьбы и непримиримых противоречий; по складу своего ума и характера он должен был относиться к окружающему трезво и прозаично; что общего мог он иметь с этой путаницей неясных, волнующих ощущений? И

тем не менее они овладевали им, все крепче опутывали своими сетями, а среди мелодии природы раздавался ласкающий ухо человеческий голос: «С кем ты борешься? Ведь кроме меня здесь никого нет!»

Эгберт провел рукой по лбу, как будто желая заставить себя очнуться.

– Извините мне мое мрачное настроение, – сказал он. – Я думал о неприятностях, которые были у меня с рабочими в Радефельде. Человек, у которого, подобно мне, голова занята заботами, как видите, не годится для общения.

– Разве я требую, чтобы вы занимали меня разговорами? Эрих прав: вы так же непоколебимы, как эти скалы, неприступны, как сам Альбенштейн. Только подумаешь, что волшебное слово, которое дает возможность заглянуть в неизведанные глубины, наконец найдено, как в Ту же секунду вход снова закрывается и исследователь натывается на холодный камень.

Рунок не отвечал. Недаром он так боялся этой встречи; он знал, что в минуту опасности и страха изменил себе.

А его противница, понявшая теперь свою власть, была неутомима и хотела во что бы то ни стало насладиться своим торжеством. Немалых трудов стоило ей надеть на этого упрямого, непокорного человека ярмо, которое так охотно, с таким удовольствием носили все другие; теперь он был укрощен, и она хотела видеть его у своих ног.

– Эрих жалуется, что так редко видит вас, – продолжала

она. – Когда вы бываете в Оденсберге, то проводите время исключительно в кабинете отца Эриха и уклоняетесь от приглашения в семейный круг. Радефельдские работы дают вам удобный предлог для этого, но я прекрасно знаю, что заставляет вас держаться вдалеке: мое присутствие и присутствие моего брата. Я с первой минуты почувствовала глухую вражду, которую вы питаете к нам, и не раз уже задавала себе вопрос: почему? Я не могу найти ответ на этот вопрос.

– Так спросите господина фон Вильденроде, он ответит вам.

– Значит, в Берлине, когда вы встретились впервые, между вами что-то произошло? Но ведь с тех пор прошли годы, Оскар уже давно все забыл, как вы сами слышали, неужели вы откажетесь от примирения? И неужели я не могу узнать, что именно тогда случилось? Вы и мне не скажете этого?

Голос Цецилии стал еще мягче, еще пленительней, темные глаза с мольбой смотрели вверх на Эгберта, и тот ясно чувствовал, как петля все плотнее затягивается вокруг него, как его сила воли исчезает под влиянием ласкающего звука этого голоса, хотя в то же время ясно осознавал, что прекрасное существо, сидящее недалеко от него, только играет им, играет самым постыдным образом и не чувствует ничего, кроме торжества удовлетворенного тщеславия. Он с трудом собрал все свои силы, чтобы разорвать эти позорные цепи.

– Вы говорите по поручению господина фон Вильденроде? – спросил он с такой горечью, что девушка с недоумени-

ем посмотрела на него.

– Что вы хотите этим сказать?

– Хочу сказать, что барону, должно быть, очень важно знать, что именно мне известно, и сестра, вероятно, кажется ему подходящим орудием для этой цели.

Цецилия вскочила, растерянная, негодующая. Смысл этих слов был ей понятен, она убедилась, что тут кроется что-то совсем иное, а не победа, которой она ожидала; это не были рассуждения человека, с губ которого готово сорваться признание в любви; его глаза пылали ненавистью и презрением.

– Я не понимаю вас, – сказала она вспыхивая, – но чувствую, что вы оскорбляете меня и моего брата. Теперь я хочу знать, что произошло между вами, и вы скажете мне это.

– В самом деле? Это необходимо? Ваш брат, без сомнения, сообщит вам самые подробные сведения. Ну, так скажите ему, что я знаю о его прошлом гораздо больше, чем это может быть ему приятно!

Цецилия побледнела и воскликнула, дрожа от гнева:

– Что значат ваши слова? Берегитесь, чтобы Оскар не потребовал у вас объяснения!

Это предостережение не подействовало; Эгберт, измученный утомительной борьбой, которую скрывал в своей душе уже несколько недель, был доведен до крайности. Если бы он был прежним спокойным, холодным человеком, то не стал бы говорить, по крайней мере, в данный момент и на этом

месте и пощадил бы в Цецилии женщину; теперь же он пылал мстью к похитившей у него душу, колдовскими чарами приковавшей к себе все его мысли и чувства. Он думал, что ненавидит ее, хотел ненавидеть, потому что презирал ее. Если он нанесет ей оскорбление, если между ними образуется пропасть, такая глубокая, чтобы ни одно слово, ни один взгляд не могли перелететь через нее, это будет спасением для него, освободит его от власти Цецилии, и все будет кончено разом!

– Барон Вильденроде потребует объяснения? – с горькой насмешкой воскликнул он. – Как бы дело не приняло иного оборота! До сих пор я должен был молчать, потому что мое убеждение, как бы оно ни было твердо, еще ничего не значит; оно бессильно против страсти Эриха и чувства справедливости его отца. Они потребуют доказательств, а у меня их нет в настоящее время; но я сумею их найти и тогда не стану щадить!

– В своем ли вы уме? – прервала его Цецилия, но он продолжал с возрастающей горячностью:

– Может быть, Эрих изойдет кровью от раны, которую мне придется нанести ему, но ведь этот удар рано или поздно все равно поразит его; пусть же лучше это случится теперь, когда еще есть возможность возврата, когда он еще не связан с женщиной, которая будет без зазрения совести играть его любовью и счастьем. Ведь вы – сестра своего брата, баронесса Вильденроде, и, конечно, позаимствовали у него искус-

ство подтасовывать карты. И он, и вы уже считаете себя хозяевами в Оденсберге. Не торжествуйте так рано! Вы еще не носите фамилии Дернбург, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы уберечь имя Дернбургов от несчастья стать добычей двух... авантюристов!

Страшное слово было произнесено. Цецилия вздрогнула как от полученного удара. Бледная, не в силах произнести ни одного слова, она оцепенело смотрела на человека, вдруг превратившегося в ее ожесточенного врага. Она не видела дикого, доходящего почти до бешенства горя, бушевавшего в его душе и увлекавшего его за пределы благоразумия, не знала, что каждое из этих слов, которые он с уничтожающим презрением бросал ей в лицо, в десять раз больше уязвляло его самого, она чувствовала только страшное оскорбление, нанесенное ей.

– О, это слишком!.. это слишком! Вы нагромождаете клевету на клевету, оскорбление на оскорбление! Я не знаю, на что вы намекаете, но мне известно, что все это – гнусная ложь, за которую вы нам ответите! Я передам брату все, слово в слово! Он ответит вам!

Это был взрыв такого пылкого негодования, такой бурный протест против незаслуженной обиды, что сомневаться в искренности Цецилии не было никакой возможности; Эгберт почувствовал это, и в его грозных, мрачных глазах блеснул луч надежды. Он порывисто сделал несколько шагов к ней.

– Вы не понимаете меня? В самом деле не понимаете? Вы

не были поверенной брата?

– Нет! Нет! – с усилием произнесла Цецилия, дрожа от гнева.

Эгберт пристально смотрел ей в лицо; этот взгляд, казалось, старался проникнуть в самую глубину ее души, прочесть там правду; потом из его груди вырвался глубокий вздох, и он тихо сказал:

– Нет, вы ничего не знаете!

Наступила долгая, тягостная пауза. Благовест мало-помалу замолк, только колокол еще звонил где-то вдали; тем слышнее стала песнь ветра.

– В таком случае я должен просить у вас прощения, – сдавленным голосом заговорил Эгберт. – Своих обвинений против барона я не возьму назад. Повторите ему слово в слово то, что я сказал, смотрите ему при этом в глаза, может быть, тогда вы перестанете считать меня лжецом.

Несмотря на сдержанность его тона, его слова дышали такой непоколебимой уверенностью, что дрожь пробежала по телу Цецилии; впервые в ее душе зародился неясный страх. Этот Рунек имел такой вид, точно готов был отстаивать свои слова перед целым миром; если он не солгал, если... Она оттолкнула от себя эту мысль, но голова у нее закружилась.

– Оставьте меня! – с трудом произнесли ее дрожащие губы. – Уйдите!

Эгберт несколько секунд смотрел на ее лицо, а затем медленно наклонил голову.

– Вы не можете простить мне оскорбление. Я понимаю вас. Но, верьте мне, и для меня это был самый тяжелый час в моей жизни!

Он ушел. Когда Цецилия посмотрела ему вслед, он уже исчез за деревьями; она была одна. Высоко над ней на кресте Альбенштейна развеялся ее шарф, вокруг шумел лес, а вдали замирал последний удар колокола.

Эбергард Дернбург и Оскар фон Вильденроде ходили по террасе оденсбергского господского дома. Они рассуждали о политике; старик говорил очень оживленно и горячо, тогда как барон был молчалив и рассеян. Его взгляд то и дело останавливался на большой лужайке, где Майя и граф Виктор фон Экардштейн играли в крокет.

– Надо полагать, в этом полугодии в рейхстаге будут происходить бурные прения, – сказал Дернбург. – Рейхстаг будет созван сразу же после окончания выборов, и мне, вероятно, придется пожертвовать ему большую часть зимы.

– Разве вы так уверены, что вас опять выберут?

– Разумеется! Двадцать лет я был представителем своих избирателей, и оденсбергских голосов вполне достаточно, чтобы обеспечить мое избрание.

– Я именно потому и спросил. Вы в самом деле так уверены в этих голосах? За последние три года многое изменилось.

– У меня – нет, – спокойно возразил Дернбург. – Я и мои рабочие знаем друг друга несколько десятков лет. Правда, мне известно, что и здесь не обходится без нашептываний и подстрекательств, при всей своей власти я не могу оградить от них Оденсберг; может быть, некоторые из рабочих и прислушиваются к этой пропаганде, но основная масса твердо

стоит за меня.

– Будем надеяться, что это так. – В голосе барона слышался легкий оттенок сомнения; несмотря на непродолжительность пребывания в Оденсберге, он уже познакомился с положением дел. – Местные социал-демократы что-то необыкновенно деятельны, всюду агитируют, и уже во многих избирательных округах получились самые неприятные сюрпризы.

– Но здесь кандидат – я и, мне кажется, я достаточно силен, чтобы тягаться с этими господами, – сказал Дернбург со спокойной уверенностью человека, чувствующего себя в полной безопасности.

Вильденроде собирался возражать, как вдруг с лужайки донесся звонкий смех, и он тотчас посмотрел туда.

Он залюбовался ловкими движениями игравших там двух стройных молодых людей, щеки которых пылали от волнения и увлечения. Каждый старался превзойти другого в игре и торжествовал, когда противник делал неудачный ход; они, как дети, бегали и весело дразнили друг друга. Глаза Дернбурга последовали за взглядом его спутника, и его лицо осветилось улыбкой.

– Резвы, как дети! Моей крошке Майе в шестнадцать лет еще позволительно так резвиться, но лейтенант, кажется, подчас совершенно забывает, что он уже не мальчик.

– Я боюсь, что граф Экардштейн вообще никогда не научится серьезности взрослого человека, – холодно сказал

Вильденроде, – он очень мил, но чрезвычайно несерьезен.

– Вы несправедливы к нему; Виктор, к сожалению, легкомыслен и причинил немало хлопот родителям всякого рода сумасбродными и юношескими проказами, о которых вам могут рассказать и в Оденсберге, но сердце у него доброе. Он не гений, но откровенный и честный малый и достаточно одарен способностями для того, чтобы стать со временем хорошим офицером.

– Тем лучше, – заметил барон, – для графа и... для Майи.

– Для Майи? Что вы хотите сказать?

– Мои слова едва ли требуют объяснения, граф Экардштейн достаточно ясно выказывает свои желания и намерения, и я убежден, что он без всяких возражений согласился с планом брата.

– С каким планом?

– Судя по всему, молодой граф достаточно легкомыслен, вы сами признаете, что он всегда был таким; при этом он всецело зависит от брата, владельца майората. Что молодой, веселый офицер делает долги, это вполне естественно, но, говорят, он наделал их больше чем полагается, по крайней мере, по мнению графа Конрада. Говорят, между ними уже бывали стычки по этому поводу и, разумеется, нельзя осуждать владельца майората, если он решился прибегнуть к насильственной мере для того, чтобы оградить себя от легкомыслия брата.

– И какова эта мера?

– Богатая женитьба. Одним словом, молодой граф приехал по желанию брата для того, чтобы возобновить отношения с Оденсбергом; о их цели догадаться нетрудно. Вы удивляетесь, что у меня такие подробные сведения? Случайность! Недавно, когда мы были в Экардштейне, я слышал разговор двух мужчин, которые, разумеется, и не подозревали, что я был в соседней комнате, иначе они не стали бы так распространяться об этом. По-видимому, богатый союз графа с Майей они считали уже решенным делом.

Чем больше говорил собеседник, тем больше хмурился Дербург, но его голос не изменился, когда он ответил:

– В таком «решенном деле» последнее слово должно остаться, конечно, за мной, потому что Майя – почти дитя. Вообще, она слишком молода, чтобы уже сейчас говорить о ее замужестве... А, вот и ты, Эрих! Цецилии все еще нет?

Лицо Эриха было взволновано и озабочено.

– Нет, до сих пор нет! – поспешно ответил он. – Я спрашивал в конюшнях, никто не знает, куда она поехала. Она велела запрячь пони в маленький экипаж еще на рассвете, когда все в доме спали, и взяла с собой только Бертрама. Я ничего не понимаю!

– Должно быть, это один из капризов Цили, – заметил Оскар. – Никогда невозможно предвидеть, что придет ей в голову; тебе не мешает заранее привыкнуть к этому, дорогой Эрих.

– Мне кажется, Эрих сделает гораздо лучше, если отучит

свою будущую жену от таких непонятных выходов, – с некоторой резкостью сказал Дернбург, – такие выпады никак не могут способствовать семейному счастью.

Вильденроде быстро заметил примирительным тоном:

– Может быть, здесь кроется просто шутка. Держу пари, что Цили своей загадочной поездкой хочет сделать нам сюрприз.

Тем временем игра на лужайке продолжалась, и теперь, В. по-видимому, там разгорелся спор; обе стороны вели его с очевидным удовольствием и наконец завершили громким взрывом хохота и примирением. Дернбург опять взглянул в ту сторону и нетерпеливо крикнул:

– Майя, не пора ли кончать игру? Иди сюда!

Девушка послушно пришла, весьма разгоряченная игрой, Экардштейн последовал за ней.

– У меня есть просьба к вам от имени брата, господин Дернбург, – как всегда весело и чистосердечно сказал лейтенант, – в среду день рождения Конрада; гостей у нас будет очень мало, но Дернбурги, разумеется, должны быть в их числе. Надеюсь, мы можем рассчитывать на ваше присутствие?

Просьба была произнесена тоном, который не допускал возможности отказа; однако ответ Дернбурга на нее был очень холоден:

– Мне чрезвычайно жаль, граф, но в среду мы ждем гостей из города и сами должны исполнять обязанности хозяев.

– Гостей? Кого это, папа? – с любопытством спросила Майя. – Я ничего не слышала об этом.

– Зато теперь слышишь. Во всяком случае, мне очень жаль, что я не могу принять ваше приглашение, граф.

Отказ был выражен крайне решительно. Виктор промолчал, но непривычно холодный тон Дернбурга и его церемонное обращение «граф», которое прежде почти всегда заменялось просто именем, не остались незамеченными; взгляд молодого человека невольно устремился на Вильденроде, как будто он подозревал, что враждебное влияние исходит от него.

Но юность ненадолго поддается неприятному впечатлению; веселая болтовня Майи снова дала начало разговору, и только Эрих оставался рассеян и молчалив; тем не менее сестре и Виктору удалось увлечь его с собой в оранжерею посмотреть на только что расцветшие орхидеи.

Несколько минут на террасе царило молчание, потом барон сказал сдержанным голосом:

– Мне очень жаль, если мой рассказ несколько ухудшил ваше впечатление о молодом графе, но дела обстоят так, что я счел своим долгом говорить.

– Разумеется, я очень благодарен вам, – кивнул головой Дернбург. – Но я не имею привычки осуждать человека на основании одних сплетен, которые ходят в обществе, а потому разужнаю хорошенько, что здесь правда, а что нет.

– Разузнайте, – спокойно ответил Вильденроде. – Впро-

чем, что касается молодости Майи, то в нашем кругу девушки так часто выходят замуж в этом возрасте, если она действительно почувствует склонность к человеку...

– Который гоняется за богатой наследницей, чтобы поправить собственные дела, – перебил его Дернбург с горечью, доказывавшей, что сообщение барона сделало свое дело. – Я спасу свое дитя от такой участи.

– Это будет нелегко. Надо, чтобы претендент был свободным и независимым человеком и достаточно богатым, чтобы на него не могло пасть подозрение в преследовании корыстных целей; все другие непременно будут рассчитывать на ваши миллионы.

– Не все! – с ударением возразил Дернбург. – Я знаю одного такого человека; он беден и имеет только голову на плечах, правда, эта голова кое-чего стоит и обеспечит ему будущее; ему была открыта дорога к независимости и богатству, стоило только протянуть руку, но от него потребовали, чтобы он пожертвовал своими убеждениями, и он не согласился.

– О ком вы говорите? – спросил барон.

– Об Эгберте Рунеке... Вас это удивляет? Я давно убедился, что Эрих не будет в состоянии самостоятельно справиться с Оденсбергом, тут нужен человек моей закалки, а Эгберт именно таков – недаром он прошел мою школу. Но он так запутался в Берлине в сетях социал-демократов, что я почти не надеюсь освободить его.

– Неужели вы действительно хотели... несмотря на то, что

все знали?..

– Да, несмотря на то, что все знал; я убежден, что он зреет; только бы это не случилось слишком поздно для вас обоих.

Вильденроде после небольшой паузы медленно произнес:

– Впервые я не понимаю вас.

– Очень может быть, но не можете же вы считать меня способным собственной рукой бросить факел в свой Оденсберг. Если Эгберт не изменит своих убеждений, между нами все будет кончено, но... этого не будет, ему нужна свобода, он хочет выдвинуться, чего бы это ему ни стоило, хочет борьбы, но в то же время ему необходимо работать, созидать что-либо новое и быть хозяином того, что он создал; подобные натуры недолго выносят иго партии, которая всегда требует слепого послушания и не дает проявляться индивидуальным стремлениям отдельных личностей. Я боюсь только, что он опомнится, когда уже упустит свое счастье.

Грозные тучи собрались на лбу барона, и он сказал, с трудом владея голосом:

– По-моему, вы чересчур высокого мнения о своем любимце. Но как бы то ни было, вы намекнули...

– На что намекнул, господин фон Вильденроде?

– Я лучше сделаю, если не скажу, потому что... ведь это – абсурд.

– Почему? – рассерженно спросил Дернбург. – Не потому ли, что Эгберт – сын заводского рабочего? Его родители

умерли, а если бы и были живы, то я выше подобных пред-
рассудков.

Вильденроде молчал и смотрел не на говорившего, а перед собой, на заводы; на его лице застыло неприятное выражение.

– Я вижу, у вас иное мнение по данному вопросу, – снова заговорил Дернбург. – В вас возмущен родовой аристократ, которому мое мнение кажется чем-то чудовищным. Я иначе смотрю на это. Эриху я предоставил самостоятельность выбора, но за счастье дочери отвечаю я. Моя крошка Майя родилась поздно, но стала солнечным светом моей жизни; как часто в тяжелые минуты я черпал мужество в ее чистых глазах, в ее звонком детском смехе! Я не хочу, чтобы она стала жертвой корыстных расчетов; я желаю, чтобы она была любима и счастлива. Я знаю только одного человека, в руки которого без страха отдал бы ее судьбу, потому что убежден в его любви к ней. Он не способен на расчет, он доказал мне это.

В этот момент вышедший из дома лакей доложил, что с патроном желает поговорить директор и ждет его в кабинете.

– В воскресенье? Должно быть, что-нибудь важное, – сказал Дернбург, поворачиваясь к двери. – Еще одно слово, господин фон Вильденроде. То, о чем мы сейчас рассуждали, должно остаться между нами; прошу вас смотреть на это как на доверенную вам тайну.

Он вошел в дом, и Оскар остался один; скрестив руки на

груди, он прислонился к балюстраде террасы и погрузился в мрачное раздумье. Об этой опасности он не подозревал, никогда на нее не рассчитывал; перед ней бледнела и превращалась в ничто опасность, которую представляло появление графа Экардштейна, за минуту перед тем казавшееся ему таким грозным.

Очевидно, Дербург предполагал существование любви между своей дочерью и этим Рунеком. На губах Вильденроде появилась насмешливая улыбка превосходства; он лучше знал, кого любила Майя, и чувствовал себя достойным своего соперника. Достаточно колебаться, нечего больше раздумывать, пора действовать!

В конце обширного оденсбергского парка лежало Розовое озеро, маленький прудик, обрамленный тростником и острый громадный бук протянул над ним свои ветви, а густо разросшийся кустарник, весь в цвету, обступил его со всех сторон.

На скамье под буком сидела Майя; в ее руках были цветы, которые она нарвала по дороге, а теперь хотела сложить в букет. Но до этого дело не дошло, так как рядом с ней сидел Оскар фон Вильденроде, «случайно» пришедший на это же место и сумевший так занять ее разговором, что она забыла и о цветах, и обо всем на свете. Он рассказывал о своих путешествиях. В Европе почти не было страны, которой бы он не знал, а он был мастером рассказывать. Майя напряженно, затаив дыхание, слушала его; девушке, кругозор которой до сих пор ограничивался семьей, все это казалось странным, необычным, похожим на сказку.

– Чего только вы не видели и не испытали! – восторженно воскликнула она. – Ведь это совсем другой мир.

– Другой, но не лучший, – серьезно сказал Вильденроде. – Правда, есть привлекательная, опьяняющая сторона этой жизни; это полная свобода с постоянной переменой и обилием впечатлений, и меня когда-то она прельщала, но это уже давно прошло. Наступает день, когда с человека спадает

пелена упоения и он чувствует, до какой степени все это глупо, пусто и ничтожно, когда он со своей желанной свободой оказывается совершенно одиноким среди людской суеты!

– Но ведь у вас есть сестра! – с упреком заметила девушка.

– Через несколько месяцев и она покинет меня, чтобы принадлежать мужу, и мне страшно подумать о том, каким одиноким я вернусь к прежнему бесцельному существованию. Вы не можете себе представить, как я» завидую вашему отцу! Он так уверенно стоит на земле благодаря труду, тысячам людей он дает заработать на хлеб, всеобщая любовь и уважение окружают его и последуют за ним в могилу; когда же я подвожу итог своей жизни, то что я вижу?

Майя, пораженная этими горькими словами, взглянула на него. Впервые Вильденроде заговорил с ней таким тоном; она знала его лишь остроумным светским кавалером, который по отношению к ней всегда оставался пожилым человеком, шутливо разговаривающим с молоденькой девушкой. Сегодня он говорил иначе – позволил ей заглянуть в его душу, и это победило ее робость.

– Я думала, что вы счастливы в этой жизни, которая кажется такой беззаботной и привлекательной, когда вы рассказываете о ней, – тихо сказала она.

– Счастлив? Нет, Майя, я никогда не был счастлив, ни одного дня, ни одного часа.

– Но в таком случае... зачем же вы продолжали так жить?

– Зачем? Зачем вообще люди живут? Чтобы добиться сча-

стья, о котором нам поют еще в колыбели и которое в молодости чудится нам скрытым там, в огромном мире, в голубой дали. Не зная покоя, мы лихорадочно гоняемся за ним, все надеемся, что еще настигнем его, а оно отступает все дальше и дальше, наконец, бледнеет и рассеивается, как дым; тогда мы отказываемся от погони, а вместе с тем и от надежды.

В этих словах чувствовалась с трудом сдерживаемая мука, ведь Вильденроде лучше чем кому другому была знакома эта погоня за счастьем, которое он искал столько лет напролет; какими путями он стремился к нему – знал только он сам.

В этой прекрасной обстановке, среди весенней природы, где все дышало красотой и миром, его печальное признание прозвучало как-то странно. Вильденроде глубоко перевел дыхание, как будто хотел вместе со вздохом вдохнуть в себя мир и чистоту; потом он взглянул на розовое детское личико Майи, не задетое даже легким дыханием той жизни, которую он узнал до мельчайших подробностей; в темных глазах, смотревших на него, сверкали слезы, и тихий, дрожащий голос произнес:

– Все, что вы говорите, так грустно, дышит таким отчаянием! Неужели вы в самом деле больше не верите в возможность счастья?

– О, нет, теперь я верю! – горячо воскликнул Оскар. – Здесь, в Оденсберге, я опять научился надеяться. Это повторение старой сказки о драгоценном камне, который ищут тысячи людей по разным дорогам, в то время как он спрятан

где-то в молчаливом дремучем лесу; наконец, один счастливец находит его; может быть, и я такой же счастливец! – и барон, схватив руку девушки, крепко сжал ее.

Майя вдруг поняла то, что до сих пор бессознательно таилось в ее сердце; сладкое чувство счастья поднялось в ее душе, но в то же время проснулся и тот странный страх, который она ощутила при первой же встрече, страх перед темным, пылким взглядом, лишившим ее воли, заставлявшим цепенеть. Ее рука дрогнула в руке барона.

– Господин фон Вильденроде... отпустите меня!

– Нет, я не отпущу тебя! – страстно вырвалось из его уст. – Я нашел драгоценный камень и хочу взять его себе на всю жизнь! Майя, нас разделяют десятки лет, но я люблю тебя страстно, как юноша, с той минуты, когда ты встретила меня на пороге дома своего отца; я знаю, что в тебе моя судьба, мое счастье! И ты любишь меня, я знаю; дай же мне услышать это из твоих уст! Говори, Майя, скажи, что хочешь быть моей! Ты даже не подозреваешь, что одно это слово спасет меня!

Барон обвил девушку рукой, его страстные, бурные речи, жгучие, как пламя, сыпались на дрожащую Майю. Ее голова покоилась на его груди, взгляд не отрывался от него. Теперь ее уже не пугали его глаза; она видела в них лишь горячую нежность, слушала его признание в любви, и прежний страх, полный тяжелого предчувствия, уступил место торжествующему чувству счастья.

– Да, я люблю тебя, Оскар, – тихо сказала она, – люблю безгранично!

– Моя Майя!

Это было восклицание восторга. Оскар обнял девушку и без конца целовал светлые волосы и розовые губки своей молоденькой невесты. Его охватило счастье; прошлое с его мрачными тенями исчезло, и в душе этого человека, уже близкого к осенней поре жизни, расцвела весна, которой вторила цветущая вокруг природа!

– Весна вернулась!

Майя тихо высвободилась из его рук; ее милое личико пылало.

– Но отец, Оскар... согласится ли он?

Вильденроде улыбнулся. Он знал, что разница в возрасте между ним и его невестой будет очень много значить в глазах Дербурга, что получить его согласие будет нелегко и что они получают его не скоро, но это не пугало его.

– Твоему отцу нужно только, чтобы ты была счастлива и любима; я знаю это от него самого, – сказал он с захватывающей душу нежностью. – И ты будешь любима, будешь счастлива, моя Майя, мое милое, дорогое дитя!

Дернбург сидел в кабинете за письменным столом. Со-
вещание с директором было окончено, и он просматривал
бумаги, которые тот оставил. Вдруг дверь снова открылась,
граф Экардштейн, не нуждавшийся в особом докладе как
постоянный гость, вошел в комнату.

– Я видел, что директор ушел, – сказал он. – Могу я отнять
у вас несколько минут? Я пришел проститься.

– Вы не останетесь обедать, как всегда?

– Благодарю вас, я должен вернуться в Экардштейн.
Неужели мне действительно придется передать брату отказ?
Мы так рассчитывали на ваше присутствие.

– Мне очень жаль, граф, но ведь вы слышали, что у нас
самих будут гости в этот день.

Отказ был самый решительный и холодный; молодой
граф не мог не почувствовать этого; он быстро подошел на
несколько шагов ближе и сказал вполголоса:

– Господин Дернбург, что вы имеете против меня?

– Я? Ничего! Как вам пришла в голову такая мысль, граф?

– Уже одно ваше обращение может навести на такую
мысль. Еще сегодня утром вы называли меня Виктором и от-
носились ко мне с обычной добротой; неужели за несколько
часов я стал вам чужим? Я боюсь, что тут замешано чье-ни-
будь влияние, и даже догадываюсь чье.

Дернбург сдвинул брови, намек на Вильденроде был чересчур ясен и задел его. Но он привык всегда идти к цели прямой дорогой. Зачем узнавать от посторонних то, что ему надо знать? Он взглянул на красивое лицо молодого человека и медленно произнес:

– Я не поддаюсь ничьему влиянию и не в моих правилах осуждать кого бы то ни было, не выслушав его оправданий, а тем более вас, Виктор, человека, которого я знаю с детских лет. Раз вы сами поднимаете этот вопрос – поговорим. Вы согласны ответить мне на несколько вопросов?

– Пожалуйста!

– Вы долго жили вдали от родины и много лет не переступали порога Экардштейна. По какой причине?

– Это зависело от личных, семейных обстоятельств.

– О которых, я вижу, вы желали бы умолчать.

– Нет, от вас я не стану их скрывать! Мои отношения с братом никогда не были особенно дружелюбными, а после смерти отца стали просто невыносимыми. Конрад – старший и владелец майората; я завишу от него и не могу продолжать военную службу без его помощи; он достаточно часто давал мне чувствовать это, да еще таким оскорбительным образом, что я предпочитал находиться подальше от него.

Было видно, что графу тяжело давать это объяснение, хотя своему слушателю он не сказал ничего нового; все соседи знали о натянутых отношениях между братьями, причем главная вина падала, по их мнению, на старшего. Владелец

майората, который был старше Виктора всего на несколько лет и до сих пор оставался неженатым, слыл высокомерным и неделикатным человеком, а его скупость была всеми признанным фактом; вследствие этого он не пользовался ничьим расположением. Дербург знал это, как и все, но ни словом не заикнулся об этом и только заметил:

– И тем не менее теперь вы приехали.

– Вследствие настойчивого желанья брата.

– У которого составлен для вас совершенно ясный, определенный план!

Виктор остолбенел от изумления, и румянец медленно залил его лицо.

Дербург, зорко и пытливо глядя на него, продолжал:

– Без сомнения, вы догадываетесь, что я хочу сказать. Я буду совершенно откровенен с вами и ожидаю столь же откровенных ответов и от вас. Итак, граф Конрад вызвал вас в Экардштейн с целью извлечь пользу из ваших прежних отношений с Оденсбергом? Так ли это?

Глаза молодого человека опустились, и на его лице отразилось мучительное смущение.

– Вы так ставите вопрос, что...

– Что уклончивый ответ невозможен... Да или нет?

– Вы как будто считаете мое сватовство оскорблением для себя, – сказал Виктор, не поднимая глаз. – Боже мой, неужели такое ужасное преступление приближаться с подобными намерениями к бывшей подруге детства? Ну да, я приехал

сюда, чтобы добиться счастья, которое манило меня еще в юношеских мечтах; что же тут плохого? В мои годы вы сами сделали бы то же.

– Но не по приказу другого! – резко ответил Дербург. – Кроме того, когда я сватался, то мог предложить своей невесте, во всяком случае, не то, что вы!

Граф вспыхнул и с трудом сдержался; его голос задрожал.

– Вы заставляете больно чувствовать мою бедность.

– Нисколько, потому что бедность в моих глазах – не порок. Вы разделяете участь младших сыновей в семействах, где все состояние заключается в майорате; но говорят, что у вашего брата есть иные, более серьезные причины советовать вам сделать так называемую хорошую партию.

– Так и об этом вам донесли, а вы истолковываете это в таком позорном смысле! – горько сказал Виктор. – Если я и легкомыслен, то мой брат безжалостно заставил искупать мою вину, а в настоящую минуту я искупаю ее в десять раз. Ну да, у меня есть долги, да и не могло не быть при тех ограниченных средствах, которые были в моем распоряжении. Конраду ничего не стоило освободить меня от моих обязательств, но он не сделал этого, и мне грозила даже необходимость выйти в отставку; тогда...

– Тогда вы согласитесь на его предложение! – голос Дербурга прозвучал сурово и презрительно. – Я вполне понимаю вас, но вы тоже поймете, что я не отдам своей дочери для такой финансовой операции.

Лицо молодого человека то бледнело, то краснело, но, услышав последнюю фразу, он с полу подавленным криком рванулся вперед и угрожающе поднял сжатую в кулак руку на старика, смотревшего ему прямо в лицо.

– Что должен означать этот жест, граф Экардштейн? Не хотите ли вы вызвать меня на дуэль за то, что я осмелился сказать вам правду? В мои годы и в моем положении человек уже не делает подобных глупостей.

– Господин Дербург, вы много лет были мне другом и выказывали отеческое расположение, Оденсберг был для меня вторым домом, и вы отец Майи, которую я...

– Которую вы любите, – с горькой насмешкой закончил Дербург. – Вы это хотите сказать?

– Да, которую я люблю! – воскликнул Виктор, поднимая голову, и его глаза ясно и открыто встретили взгляд рассерженного старика. – Я понял это в ту минуту, когда вместо ребенка, жившего в моей памяти, впервые увидел расцветшую девушку. После ваших слов мне остается только покинуть ваш дом и никогда больше не переступить его порога, но в минуту разлуки я требую, чтобы вы, по крайней мере, поверили в искренность моего чувства к Майе, если уж она потеряна для меня навсегда.

Истинное горе, неподдельное страдание звучало в голосе графа и, конечно, это убедило бы всякого другого, но Дербург сам никогда не был легкомыслен и не умел снисходительно относиться к ошибкам юности; может быть, он и был

убежден в искренности графа, но не мог простить ему, что, ища руки его любимицы, он думал в то же время о ее деньгах.

– Я не судья вашим чувствам, граф, – сказал он ледяным голосом, – но понимаю, что после этого разговора вы станете избегать Оденсберг. Мне жаль, что мы расстаемся таким образом, однако при настоящих обстоятельствах это не может быть иначе.

Виктор не ответил ни слова, молча поклонился и вышел.

Внизу большой лестницы, ведущей на верхний этаж, стояли Вильденроде и Эрих. Первый только что пришел из парка и встретился здесь с бароном, который тотчас излил ему свое горе.

– Я боюсь, что Цецилия серьезно нездорова, – взволнованно проговорил он. – Она жалуется на сильную головную боль и страшно бледна, но строго-настрого запретила мне посылать за Гагенбахом. Она уверяет, что несколько часов покоя скорее всего восстановят ее силы. Я видел ее каких-нибудь две-три минуты, как только она приехала, и не смог узнать, где она была; она упрямо не отвечает на расспросы.

– А ты уже совсем растерялся? Я говорил тебе, чтобы ты привыкал к своенравию нашей маленькой избалованной принцессы. Когда Цецилия не в духе, она ложится на диван и дуется на весь мир, но, к счастью, каприз продолжается недолго, я знаю ее. Правда, твой отец того мнения, что ты должен отучить Цили от капризов, но ты не таковский, чтобы мог сделать это, а потому тебе остается одно: запастись христианским терпением и заранее готовиться к роли примерного супруга, которым ты, без сомнения, будешь.

Эрих смотрел на него с удивлением.

– Что с тобой, Оскар? Ты просто сияешь! Тебя перепол-

няет какая-то радость?

– Кто знает, может быть!.. – сказал Оскар, и его темные глаза блеснули. – А потому я возьмусь тебе помочь, у тебя слишком отчаянный вид. Я все-таки имею большее влияние на свою сестрицу, чем ты, и постараюсь внушить ей, что с ее стороны непрослительно сразу же заставлять тебя вкушать «прелести» супружеской жизни. Вот посмотришь, за стол она явится веселой и всем довольной, а тогда, надо надеяться, и у тебя будет другая физиономия, бедный, удрученный горем жених, принимающий так серьезно девичьи капризы!

Барон весело засмеялся и, кивнув через плечо Эриху, пошел вверх по лестнице. Эрих, качая головой, смотрел ему вслед; он никогда еще не видел своего шурина таким веселым, сегодня его просто невозможно было узнать. Что это с ним случилось?

Наверху, в гостиной, барон встретил горничную сестры; она объявила, что барышня строго приказала не мешать ей и отказывать всем без исключения.

– Ко мне такие приказания не относятся, вы знаете это, Наннон, – обрезал ее Вильденроде. – Я хочу говорить с сестрой; отойдите дверь!

Наннон повиновалась; она знала, что с бароном нельзя спорить. Он вошел в комнату сестры.

Цецилия лежала на кушетке, уткнув лицо в подушки; она не шевельнулась. Брата это ничуть не удивило; он спокойно

подошел к ней.

– Ты опять не в духе, Цили? – шутливо спросил он. – Правда, ты непростительно обращаешься с Эрихом; он только что излил мне свою душу.

Цецилия молчала и не двигалась. Вильденроде потерял терпение.

– Не будешь ли ты любезна хоть взглянуть на меня? Вообще, я попросил бы тебя...

Он замолчал, потому что сестра вдруг поднялась, и он увидел такое бледное, искаженное лицо, что почти испугался.

– Мне надо поговорить с тобой, Оскар, – тихо сказала она, – поговорить наедине. Наннон в гостиной; отправь ее куда-нибудь, чтобы нам никто не мешал.

Оскар нахмурился. Ему все еще не верилось, что здесь кроется что-то серьезное, но, будучи в таком прекрасном настроении, он был склонен уступить даже капризу; поэтому он пошел в гостиную, отослал горничную, дав ей какое-то поручение, и вернулся назад.

– Узнаю ли я наконец, что все это значит? – нетерпеливо спросил он. – Где ты была, Цили, и что значит эта поездка в горы на рассвете? Дернбург уже сделал весьма нелюбезное замечание по этому поводу. Ты могла бы, кажется, сообразить, что Оденсберг – не место для таких чудачеств.

Цецилия встала и, не отвечая на упрек, мрачно сказала:

– Я была на Альбенштейне.

– На Альбенштейне? Какое сумасбродство! Какая невероятная глупость!

– Перестань, дело вовсе не в этом, – горячо перебила барона девушка. – Я встретила там с... с другом Эриха, и он сказал мне... Оскар, что произошло между тобой и этим Рунеком при первой встрече?

– Ничего! – холодно отрезал барон. – Может быть, я и видел его тогда – это возможно, такую личность нетрудно не заметить, но, во всяком случае, я не говорил с ним и даже не знал, что он был свидетелем одного неприятного происшествия, которое случилось в тот вечер.

– Какого происшествия?

– Оно не годится для твоих ушей, дитя мое, а потому мне было бы неприятно, если бы Рунок рассказал тебе о нем. Что именно он сказал тебе?

– По-видимому, он заранее предположил, что я знаю, в чем дело, и позволил себе делать какие-то намеки, которых я не поняла, но за которыми должно крыться что-то ужасное.

– Как он смеет! – воскликнул Оскар.

– Да, он смеет подозревать тебя, а со мной обращается, как с твоей сообщницей. Он говорит, что знает о твоей жизни больше, чем тебе может быть приятно, он назвал нас авантюристами! Но ведь ты потребуешь у него объяснения, ответишь ему так, как он этого заслуживает, отомстишь за себя и меня?

Вильденроде был бледен и стоял с омрачившимся лицом и

сжатыми кулаками, но молчал; бурного взрыва гнева и негодования, которого ожидала Цецилия, не последовало.

– В самом деле он сказал это? – медленно спросил он наконец.

– Слово в слово! И ты... ты ничего не отвечаешь?

– Что же мне отвечать? Уж не требуешь ли ты, чтобы я принимал серьезно такую бессмысленную чушь?

– Он относился к этому серьезно, и, если, как он говорит, в настоящее время у него нет доказательств, то...

– В самом деле? – Оскар расхохотался насмешливо, торжествуя, и глубокий вздох облегчения вырвался из его груди. – Ну, так пусть поищет этих доказательств! Ничего не найдет!

Цецилия схватилась за кресло, возле которого стояла; от нее не ускользнул этот вздох, и ее глаза с ужасом устремились на брата.

– У тебя нет другого ответа, когда задевают твою честь? Ты не потребуешь от Рунека объяснений?

– Это мое дело! Предоставь мне разделаться с этим человеком. Тебе-то что до этого?

– Какое мне дело, когда оскорбляют тебя и меня? – вне себя от гнева крикнула Цецилия. – Назвать нас авантюристами, жертвой которых стал Оденсберг! И он смеет делать это безнаказанно! Оскар, посмотри мне в глаза! Ты боишься наказать этого Рунека, ты боишься его! О, Боже мой, Боже мой! – и она истерически разрыдалась.

Оскар быстро подошел к ней, и его голос понизился до гневного шепота:

– Цецилия, будь благоразумна! Ты ведешь себя, как сумасшедшая. Что с тобой? Ты стала совсем другой с сегодняшнего утра.

– Да, с сегодняшнего утра! – страстно повторила она. – Сегодня я проснулась. О, какое это было горькое пробуждение! Не уклоняйся от объяснений! Ты сказал мне, что наше состояние погубило, а я была до такой степени глупа, что даже не спросила, за какой счет мы, несмотря на это, жили на широкую ногу. Когда оно погубило? Каким образом? Я хочу знать!

Вильденроде мрачно смотрел на сестру; повелительный тон в ее устах был для него так же нов, как и все ее поведение.

– Ты хочешь знать, когда погубило наше состояние? – угрюмо спросил он. – Тогда же, когда произошел крах в нашей семье и отец наложил на себя руки.

– Наш отец? Он умер не от удара?

– Так сказано было свету, соседям и тебе, восьмилетнему ребенку, я же знаю, в чем дело. Наши имения были заложены, разорение было только вопросом времени, а когда оно действительно пришло, двенадцать лет тому назад, отец схватил пистолет и... оставил нас нищими.

Как ни бессердечны были эти слова, в них слышалась глухая боль.

Цецилия не вскрикнула, не заплакала, ее слезы вдруг буд-

то иссякли; она тихо, почти беззвучно спросила:

– А потом?

– Потом честь нашего имени была спасена личным вмешательством короля; он купил наши имения и удовлетворил кредиторов. Твоей матери была назначена пенсия; она стала получать милостыню там, где была прежде госпожой, а я... я уехал искать счастья по свету.

Наступила минутная пауза. Цецилия опустилась в кресло и закрыла лицо руками.

– Для тебя это тяжелый удар, я верю, – продолжал барон, – но для меня это было еще более тяжелым ударом. Я не имел ни малейшего подозрения о том, что наши дела в таком состоянии, и вдруг разом лишиться богатства, блестящего положения в свете, прекрасной карьеры и заглянуть прямо в глаза бедности и нищете! Ты не знаешь, что это значит. Мне предлагали различные места в почтовом и морском ведомствах в какой-то отдаленной провинции; мне, человеку с пылким честолюбием, мечтавшему о самых высоких целях, предлагали нищенское жалованье и службу, на которой гибнут и нравственно, и физически в борьбе за жалкий кусок хлеба! Я не способен на такую жизнь. Я бросил все и уехал из Германии для того, чтобы продажа имений и моя отставка хоть казались добровольными.

– И тем не менее ты удержал за собой место в обществе, мы считались богатыми все три года, которые я прожила с тобой, мы были окружены блеском и роскошью!

Вильденроде не ответил на робкий, но полный упрека вопрос, выразившийся в голосе Цецилии, и постарался не встречаться глазами с сестрой.

– Оставь это, Цецилия! Мне пришлось отчаянно бороться чтобы удержать за собой это место в обществе, которое я ни за что не хотел терять, и тут случилось немало такого, чему лучше было бы не случаться. Но ведь у меня не было выбора; в борьбе за существование человек должен или погибнуть, или победить. Что бы там ни было, – он глубоко вздохнул, – теперь все это позади; ты невеста Эриха, а я... я хочу сообщить тебе одно радостное известие.

Но барону не удалось закончить разговор, потому что слышался легкий стук в дверь гостиной и вслед за тем голос Эриха:

– Можно мне наконец войти?

– Эрих! – вздрогнув прошептала Цецилия. – Я не могу видеть его, теперь не могу!

– Ты должна поговорить с ним, – повелительно прошептал Оскар. – Или ты хочешь, чтобы твое поведение еще больше его удивило?

– Не могу! Скажи ему, что я больна, что я сплю или что-нибудь другое, что хочешь!

Она вскочила с места, но брат силой заставил ее опять сесть и весело крикнул:

– Входи, Эрих! Я уже целых полчаса наслаждаюсь аудиенцией у ее высочества.

– Я слышал это от Наннон, – с упреком сказал Эрих, проходя через гостиную и направляясь в комнату невесты. – Цицилия, неужели твоя дверь должна оставаться запертой для меня, когда она открыта для Оскара? Боже мой, как ты бледна и расстроена! Что случилось во время этой злосчастной поездки? Прошу тебя, скажи!

Он схватил ее руку и со страхом заглянул ей в лицо. Маленькая рука Цецилии дрожала в его руке, но ответа не было.

– Лучше выбрани ее, хотя я уже сделал это, кажется, в надлежащей мере, – сказал Вильденроде. – Знаешь, где она была сегодня утром? На Альбенштейне!

– Господи Боже! – с ужасом воскликнул Эрих. – Правда ли это, Цецилия?

– Совершеннейшая правда! Разумеется, на обратном пути у нее закружилась голова, она еле живая спустилась вниз и теперь больна от чрезмерного утомления и перенесенного страха. Ей стыдно было признаться в этом тебе и доктору, но ведь все равно ты должен это знать.

– Цецилия, как ты могла так поступить со мной! – с горестным упреком сказал молодой человек. – Неужели ты ни капельки не думала о том, что я буду беспокоиться, приду в отчаяние, если с тобой что-нибудь случится? Если бы я только подозревал, что ты не шутила, когда говорила мне и Эгберту... Что с тобой?

Услышав это имя, Цецилия вздрогнула, и по ее щекам покатались слезы.

– Прости меня, Эрих!.. прости! – пробормотала она.

Эрих никогда еще не видел своей невесты плачущей и не слышал, чтобы она просила прощения. В порыве безграничной нежности он стал целовать ее руки.

– Моя Цици, моя милая, я ведь не браню тебя, я только прошу никогда, никогда больше не делать подобного! А теперь...

– А теперь дадим ей покой, – вмешался Вильденроде. – Ты видишь, до какой степени она нуждается в нем. Постарайся поспать несколько часов, Цици, это успокоит твои расстроенные нервы... Пойдем, Эрих!

Дернбург последовал за бароном с явной неохотой, но так как Цецилия с лихорадочным нетерпением просила его уйти, то он покорился.

Оскар проводил его до лестницы и вошел в свою комнату, но, едва успели затихнуть шаги молодого человека, как он тотчас вернулся к сестре и, заперев дверь гостиной на задвижку, сказал сдержанным голосом:

– Ты совершенно не умеешь владеть собой! Счастье, что я был рядом. В данной ситуации лучше всего было бы рассказать о твоей безумной поездке в горы, теперь же надо позаботиться об устранении другой опасности. Не имея доказательств, Рунек не посмеет предпринять что-либо против нас; между тем обстоятельства складываются так, что неминуемо должны привести к разрыву между ним и Дернбургом, а тогда... Ну, мне случалось бывать и не в таких передрыгах!

Цецилия встала, со странным выражением взглянула на брата и сказала:

– Тогда нас уже не будет в Оденсберге. Не возражай, Оскар! Я не хочу знать того, о чем ты умалчиваешь; того, что ты сказал, мне вполне достаточно. Ты должен предотвратить опасность, грозящую тебе со стороны Рунека, значит, он не лгал, он может обвинить тебя! Но я не желаю быть авантюристкой, которая втерлась в Оденсберг и которую, в конце концов, могут со стыдом и позором выгнать. Мы уедем под каким-нибудь предлогом, все равно куда, только бы прочь отсюда, прочь во что бы то ни стало!

– Ты с ума сошла! – воскликнул Вильденроде, хватая ее за руку. – Прочь? Куда? Или ты думаешь, что я могу опять дать тебе возможность жить прежней жизнью? Этого уже не будет, источники моих доходов иссякли!

– Да, эти источники внушают мне ужас! – дрожа воскликнула Цецилия. – Я хочу работать...

– Этими-то руками? Знаешь ли ты, что значит ежедневно зарабатывать себе на пропитание? Надо быть приспособленной к этому, иначе умрешь с голоду!

– Но теперь, когда мои глаза открылись, я не могу остаться здесь! Не принуждай меня, или я сейчас же скажу Эриху, что не люблю его, что наша помолвка была лишь делом твоих рук.

Оскар побледнел. Цецилия вырвалась из-под его власти, приказания и угрозы не действовали; он ухватился за по-

следнее средство.

– Скажи! – вдруг ответил он холодно и твердо. – Уничтожь себя и меня, потому что для меня это вопрос жизни или смерти; час тому назад я обручился с Майей.

– С кем? – Цецилия посмотрела на брата, точно не понимая его слов.

– С Майей. Она любит меня, нужно только согласие Дербурга. Если ты разойдешься с Эрихом и скажешь ему правду, то Оденсберг и для меня закроется навеки, а тогда... я последую примеру отца. Неужели ты думаешь, что мне легко было вести жизнь авантюриста, мне, Вильденроде? Знаешь ли ты, что я выстрадал, прежде чем дошел до этого? Сколько раз я пытался вырваться из этого омута, и всякий раз тщетно! Наконец, спасение близко, рука милого ребенка может сделать это, я смогу добиться счастья, которого долго-долго искал, и в ту самую минуту, когда я завладею им, мне грозят отнять его, хотят заставить меня вести прежнюю жизнь, над которой тяготеет проклятие! Этого я не вынесу... лучше сразу покончить со всем.

Его лицо и голос выражали железную решимость; это была не пустая угроза.

– Нет! – прошептала Цецилия содрогнувшись. – Нет, нет, только не это!

– И разве я требую от тебя чего-то ужасного? – спросил Вильденроде смягчаясь. – Ведь ты должна только молчать. Я хотел спасти тебя от жизни, в которую мне пришлось втя-

нуть тебя, прежде чем раскрылись твои глаза, а теперь вместе с тобой я спасаю и себя. Прошлое останется у меня позади, и я начну новую жизнь; здесь, в Оденсберге, для меня открывается большое поле – деятельности, Дернбург найдет во мне того, кем не может быть для него сын; ты будешь женой Эриха, он любит, обожает тебя, ты можешь сделать его счастливым и можешь быть счастливой сама рядом с ним.

Он нагнулся над сестрой, и его голос звучал мягко; она бесконечно горестно посмотрела на него.

– Как я буду переносить теперь близость Эриха, его нежность! – воскликнула она. – Даже эти несколько минут были для меня пыткой. А если я опять встречу Рунека и прочту в его глазах презрение, как сегодня утром! Быть предметом презрения этого Рунека и не иметь даже права возмутиться!

В последних словах звучали такое отчаяние и боль, что Вильденроде оторопел.

– Ты так боишься его презрения? – медленно спросил он. – Успокойся, после своей выходки он сам станет избегать встречи, а в семейном кругу он и без того больше не появляется. Все остальное предоставь мне; ты должна только быть спокойной и молчать... Обещаешь?

– Да! – едва слышно пробормотала Цецилия.

– Благодарю тебя! Теперь я оставлю тебя одну, я вижу, что ты не в состоянии больше выносить этот разговор. – Барон повернулся к двери, но опять остановился и бросил пронизывающий взгляд на лицо сестры. – Эгберт Рунек – наш враг,

здешний враг; он собирается уничтожить и тебя, и меня, и с ним я должен бороться, не останавливаясь ни перед чем, хотя бы дело дошло до ножей. Не забывай этого!

Цецилия не ответила; когда дверь захлопнулась за ее братом, она дрожала всем телом, как в лихорадке. Истина, которую он уже не старался скрывать от нее, потрясла ее до глубины души; сказочный мир радости и удовольствий, который она только и знала до сих пор, лежал разбитый вдребезги у ее ног. Скала была взорвана; что таилось в ее недрах?

Весна миновала, и лето наступило во всем своем жгучем великолепии. В Оденсберге уже начали готовиться к свадьбе, назначенной на конец августа. После обряда бракосочетания предполагался большой праздник, на который в дом Дернабурга должны были собратсья гости со всей округи, а сразу после свадьбы молодая чета должна была отправиться в свадебное путешествие на юг.

Служащие и рабочие оденсбергских заводов тоже были намерены принять участие в празднестве – они хотели принести свои поздравления патрону по поводу брака его единственного сына и наследника. Директор возглавлял образованный с этой целью комитет по подготовке грандиозного торжества, и все ревностно выполняли его поручения.

Но точно какая-то туча омрачила дом и семью Дернабурга. Сам Дернабург был расстроен разными событиями. Предстоящие выборы в рейхстаг взволновали даже его Оденсберг, и он слишком хорошо знал, что здесь не обходится без наущений и подстрекательств; открыто никто не агитировал – он слишком крепко держал в руках вожжи, но он не мог воспрепятствовать тайной, а потому и опасной деятельности социал-демократической партии, шаг за шагом проникавшей в среду рабочих его заводов, на которые до сих пор он мог полностью положиться.

Кроме того, здоровье Эриха снова внушало Дернабургу серьезные опасения. Он почти отказался от мечты посвятить сына в дело, которое ждало его в будущем; молодой человек постоянно прихварывал, по-прежнему должен был тщательно беречь свое здоровье, а о регулярных занятиях не было и речи. Сюда присоединилось еще сватовство Вильденроде и открытое признание Майи в любви, которое было принято Дернабургом с величайшим изумлением и почти с досадой.

Объяснившись с молодой девушкой, барон попросил ее руки у отца, но встретил энергичное сопротивление. Несмотря на расположение к нему Дернабурга, он совершенно не был похож на человека, за которого тот хотел бы выдать свою дочь, а мысль, что шестнадцатилетняя девочка станет женой человека, который по возрасту мог бы быть ей отцом, не укладывалась в голове старика так же, как взаимность, которую встретила любовь Оскара со стороны Майи. Правда, просьбы его любимицы привели к тому, что он перестал настаивать на сиюминутном отказе, но ничто не могло заставить его сразу же дать свое согласие; он решительно заявил, что его дочь еще слишком молода, что она должна подождать, испытать себя, а года через два можно будет опять завести об этом речь.

Ждать! Это было невозможное слово для человека, которому приходилось считать минуты. А между тем в настоящее время ему не оставалось ничего другого, потому что Майю устранили от его влияния. Дернабург, отказывая ему в руке

дочери, намекнул на то, что его ежедневные встречи с девушкой и жизнь в одном доме с ней будут неудобны. Но оставить Оденсберг теперь значило наверняка проиграть игру; надо было бдительно следить за всем, чтобы встретить опасность, грозовой тучей нависшую над головой барона со времени разговора с Рунеком; кроме того, надо было оставаться возле сестры, чтобы быть уверенным, что она сдержит вырванное у нее обещание. Вследствие этого Вильденроде не пожелал понять намек Дернбурга и остался; тогда Дернбург со свойственной ему энергией тотчас отослал дочь к своим знакомым погостить. Она должна была вернуться только к свадьбе брата.

Эгберт Рунок приехал из Радефельда с обычным докладом патрону. Он имел обыкновение заходить только в кабинет Дернбурга и, окончив дело, тут же удаляться; казалось, он стал совсем чужим семье Дернбурга. Но сегодня он сначала зашел к Эриху; тот был радостно изумлен его визитом, но не мог не встретить его упреком:

– Наконец-то ты показался! Я уже думал было, что ты совсем забыл меня и что мы все вообще попали к тебе в немилость; только отцу еще удастся лицезреть тебя.

– Ты знаешь, как я занят! Мои работы...

– Ну да, как же! Твои работы вечно служат для тебя предлогом. Однако иди же сюда, поговорим! Я так рад, что могу с тобой пообщаться.

Эрих усадил друга на диван рядом с собой, стал расспра-

шивать, рассказывать, но говорил почти один; Рунек был поразительно молчалив и лишь изредка механически отвечал, как будто его голова была занята совершенно не тем. Но когда Эрих заговорил о предстоящей свадьбе, он стал внимательнее.

– Мы уедем в день венчания, сразу после обеда, – со счастливой улыбкой сказал Эрих. – Несколько недель я думаю провести с женой в Швейцарии, а потом мы полетим на юг. Ты не знаешь, что я испытываю, произнося это слово! Это холодное северное небо, эти мрачные горы, вся здешняя жизнь и работа – все это таким тяжелым гнетом ложится на мою душу! Я не могу здесь полностью выздороветь; Гагенбах того же мнения и предлагает, чтобы я на всю зиму остался в Италии. К сожалению, отец не хочет об этом и слышать; придется вступить с ним в борьбу, чтобы настоять на своем.

– Ты опять чувствуешь себя хуже? – спросил Эгберт, глаза которого со странно пытливым выражением не отрывались от лица Эриха.

– О, это пустяки! – беззаботно ответил тот. – Доктор до смешного пуглив. Он надавал мне всевозможных наставлений и хочет даже ограничить празднества в день свадьбы, потому что они будто бы могут взволновать меня. Он смотрит на меня как на тяжелобольного, которому любое возбуждение может причинить смерть.

Рунек тяжело и мрачно смотрел на своего собеседника; в его взгляде и голосе выразалось нечто вроде подавленной

борьбы.

– Так доктор боится последствий волнения? Правда, у тебя кровь шла горлом...

– Господи, ведь это было два года тому назад и давно уже прошло, – нетерпеливо перебил его Эрих. – Просто мне вреден воздух Оденсберга. Цецилия тоже не может привыкнуть к здешней жизни. Она создана для радости и солнечного света; здесь же, где все основано на труде и обязанностях, где строгие глаза моего отца постоянно следят за ней, она не в состоянии существовать. Если бы ты знал, что произошло с моей жизнерадостной Цили! Какой бледной и молчаливой она стала в последние недели, как изменилась до неузнаваемости! Иной раз я боюсь, что тут кроется совсем другая причина. Если она раскаивается в том, что дала мне слово, если... Ах, мне всюду что-то чудится!

– Полно, Эрих, прошу тебя! – успокоительным тоном заметил Рунек. – Ты волнуешься без всякой причины.

– Нет, нет! Я вижу, я чувствую, что Цецилия что-то скрывает от меня. Третьего дня она выдала себя. Я говорил о нашем свадебном путешествии по Италии, как вдруг у нее вырвалось: «Да, уедем, Эрих, куда хочешь, только подальше, подальше отсюда! Я не вынесу этого больше!». Чего она не вынесет? Она не захотела отвечать мне на этот вопрос, но ее восклицание было похоже на крик отчаяния.

Дернбург взволнованно вскочил. Эгберт тоже встал и, как бы случайно выйдя из полосы яркого солнечного света, па-

давшего через окно, остановился в тени.

– Ты, конечно, очень любишь свою невесту? – медленно спросил он.

– Люблю ли я ее! – глаза Эриха заблестели мечтательной нежностью. – Ты никогда не любил, Эгберт, иначе не задавал бы такого вопроса. Если бы Цецилия отказала мне, когда я просил ее руки, может быть, я и перенес бы этот удар; но если бы потерял ее теперь, это было бы моей смертью!

Эгберт молча стоял, полуотвернувшись, и на его лице все еще отражалась глухая, мучительная борьба; но, услышав последние слова, он поднял голову, подошел к другу и, положив руку ему на плечо, дрожащими губами, но твердо произнес:

– Ты не потеряешь ее, Эрих! Ты будешь жить и будешь счастлив.

– Ты уверен в этом? – спросил Эрих, с удивлением глядя на него. – Ты говоришь так, будто властен над жизнью и смертью.

– Считаю мои слова пророчеством, которое исполнится. Ну, мне пора, я пришел проститься, потому что со всеми делами в Радефельде справился раньше чем предполагал.

– Тем лучше; ты вернешься в Оденсберг, и, я надеюсь, мы будем часто видеться.

– Едва ли. У меня другие планы, которые не позволяют оставаться в Оденсберге. Я хочу сегодня поговорить об этом с твоим отцом.

– Вот беспокойный человек! Вечно стремится вперед, к чему-то новому без отдыха и перерыва! Не успел закончить одну работу, как в твоей голове роятся новые проекты. Что там ты еще придумал?

– Будет лучше, если тебе расскажет об этом твой отец; теперь ты не в таком настроении, чтобы слушать. Итак, прощай, Эрих!

Рунек протянул другу руку, с трудом сдерживая волнение; Эрих непринужденно пожал ее.

– Но мы еще не прощаемся окончательно, не правда ли? Ты ведь еще вернешься пока в Радефельд?

– Разумеется, но я уеду оттуда, может быть, на днях, и как знать, где я раскину свою палатку, когда ты вернешься весной из Италии.

– В таком случае мы увидимся еще на моей свадьбе. Я не отпущу тебя, пока ты не дашь мне этого обещания. Я не хочу, чтобы тебя не было со мной в такой день, ты приедешь во что бы то ни стало! А теперь я отпущу тебя, потому что вижу, у тебя опять под ногами земля, горит... До свидания!

– Хорошо... прощай, Эрих! – Рунек почти судорожно пожал руку другу детства, быстро повернулся и вышел из комнаты, как будто боясь, чтобы его не удержали. В коридоре он остановился и с глубоким вздохом прошептал: – Он прав, это было бы его смертью. Нет, Эрих, ты не умрешь из-за меня! Этого я не могу взять на свою совесть.

Дернбург находился в кабинете и озабоченно слушал си-

девшего против него доктора Гагенбаха. Вильденроде тоже был здесь; скрестив руки на груди, он стоял, прислонившись к косяку окна, не вмешиваясь в разговор, но следя за ним с напряженным вниманием.

– Вы преувеличиваете опасность, – сказал доктор успокоительным тоном, – Эрих страдает только от климата нашей суровой весны. Ему следовало дольше оставаться на юге и еще остановиться где-нибудь по пути для постепенной адаптации к нашим условиям; перемена климата оказала на него вредное воздействие. Ему необходимо вернуться на время в Италию, и я только что говорил с ним о том, где он проведет зиму. Он предпочитает Рим в угоду жене; я же настаиваю на Сорренто или Палермо.

Лицо Дернбурга еще больше омрачилось.

– Вы считаете крайне необходимым, чтобы Эрих всю зиму провел в Италии? – спросил он. – Я надеялся, что он с женой вернется к Рождеству.

– Нет, это значило бы снова поставить под удар все, чего мы достигли прошлой зимой.

– Чего же мы достигли? Частичного выздоровления, причем уже через несколько месяцев его здоровье опять стало ухудшаться! Будьте откровенны, доктор, вы считаете, что мой сын вообще не в состоянии переносить наш климат? Считаете ли вы возможным, чтобы Эрих подолгу жил в Оденсберге, чтобы он мог работать вместе со мной и в будущем стал моим преемником, как я надеялся, когда он вполне

здоровым с виду вернулся весной?

Глаза Дернбурга с напряженным беспокойством следили за губами доктора, а Вильденроде даже вышел из оконной ниши, где до сих пор стоял. Гагенбах колебался; казалось, ему тяжело было отвечать. Наконец он серьезно произнес:

– Нет, уж если вы хотите знать правду, продолжительное пребывание на юге – обязательное условие жизни для вашего сына. Летом он может на несколько месяцев приезжать в Оденсберг, но зимы в наших горах он не вынесет, так же точно как не вынесет и напряжения сил, которого требует ведение дел. Это мое твердое убеждение.

Вильденроде невольно поднял брови; Дернбург молчал и только подпер голову рукой, но было видно, как тяжело поразило его приговор доктора, хотя он, вероятно, ожидал его.

– В таком случае придется проститься с планами, которые я так долго лелеял, – сказал он наконец. – Я все-таки надеялся... Как бы там ни было, Эрих – мой единственный сын, и я уберегу его, хотя бы при этом мне пришлось отказаться от сокровеннейшей мечты. Пусть он найдет себе уютный уголок где-нибудь на юге и ограничит свою деятельность его благоустройством. Это я могу для него сделать. Благодарю за откровенность, доктор. Как ни горька истина, надо с ней мириться. Мы еще поговорим об этом.

Гагенбах простился и вышел. Несколько минут в комнате царил молчание; наконец Вильденроде тихо произнес:

– Неужели этот приговор был для вас сюрпризом? Для ме-

ня нет, я уже давно боялся чего-нибудь подобного. Если отъезд необходим для выздоровления Эриха, то, мне кажется, вам обоим будет легче пережить разлуку.

– Эриху это понравится! Он всегда питал страх к положению, которое должен был занять, его пугала эта непрерывная работа, которую он должен был возглавить, ответственность, которую он должен был на себя взять; ему будет гораздо приятнее сидеть на берегу голубого моря и мечтать о своей вилле; он будет очень рад, узнав, что ничто больше не прервет его мечтательного покоя, а я останусь здесь один-одинешенек с перспективой передать когда-нибудь Оденсберг, плод трудов всей моей жизни, в чужие руки. Это горько!

– Разве это в самом деле неизбежно? Ведь у вас есть еще дочь, которая может дать вам второго сына, но вы все еще отказываете ее избраннику в сыновних правах.

– Оставьте это! Не теперь...

– Именно теперь, именно в эту минуту я желал бы поговорить с вами! – возразил барон. – Я не ожидал и не заслужил такого отношения, с каким вы встретили мое предложение. Вы почти упрекнули меня, как будто, делая его, я совершил неблагоприятный поступок.

– Вы его совершили; вы не должны были говорить о любви шестнадцатилетней девочке, не заручившись согласием отца. Если юноше простительно поддаться минутному увлечению, то человеку ваших лет это непростительно.

– Эта минута позволила мне изведать высшее счастье в

моей жизни! – пылко воскликнул Оскар. – Она дала мне уверенность, что и Майя любит меня! Майя при вас повторила это признание; мы оба надеялись на благословение отца, а вместо этого нас осудили на бесконечное ожидание. Вы отравили Майю из Оденсберга, лишив себя ее близости только для того, чтобы отнять ее у меня.

– А что же я должен был сделать? После вашего преждевременного объяснения невозможно было позволить ей ежедневно, совершенно свободно видеться с вами, раз я не согласился на немедленную помолвку.

– Так сделайте это теперь! Сердце Майи принадлежит мне, а я люблю ее безгранично. Вы вынуждены отпустить сына в далекие края, позвольте же мне заменить его! Я полюбил ваш Оденсберг и отдал ему все силы человека, который устал вести бесцельную жизнь и желает начать новую. Неужели вы откажете мне только потому, что между мной и моей молоденькой невестой двадцать лет разницы?

В тоне барона слышалась горячая, убедительная просьба. Он не мог бы выбрать для разговора лучшего времени, чем сейчас, когда старик, хмуро сидевший перед ним, пережил крушение всех надежд, возлагаемых им на сына; надежда на человека, которого он прочил в помощники своему слабому, лишенному самостоятельности наследнику, тоже обманула его; этот план рухнул в ту минуту, когда Дербург узнал, что сердце Майи уже не свободно. Ему не пришлось бы расстаться с любимой дочерью, если бы она стала женой Вильденро-

де, а последний со своей сильной, энергичной натурой заменил бы ему то, что он потерял в сыне.

– Это серьезное и важное по своим последствиям решение, – сказал Дернбург. – Если вы действительно решили полностью изменить свой образ жизни, то помните, обязанности, которые вас ждут, нелегки; может быть, они потому только и прельщают вас, что совершенно новы и незнакомы вам. Вы не привыкли к постоянному труду...

– Но я привыкну, – перебил Вильденроде. – Вы часто в шутку называли меня своим ассистентом, будьте же теперь моим настоящим учителем и наставником. Вам не придется стыдиться своего ученика. Я убедился, наконец, что надо работать и созидать, чтобы быть счастливым, и я буду работать. Исполните же наконец мою просьбу! Вы позволили Эриху быть счастливым, неужели вы откажете в счастье Майе?

– Поживем – увидим! Через три недели свадьба Эриха, Майя вернется в Оденсберг и...

– Тогда я могу просить руки моей невесты! – бурно воскликнул Оскар. – О, благодарю вас, мы оба благодарим нашего строгого, но такого доброго отца!

Легкая улыбка осветила лицо Дернбурга, хотя он и не выразил согласия, но и не отверг благодарности.

– Однако довольно об этом, Оскар, – сказал он, впервые называя его так фамильярно. – Иначе кто знает, чего вы добьетесь от меня своей бурной настойчивостью, а у меня есть еще дело; сейчас должен явиться Эгберт, он придет сегодня

с докладом из Радефельда.

Сияющее выражение на лице Вильденроде погасло, и он заметил вскользь с деланным равнодушием:

– Господина Рунека теперь, вероятно, просто осаждают: ведь в его партии царит такая суета, что дым стоит коромыслом.

– Да, – спокойно ответил Дернбург, – господа социалисты храбрятся и петушатся донельзя; кажется, они собираются даже впервые выставить собственного кандидата на выборах.

– Это правда. А вы знаете, кого они наметили?

– Нет, но полагаю, что Ландсфельда, который при всяком удобном случае разыгрывает роль вождя. Впрочем, он не больше как агитатор, для рейхстага он не годится, а Партия социалистов обычно знает своих членов от и до. Но ведь здесь все дело в том, чтобы попробовать свои силы; серьезно оспаривать у меня кандидатуру социалисты не собираются.

– Вы полагаете? Может быть, у господина Рунека имеются более точные сведения на этот счет.

Дернбург нетерпеливо пожал плечами.

– Разумеется, Эгберту придется теперь принять окончательное решение, он знает это не хуже меня. Если он будет заодно со своей партией, то есть в данном случае против меня, то между нами все будет кончено.

– Он уже решил, – холодно сказал Вильденроде. – Вы не знаете имени вашего соперника, а я знаю; его зовут Эгберт Рунек.

Дернбург вздрогнул как от удара, а потом заявил коротко и твердо:

– Это неправда!

– Извините, я узнал это из самых верных источников.

– Это неправда, говорю я вам! Вас обманули, этого не может быть.

– Едва ли. Впрочем, скоро мы все узнаем, так как вы ждете Рунека к себе.

Дернбург в сильном волнении заходил по комнате, но сколько ни размышлял, полученное известие казалось ему столь же неправдоподобным, как и в первую минуту.

– Вздор! На такое Эгберт не пойдет, он знает, что ему придется выступить против меня, бороться со мной.

– Не думаете ли вы, что это испугает его? – насмешливо спросил Оскар. – Во всяком случае, господин Рунок стоит выше таких устарелых предрассудков, как благодарность и привязанность, и кто знает, в самом ли деле на его избрание так мало надежды? Он столько месяцев жил в Радефельде, свободный от всякого надзора, имея в своем распоряжении несколько сот рабочих; без сомнения, он заручился их головами, а каждый из них найдет ему десять-двадцать приверженцев среди своих оденсбергских товарищей. Он не терял времени даром. И этого человека вы осыпали благодеяниями! Он обязан вам воспитанием и образованием, всем, что у него есть; вы дали ему место, возбуждившее зависть всех ваших подчиненных, а он воспользовался им для того, чтобы

втихомолку подкопаться под вас и сокрушить здесь, в Оденсберге, голосами ваших же рабочих.

– Вы считаете это возможным? – резко спросил Дернбург. – Об этом, я полагаю, нам нечего беспокоиться.

– Дай, Бог, но довольно уже и одной попытки. До этой минуты Рунек предпочитал хранить благоразумное молчание, хотя ему уже несколько месяцев назад было известно, в чем дело. Откроет ли это, наконец, ваши глаза, или вы все еще верите своему любимцу.

– Да, впрочем, Эгберт скажет мне все сам.

– Скажет, только не добровольно! Это будет тяжелая минута и для вас; я вижу, что одно предположение уже волнует вас, а между тем...

– Уйдите, Оскар, – мрачно перебил его Дернбург, – Эгберт может войти каждую минуту, а я хочу говорить с ним наедине, что бы ни вышло из этого разговора.

Он протянул барону руку и тот ушел; его глаза горели гордым, страстным торжеством; наконец-то он ступил на почву, на которой хотел стать полновластным хозяином, когда теперешний повелитель Оденсберга закроет глаза! Эрих добровольно уступал ему поле битвы, уезжая с женой в Италию; теперь горячие мечты барона о богатстве и власти могли осуществиться, а рядом с ними расцветало чудное, неизведанное им счастье! Еще немного – и горячо желанная цель будет достигнута.

Вильденроде вышел в переднюю; в ту же минуту проти-

воположная дверь открылась, и он очутился лицом к лицу с Рунеком. Он невольно сделал шаг назад, инженер тоже остановился; он видел, что барон хочет пройти в дверь, но продолжал стоять на пороге, как будто намереваясь загородить ему путь.

– Вы желаете что-нибудь сказать мне, господин Рунок? – резко спросил барон.

– В настоящую минуту – нет, – холодно возразил Эгберт, – позднее – может быть.

– Еще вопрос, найдется ли у меня тогда время и охота вас слушать.

– Я полагаю, у вас найдется время!

Их взгляды встретились; глаза одного сверкали дикой, смертельной ненавистью, глаза другого были полны мрачной угрозы.

– В ожидании этого я покорнейше попрошу вас дать мне дорогу, вы видите, я хочу выйти, – высокомерно произнес Оскар.

Рунок медленно посторонился; Вильденроде прошел мимо него с насмешливой, торжествующей улыбкой. Его не пугала больше опасность, до сих пор темной грозовой тучей висевшая над его головой; если бы его противник и заговорил теперь, его не стали бы слушать; «тяжелая минута», наступившая там, в кабинете, должна была уничтожить его врага.

Войдя в кабинет, Рунок застал патрона за письменным столом; в поклоне, которым Дербург ответил на привет-

ствие молодого человека, не было ничего особенного, но когда тот вынул портфель и стал открывать его, он сказал:

– Оставь, это ты можешь сделать после; я хочу поговорить с тобой о более важных вещах.

– Я попросил бы у вас сначала несколько минут внимания, – возразил Рунек, вынимая из портфеля бумаги. – Работы в Радефельде почти окончены; через Бухберг проложен туннель, и вся масса воды, находящаяся в почве, направлена к Оденсбергу. Вот планы и чертежи. Остается только соединить водопроводную трубу с заводами, а это сумеет всякий, когда я оставлю свое место.

– Оставишь? Что это значит? Ты не окончишь работ?

– Нет, я пришел просить отставки.

Рунек избегал смотреть на патрона. Дернбург ничем не выразил своего удивления; он откинулся на спинку кресла и скрестил руки.

– Вот как! Разумеется, ты сам знаешь, что тебе следует делать, но я надеялся, что ты хоть доведешь до конца порученные тебе работы. Прежде ты не имел привычки делать что-нибудь наполовину.

– Именно поэтому я и ухожу; меня призывает другой долг, и я обязан повиноваться.

– И он не позволяет тебе оставаться здесь?

– Да.

– Ты имеешь в виду предстоящие выборы? – сказал Дернбург с ледяным спокойствием. – Ходят слухи, что социали-

сты хотят на этот раз выставить собственного кандидата, и ты, надо полагать, решил вотировать⁷ за него. В таком случае мне понятно, почему ты требуешь отставки. Положение, которое ты занимал в Радефельде, и твои отношения со мной и моей семьей несовместимы с твоими поступками. Так долой их! Не будем скрывать, что здесь все дело только в борьбе со мной.

Эгберт стоял молча и опустив глаза. Очевидно, ему трудно было признаться, но вдруг он решительно выпрямился.

– Господин Дернбург, я должен открыть вам одно обстоятельство: кандидат, которого намерена проводить наша партия, – я.

– Неужели ты снисходишь до милости лично сообщить мне об этом? – медленно спросил Дернбург. – Я не надеялся на это. Сюрприз, который ты намерен был сделать мне, несомненно, вышел бы гораздо эффектнее, если бы я узнал имя кандидата из газет.

– Вы уже знали? – воскликнул Эгберт.

– Да, знал и желаю тебе успеха. Тебя нельзя упрекнуть в робости, и для своих двадцати восьми лет ты достаточно нахально добиваешься чести, которой я счел себя достойным, только когда мог опереться на долгую трудовую жизнь. Ты только что встал со школьной скамьи и уже хочешь, чтобы тебя подняли на щит, как народного трибуна.

Лицо Рунека то краснело, то бледнело.

⁷ Вотировать (лат.) – голосовать.

– Я боялся, что вы именно так все воспринимаете, и это еще более затрудняет положение, в которое против моей воли поставило меня решение моей партии. Я боролся до последней минуты, но, в конце концов, меня...

– Вынудили, не правда ли? Понятно, ты – жертва своих убеждений! Я так и знал, что ты станешь прикрываться этим! Не трудись напрасно; я знаю, в чем дело!

– Я не способен на ложь и думаю, вы должны бы знать это, – мрачно сказал Эгберт.

Дернбург встал и подошел к нему вплотную.

– Зачем ты вернулся в Оденсберг, если знал, что наши убеждения непримиримы? Ты не нуждался в месте, которое я предложил тебе; перед тобой был открыт весь мир. Впрочем, что я спрашиваю! Тебе надо было подготовить все для борьбы со мной, расшатать почву под моими ногами, сначала предать меня в моих же владениях, а потом разбить наголову!

– Нет, этого я не делал! Когда я приехал сюда, никто не думал о возможности моего избрания; всего месяц тому назад возник этот план, и только на днях он окончательно утвержден, несмотря на мое сопротивление. Я не мог говорить раньше, это была тайна партии.

– Разумеется! Что же, расчет верен. Ни Ландсфельд, ни кто другой не имел бы ни малейших шансов на успех в борьбе со мной; попытка вытеснить меня неминуемо потерпела бы фиаско. Ты же сын рабочего, вырос среди моих рабочих,

вышел из их среды, все они гордятся тобой; если ты внушишь им, что я не кто иной, как тиран, который все эти годы угнетал их, высасывал из них последние соки, если пообещаешь им наступление золотого века, это подействует; тебе рабочие, может быть, и поверят. Если человек, который был почти членом моей семьи, возглавит их, чтобы начать борьбу со мной, то уж, верно, их дело правое; они готовы будут головы свои прозакладывать, что это так.

Почти те же слова молодой инженер слышал несколько месяцев тому назад из уст Ландсфельда; он опустил глаза перед пронизательным взглядом Дербурга.

А тот, выпрямившись во весь рост, продолжал:

– Но до этого еще не дошло! Еще посмотрим, забыли ли мои рабочие, что я тридцать лет работал с ними и для них, всегда заботясь об их благе; посмотрим, так ли легко разорвать союз, укреплявшийся в продолжение целой человеческой жизни. Попробуй! Если кому это и может удастся, то только тебе. Ты мой ученик и, вероятно, знаешь, как победить старого учителя.

Эгберт был бледен как мертвец; на его лице отражалась буря, происходившая в его душе. Он медленно поднял глаза.

– Вы осуждаете меня, а сами на моем месте, вероятно, поступили бы точно так же. Я достаточно часто слышал от вас, что дисциплина – первый, важнейший закон для всякого большого предприятия; я подчинился этому железному закону, должен был подчиниться. Чего мне это стоило, знаю

лишь я один.

– Я требую повиновения от моих людей, – холодно сказал Дернбург, – но не принуждаю их становиться изменниками.

Эгберт вздрогнул.

– Господин Дернбург, я многое могу стерпеть от вас, особенно в эту минуту, но этого слова... этого слова я не вынесу!

– Что делать, вынесешь! Чем ты занимался в Радефельде?

– Тем, в чем могу отчитаться перед вами и самим собой.

– В таком случае ты плохо исполнил свою обязанность, и тебя заставят искупить свою вину. Впрочем, к чему ворошить прошлое? Речь о настоящем. Итак, ты кандидат своей партии и принял оказанную честь?

– Да... так как это – решение партии. Я должен был покориться.

– Должен! – повторил Дернбург с горькой насмешкой. – В твоём лексиконе появилось слово «должен»! Прежде ты почти не знал его, прежде ты только «хотел». Меня ты счел тираном потому, что я беспрекословно не принял твоих идей относительно благодетельствования народа; ты оттолкнул мою руку, которая хотела направлять тебя, требовал свободы, а теперь добровольно подчинился игу, которое закует в цепи все твои помыслы и желания, вынудит тебя порвать со всем, что тебе близко, заставит унизиться до роли изменника. Не горячись, Эгберт, это правда! Ты не должен был возвращаться в Оденсберг, если знал, что может наступить час,

подобный настоящему; ты не должен был оставаться, когда узнал, что тебя хотят столкнуть со мной; но ты вернулся, ты остался, потому что тебе приказали. Называй это как хочешь, а я называю это изменой. Теперь иди, мы закончили.

Дернбург отвернулся, но Эгберт порывистым движением приблизился к нему.

– Не прогоняйте меня! Я не могу так расстаться с вами. Вы ведь были мне отцом!

В этом душевном порыве прорвались долго сдерживаемая мука и горе, но донельзя раздраженный старик не видел этого или не хотел видеть; он отступил назад, и во всем его облике почуствовалось ледяное отчуждение.

– И сын поднимает руку на отца? Да, я с удовольствием назвал бы тебя сыном, тебя предпочтительно перед всеми другими! Ты мог бы стать хозяином в Оденсберге. Посмотрим, как оплатят тебе твои друзья за чудовищную жертву, которую ты им приносишь. Теперь все кончено, иди!

Эгберт молчал и медленно повернулся к выходу; с порога он бросил последний тяжелый взгляд назад и... дверь за ним закрылась.

Дернбург тяжело опустился в кресло и закрыл рукой глаза. Из всех испытаний, обрушившихся на него сегодня, это было самым тяжелым. В Эгберте он любил молодую, могучую силу, которая так напоминала его собственную и которую он хотел удержать за собой на всю оставшуюся жизнь; теперь ему казалось, будто с уходом этого молодого человека

он навеки утратил лучшую часть самого себя.

Рунок мрачно шел через передний зал. Он так спешил, точно под его ногами горела земля. Было видно, как дорого обошелся ему этот час, когда он разорвал связь со всем, что ему было дорого. «Ты мог бы стать хозяином в Оденсберге!» – одна эта фраза уже определяла размеры жертвы, которую он принес и кому принес! Он уже давно не испытывал того радостного воодушевления, которое не знает сомнения и не задает вопросов; но он не располагал свободой действий как в былое время, не имел больше права хотеть; он должен был поступать так, а не иначе.

Вдруг рядом зашуршало шелковое платье, и Рунок увидел перед собой баронессу Вильденроде. Он хотел с церемонным поклоном пройти мимо, но Цецилия тихо произнесла:

– Господин Рунок! Я должна поговорить с вами.

– Со мной?

Эгберт думал, что ослышался, но баронесса повторила тем же тоном:

– С вами... и наедине. Прошу вас!

– Как прикажете!

Цецилия пошла вперед, и он последовал за ней в гостиную. Там никого не было. Баронесса подошла к камину, как бы желая избежать солнечного света, яркой полосой врывавшегося в окно. Прошло несколько минут, прежде чем она заговорила. Рунок тоже молчал; его взгляд медленно скользил по ее лицу, которое теперь казалось совсем другим. Веселая

невеста странно изменилась. Вместо неотразимо привлекательного создания, все существо которого дышало задорным весельем и избытком энергии, перед Эгбертом стояла бледная, дрожащая девушка с опущенными глазами, с горьким выражением в уголках рта. Она тщетно искала слова, но никак не находила их.

– Я хотела написать вам, господин Рунок, – наконец начала Цецилия, – но услышала, что вы здесь, и решила переговорить с вами лично. Нам нужно объясниться. Я должна напомнить вам о нашей встрече на Альбенштейне. Вероятно, вы так же как и я не забыли слов и угроз, которые тогда бросили мне в лицо; они были неясны для меня тогда и остаются неясными и теперь, но с тех пор я знаю, что вы непримиримый враг моего брата и меня.

– Ваш – нет, баронесса, – перебил Рунок. – Я жестоко заблуждался и сразу понял это; я просил у вас прощения, но, правда, не получил его. Мои слова и угрозы относились к другому.

– Но этот другой – мой брат, и удар, который обрушится на него, поразит и меня. Если вы когда-нибудь встретитесь с ним, как встретились тогда со мной, то исход будет ужасный, кровавый. Я много недель дрожала при мысли об этом, а теперь не могу больше; я хочу знать... что вы намерены делать.

– Ваш брат знает о нашей встрече на Альбенштейне?

– Да.

Рунок не стал больше спрашивать, да и незачем было

узнавать, что сказал Вильденроде; смущенный, растерянный взгляд Цецилии говорил достаточно ясно, и он решил избавиться ее от тягостных расспросов.

– Успокойтесь, – серьезно сказал он. – Встречи, которой вы боитесь, не будет, потому что я завтра же покидаю Радефельд и окрестности Оденсберга, а так как вы с Эрихом уедете на юг, то у вашего брата не будет больше никаких оснований оставаться здесь после вашего бракосочетания; его отъезд избавит меня от необходимости относиться к нему враждебно. От вас же мне не нужно защищать Оденсберг и дом Дернбурга; теперь я знаю это.

Рунек не подозревал, как тяжело было Цецилии слушать его. Она знала о грандиозных планах Оскара, знала, что ее свадьба будет только способствовать осуществлению его собственной цели, что его брачный союз с Майей будет рано или поздно заключен и сделает его хозяином в Оденсберге; но она молчала, зная, что неправда, молчала, чтобы опять не навлечь несчастье, которое ей только что удалось устранить.

В большой комнате наступила могильная тишина; в этот миг расставания секунды и минуты бежали с пугающей быстротой! Вдруг Эгберт сделал несколько шагов к Цецилии и заговорил с дрожью в голосе:

– Своими беспощадными обвинениями я допустил по отношению к вам вопиющую несправедливость, которую вы не можете простить мне. Я не мог предполагать, что вы были в полном неведении. Согласны ли вы все-таки выслушать мою

последнюю просьбу, предостережение?

Девушка утвердительно кивнула.

– Ваш брак вырвет вас из прежней обстановки и освободит от угнетения брата, освободитесь же и от его влияния! Не давайте ему распорядиться вашей жизнью; его вмешательство принесет вам несчастье и гибель. То, что я раньше только подозревал, теперь знаю точно. Дорога барона идет по краю пропасти.

Цецилия вздрогнула. Она вспомнила о мрачной угрозе, которой Оскар заставил ее остаться в Оденсберге, и в ее воображении всплыл образ мертвого отца.

– Не продолжайте! – Она с усилием овладела собой. – Вы говорите о моем брате.

– Да, о вашем брате, – выразительно повторил Рунек, – и вы не возражаете мне; следовательно, вы знаете...

– Я ничего не знаю, не хочу ничего знать! О, Господи! Сжальтесь же надо мной! – Цецилия обеими руками закрыла лицо и покачнулась.

Эгберт мгновенно оказался рядом и поддержал ее; как и тогда на Альбенштейне, ее голова с бледным лицом и закрытыми глазами лежала на его плече.

– Цецилия!

В этом единственном слове, сорвавшемся с губ Эгберта, слышалась пылкая страсть; большие темные глаза Цецилии медленно открылись и встретились с его глазами; одну секунду – целую вечность – они смотрели друг другу в глаза.

Громкие звонкие удары часов возвестили полдень. Эгберт опустил руки и отступил.

– Сделайте Эриха счастливым! – глухо произнес он. – Прощайте, Цецилия!

Через секунду его уже не было в комнате, а Цецилия, прижимаясь пылающим лбом к холодному мрамору камина, плакала; ей казалось, что ее сердце разрывается на части.

Домики многочисленных служащих Оденсберга образовывали нечто вроде маленького городка. Тут был и дом доктора Гагенбаха – маленькая вилла в швейцарском стиле. Она была рассчитана на довольно многочисленное семейство, но пожилой холостяк-доктор и не думал жениться и уже много лет жил один в обществе старухи-ключницы, а теперь к ним присоединился его племянник. В качестве главного врача Гагенбах имел обширную практику в самом Оденсберге, но к нему часто обращались и со стороны.

И сегодня в его приемной сидел приезжий пациент, впрочем, внешне далеко не походивший на больного. На вид этому мужчине было приблизительно лет сорок и был он весьма внушительной полноты; его руки едва сходились на объемистом брюшке, а глаза почти исчезали за пухлыми, красными, лоснящимися щеками. Тем не менее он чрезвычайно долго рассказывал о своих страданиях и перечислил целый ряд недугов. Наконец Гагенбах перебил его.

– Все, что вы мне рассказываете, я прекрасно знаю, господин Вильман. Я неоднократно говорил вам о том, что вы слишком много внимания уделяете своей драгоценной особе. Если вы не станете в меру пить и есть, не будете укреплять здоровье моционом, то лекарства, которые я вам прописал, не помогут.

– В меру? О, Господи, я сама умеренность, но, к сожалению, хозяйин гостиницы в данном отношении неминуемо становится жертвой своей профессии – должен же я иной раз поболтать со своими гостями, выпить с ними! На этом держится мое заведение и...

– И вы самоотверженно переносите свою мученическую участь? Как угодно, но в таком случае не требуйте от меня помощи, вообще, я не дорожу побочной практикой; у меня и в Оденсберге полно работы. Почему вы не обратитесь к моим коллегам, у которых гораздо больше свободного времени?

– Потому что я не доверяю им. В вас есть что-то, внушающее доверие.

– Да, благодарение Богу, я обладаю нужной для этого грубостью, – с полнейшим спокойствием ответил Гагенбах, – она всегда внушает доверие. Итак, угодно вам подчиняться моим предписаниям? Да или нет?

– Да ведь я во всем подчиняюсь! Если бы вы знали, что я вынес за эти последние дни! Эта ужасающая тяжесть в желудке...

– В чем виноваты вкусные жаркие и соусы.

– А эта одышка, это головокружение...

– Происходят от пива, которое вы прилежно употребляете каждый день. Пиво надо исключить, еду ограничить. Итак...

Доктор перечислил целый ряд средств, которые привели Вильмана в неопишуемый ужас.

– Да ведь это просто лечение голодом! – завопил он. –

Ведь так я и умереть могу!

– А вы предпочитаете пасть жертвой своей профессии? Мне это безразлично, но в таком случае оставьте меня в покое.

Пациент глубоко и сокрушенно вздохнул, но, видно, внушающая доверие грубость доктора одержала верх над его нерешительностью; он сложил руки и, подняв глаза к потолку, умиленно произнес:

– Если уж нельзя иначе, то, Господи, благослови! Доктор пронизательно на него глянул и вдруг спросил:

– Нет ли у вас брата, господин Вильман?

– Нет, я был единственным сыном своих родителей.

– Странно, мне бросилось в глаза сходство... то есть, собственно говоря, это вовсе не сходство, напротив, у вас с ним нет ни одной общей черты. А, может быть, у вас есть родственник, который был в Африке, в Египте, в Сахаре или где-то там в песчаных пустынях?

Полные розовые щеки Вильмана слегка побледнели; он усердно занялся своей тяжелой золотой цепочкой.

– Да... двоюродный брат...

– Который был миссионером? Да? И потом умер от лихорадки?

– Да, господин доктор.

– Его звали Энгельбертом? Так и есть! А вас как зовут?

– Пан-кра-ци-ус, – протяжно ответил Вильман, все еще играя цепочкой от часов.

– Красивое имя! Итак, через три недели вы опять приедете, а если мне случится проезжать мимо вашего ресторана, то я сам наведаюсь.

Вильман простился, кротко поблагодарив за полученный совет, и Гагенбах остался один.

– Все подходит! – пробормотал он. – Значит, двоюродный брат почившего Энгельберта с траурной лентой! У обоих манера набожно поднимать глаза; очевидно, это фамильный недостаток. Сказать ей или нет? Чтобы она сейчас же позвала дражайшего родственника, сызнова переживала вместе с ним всю эту прискорбную историю да еще возобновила свою клятву в вечной верности этому Энгельберту? Кстати, надо будет дать Дагоберту обещанный рецепт, ведь он как раз идет в господский дом к Леони.

Доктор отправился в комнату племянника. Молодой человек был уже совсем готов к выходу, но еще стоял перед зеркалом и внимательно рассматривал себя. Он расправил галстук, пригладил рукой белокурые волосы и постарался красиво закрутить пробивающиеся усики. Наконец он отступил на несколько шагов назад, убедительно приложил руку к сердцу, глубоко вздохнул и начал что-то вполголоса говорить.

Некоторое время доктор с возрастающим удивлением молча наблюдал за ним, а потом сердито крикнул:

– Мальчик, ты не рехнулся?

Дагоберт вздрогнул и покраснел как рак.

– Я уже думал, не спятил ли ты, – продолжал дядя подхвывая. – Что означают эти фокусы?

– Я... я учил... английские слова, – объяснил Дагоберт.

– Английские слова с такими вздохами? Станный способ учебы!

– Это были английские стихи; я хотел еще раз... Пожалуйста, милый дядя, отдай мне тетрадь! Это мои сочинения!

Как хищная птица, кинулся он к синей тетради, но слишком поздно, доктор уже раскрыл ее и стал перелистывать.

– Зачем так волноваться? Я думаю, у тебя нет причин стыдиться своих сочинений; к тому же ты, кажется, уже имеешь успехи. Фрейлейн Фридберг немало потрудилась над тобой, и, я надеюсь, ты благодарен ей.

– Да, конечно... она трудилась... я трудился... мы трудились... – заикался Дагоберт, очевидно не соображая, что говорит, а его глаза с ужасом следили за рукой дяди, который переверачивая тетрадь страницу за страницей, сухо заметил:

– Ну, если ты, так заикаясь, выразишь ей свою благодарность, то она будет не особенно польщена. А это что? – Он наткнулся на отдельно сложенный листок. – «К Леони» – с недоумением прочел он. – Стихи! «О, не сердись, что я у ног твоих»... Ого, что это значит?

Дагоберт стоял в позе преступника, застигнутого на месте преступления, в то время как доктор читал стихотворение, которое представляло ни более ни менее как форменное объяснение в любви втайне обожаемой учительнице, а заканчи-

валось торжественной клятвой в вечности этого чувства.

Прошло немало времени, прежде чем Гагенбах наконец разобрал, в чем дело; но зато, когда понял, над бедным Дагобертом разыгралась целая буря с громом и молнией. Сначала юноша терпеливо сносил головомойку, но затем попробовал протестовать.

– Дядя, я тебе очень благодарен, – торжественно сказал он, – но когда дело касается сокровенных тайн моего сердца, твоя власть кончается так же, как и мое повиновение. Да, я люблю Леони, я обожаю ее; это вовсе не преступление.

– Но глупость! – гневно крикнул доктор. – Мальчишка, едва соскочивший со школьной скамьи, не успевший еще даже стать студентом, и влюблен в даму, которая могла быть ему матерью! Так вот какие это были «английские слова»! Ты репетировал перед зеркалом объяснение в любви! Нет, я открою глаза фрейлейн Фридберг, пусть узнает, какой у нее примерный ученик! А когда она узнает все, помоги мне, Бог! Она будет возмущена, будет вне себя! – И доктор сердито сложил злополучный листок.

Когда молодой человек увидел, как его выстраданное стихотворение исчезает в кармане сюртука бессердечного дяди, отчаяние придало ему храбрости и вернуло самообладание.

– Я уже не мальчик. – Он ударил себя в грудь. – Ты не способен понять чувства, волнующие юношескую грудь; твое сердце давно остыло. Когда старость начинает серебрить голову...

Он внезапно замолчал и скрылся за большим креслом, потому что доктор, не терпевший намеков на свои седеющие волосы, грозно двинулся к нему.

– Я запрещаю тебе подобные язвительные выражения! – крикнул Гагенбах в ярости. – Серебрить голову! Сколько же, по-твоему, мне лет? Ты, вероятно, воображаешь, что дядюшка, наследником которого ты являешься, скоро отправится на тот свет? Я еще не собираюсь, заруби себе на носу! Теперь я пойду с твоей ерундой к фрейлейн Фридберг, а ты можешь тем временем дать Волю чувствам, волнующим твою юношескую грудь. Это будут премиленькие диалоги!

– Дядя, ты не имеешь права насмехаться над моей любовью, – несколько робко сказал Дагоберт из-за кресла, но доктор был уже за дверью и шел в свою комнату за шляпой и палкой.

– Серебрить голову! – бурчал он. – Глупый мальчишка! Я тебе покажу мое «давно остывшее сердце»! Ты меня попомнишь!

Он стремительно зашагал к господскому дому. Когда вошел доктор, Леони Фридберг сидела за столом и дописывала письмо. Она с удивлением взглянула на него.

– Это вы? Я думала, что это Дагоберт; обычно он очень аккуратен.

– Дагоберт не придет сегодня, – отрывисто ответил Гагенбах. – Я подверг его домашнему аресту. Проклятый мальчишка!

– Вы слишком строги к молодому человеку и обращаетесь с ним, как с ребенком, тогда как ему двадцать лет.

Доктор сердито продолжал:

– Он опять выкинул безбожную штуку. Я с удовольствием умолчал бы о ней, чтобы избавить вас от неприятности, но ничего не поделаешь, вы должны все знать! – И, достав из кармана сюртука поэтические излияния своего племянника, доктор со зловещей миной передал их Леони, сказав: – Читайте!

Леони прочла стихи с начала до конца с непонятым спокойствием, на ее губах даже дрогнула улыбка.

Доктор, тщетно ожидавший взрыва негодования, счел необходимым помочь ей.

– Это стихотворение, – пояснил он, – и оно посвящено вам.

– По всей вероятности, так как тут стоит мое имя. Надо полагать, это произведение Дагоберта?

– А вам это, кажется, приятно? – рассердился Гагенбах. – По-видимому, вы находите совершенно в порядке вещей, чтобы он был «у ваших ног» – так сказано в этой мазне.

Леони, все еще улыбаясь, пожала плечами.

– Оставьте своему племяннику его юношеские мечты, они не опасны. Право же, я ничего не имею против них.

– Но я имею! Если глупый мальчишка еще хоть раз посмеет воспевать вас и приносить к вашим ногам чувства, волнующие его юношескую грудь, то...

– Что вам-то до этого? – спросила Леони, пораженная таким взрывом горячности.

– Что мне до этого? Ах, да, вы еще не знаете! – Гагенбах вдруг встал и подошел к ней. – Посмотрите на меня, фрейлейн Фридберг.

– Я не нахожу в вас ничего особенно замечательного.

– Я и не хочу, чтобы вы находили меня замечательным. Но ведь у меня довольно сносная внешность для моих лет?

– Совершенно верно.

– У меня выгодное место, состояние, нельзя сказать, чтобы маленькое, и неплохой дом, который слишком большой для меня одного.

– Я несколько не сомневаюсь во всем этом, но...

– А что касается моей грубости, – продолжал Гагенбах, не обращая внимания на попытку прервать его, – то она только внешняя, в сущности я настоящая овца.

При этом заявлении Леони весьма недоверчиво посмотрела на доктора.

– Одним словом, я человек, с которым можно ужиться, – с чувством собственного достоинства заключил доктор. – Вы этого не находите?

– Конечно да, но...

– Хорошо, так скажите «да», и дело с концом!

Леони вскочила со стула и густо покраснела.

– Что это значит?

– Что значит? Ах, да, я забыл сделать вам формальное

предложение, но это нетрудно исправить. Итак, я предлагаю вам свою руку и прошу вашего согласия... по рукам!

Доктор протянул руку, но избранница его сердца отскочила назад и резко ответила:

– Вы не должны поражаться тем, что я так удивлена, право, я никак не считала возможным, чтобы вы удостоили меня таким предложением.

– Вы хотите сказать потому, что у вас есть «нервы»? – как ни в чем не бывало, произнес Гагенбах. – О, это пустяки, от этого я вас отучу, на то я врач.

– Мне очень жаль, что я не могу помочь вам в вашей практике. Такой холодный ответ озадачил доктора.

– Не должен ли я понять это так, что вы оставили меня с носом? – протяжно спросил он.

– Если вам угодно так называть это, то, действительно, таков мой ответ на ваш необычайно нежно и деликатно предложенный вопрос.

Лицо доктора вытянулось. Он не считал нужным соблюдать какие-то церемонии, делая предложение; он знал, что, несмотря на свои годы, представлял собой «партию» и что любая из его знакомых дам с готовностью разделила бы с ним его состояние и положение в обществе; и вдруг здесь, где его предложение, без сомнения, являлось большим счастьем, на которое эта лишенная средств девушка едва ли смела надеяться, оно было отвергнуто. Он думал, что ослышался.

– Так вы в самом деле отказываете мне?

– Мне очень жаль, но я вынуждена отказаться от предложенной мне чести.

Гагенбах смотрел то на Леони, то на портрет, висевший над столом; наконец досада прорвалась наружу.

– Почему? – повелительно спросил он.

– Это, надеюсь, мое дело.

– Извините, мое! Раз я остаюсь с носом, то хочу знать, по крайней мере, почему. Между нами что-то стоит – воспоминание, юношеская любовь, ну, словом, вот тот! – и он указал на портрет с траурной лентой.

Леони молчала, но по ее щекам вдруг заструились горячие слезы.

– Я так и думал! – сердито закричал доктор. – Но я не позволю так оттолкнуть себя! Кто был этот двоюродный брат? Где он жил! Как он попал в Африку? Хоть это я могу узнать?

– Если вам это кажется столь важным, – Леони попыталась сдержать слезы, – пусть будет по-вашему. Да, Энгельберт был моим женихом, и я вечно буду его оплакивать. Он был домашним учителем в семье, где я была гувернанткой, наши сердца встретились, и души слились воедино.

– Весьма трогательно! – буркнул доктор, но, к счастью, так тихо, что Леони не разобрала.

– Энгельберт уехал в Египет в качестве компаньона; там на него точно нашло откровение, и он решил посвятить остаток жизни миссионерству. Он великодушно вернул мне мое слово, но я не приняла его и объявила, что готова разделить

с ним его тяжелую, полную самопожертвования жизнь. Этому не суждено было сбыться! Он еще раз написал мне перед отъездом в Африку, а потом... – голос Леони прервался рыданиями, – потом я уже ничего больше о нем не слышала.

Гагенбах испытывал чувство жгучего удовлетворения, убедившись, что упомянутый жених, просветитель язычников, в самом деле умер или пропал без вести. Объяснение смягчило его досаду и лишило полученный им отказ всякого обидного оттенка. Доктор успокоился.

– Мир праху его! – сказал он. – Но ведь когда-нибудь вы же перестанете оплакивать его, нельзя же всю жизнь грустить об одном человеке. В наше время невеста, пролив о почившем женихе приличное количество слез, обзаводится другим, если таковой подвернется. В данном случае он перед вами и снова повторяет свое предложение. Леони, вы хотите выйти за меня? Да или нет?

– Нет! Если бы я не знала, чем обладала в лице моего преданного, нежно любящего Энгельберта, то это показали мне вы. Может быть, к другой женщине вы не обратились бы так... так бесцеремонно, но ведь отцветшая, одинокая девушка, бедная, зависимая гувернантка, конечно, должна считать за счастье, что ей предлагают «хорошо обеспеченное положение»! К чему же тут еще церемонии? Я слишком высоко ставлю брак, чтобы смотреть на него только с такой точки зрения. Лучше я буду оставаться в бедности и зависимости, чем стану женой человека, который, даже явившись в

качестве жениха, не счел нужным оказать мне элементарное уважение! Полагаю, нам нечего больше сказать друг другу!

Она поклонилась и вышла из комнаты. Гагенбах остался на прежнем месте и озадаченно смотрел ей вслед.

– Вот это называется распечь! – сказал он. – И я ничего, преспокойно вынес! Впрочем, в возбужденном состоянии, с покрасневшими щеками и блестящими глазами она была очень недурна! Я даже не знал, что она такая хорошенькая. Да, уж эти проклятые холостяцкие привычки! Просто хоть пропадай с ними! – Он взял шляпу и собирался уже выйти, как вдруг его взгляд опять упал на портрет соперника; весь его гнев обратился против невинной фотографии.

– Нюня! Заморыш! Эн-гель-берт! – В этом имени выразилось все презрение, на какое он только был способен. – И из-за него она отталкивает такого человека как я. Это глупо, сумасбродно! – Он стукнул по столу так сильно, что бедный Энгельберт дрогнул. – И все-таки мне это нравится, и я женюсь на ней все равно, хочет она этого или не хочет!

В Оденсберге развевались флаги, на возвышенностях грохотали мортиры, триумфальные ворота, зеленые гирлянды и цветы всюду приветствовали новобрачных, возвращавшихся из-под венца.

Обряд бракосочетания происходил в довольно отдаленной церкви. Свадебный поезд уже возвращался; впереди ехали новобрачные. На заводах тоже был праздник; по дороге к господскому дому рабочие образовали шеренги, а золотые солнечные лучи августовского дня усиливали впечатление веселья и праздничного настроения во всем Оденсберге.

Экипаж с новобрачными въехал в большую триумфальную арку и остановился перед террасой. Эрих высадил жену; ноги молодой женщины буквально тонули в цветах, которыми был устлан ее путь. Громадный зал превратился в благоухающий цветущий сад, и настезь открытые парадные покои дома, также благоухая цветами, приняли новую хозяйку. Под руку с сестрой за ней последовал Дербург. На его лице отразилось глубокое волнение, когда он обнял сына и невестку; он принес большую жертву, согласившись на разлуку и продолжительную жизнь молодой четы на юге, но счастье, которым сияло лицо Эриха, до некоторой степени вознаградило за это. Его взгляд упал на Майю, подходившую под руку с Вильденроде; он окинул глазами высокую, гордую

фигуру этого человека, казалось, созданного для того, чтобы когда-нибудь занять в Оденсберге место хозяина; он увидел, что милое личико его любимицы тоже сияет радостью и счастьем, и последняя тень на его челе исчезла; судьба посылала ему полную замену того, от чего он вынужден был отказаться.

Майя бросилась в объятия брата и с нежностью поцеловала его красавицу-жену. Оскар тоже обнял молодых, но на Цецилию посмотрел мрачным, озабоченным и угрожающим взглядом; она почувствовала этот взгляд и поспешно высвободилась из его объятий.

Тем временем подъехали остальные экипажи. Гостей все прибавлялось. Новобрачных обступили со всех сторон с поздравлениями.

Среди этого великолепного общества не было лишь владельца майората, графа Экардштейна, отказавшегося от приглашения.

«Молодой» был на вершине блаженства. Казалось, этот счастливый для него день вернул ему здоровье; он хорошо выглядел и не горбился; с ярким румянцем на щеках от волнения он улыбаясь принимал поздравления, почти не отрывая глаз от жены.

Цецилия была обворожительна в подвенечном уборе, только ее прекрасное лицо казалось чересчур бледным. Она тоже улыбалась в ответ на поздравления и произносила общепринятые слова благодарности, но в этой улыбке было

что-то неподвижное, застывшее, а голос был совершенно беззвучен. К счастью, это никого не удивляло, так как невеста имела право быть и бледной, и серьезной.

Директор оденсбергских заводов и доктор Гагенбах стояли несколько в стороне у окна. Первый взял на себя обязанности распорядителя праздничными церемониями. Все удалось сверх ожидания: и триумфальная арка, и убранство дороги в церковь, и депутации, и поздравления в стихах и в прозе; но главное еще предстояло. Перед домом выстраивалась большая процессия рабочих. Директор находился в приятной ажитации, так как это был один из самых оригинальных его номеров; он тихо, но с жаром говорил что-то доктору; тот рассеянно слушал его, поглядывая на новобрачных, и наконец произнес:

– Эта процессия займет больше часа, и все это время новобрачные должны будут простоять на террасе. Это будет слишком утомительно для Эриха. Венчание, процессия, потом праздничный обед и наконец отъезд. Я вообще с самого начала был против этих длительных и шумных торжеств, но с моим мнением не посчитались, и даже господин Дернбург пожелал устроить все как можно более торжественно.

– Вполне естественно, что он хочет как следует отпраздновать свадьбу единственного сына, – заметил директор, – а рабочие тоже хотели поучаствовать в поздравлении. Я думаю, наша процессия удастся на славу. Впрочем, не стоит беспокоиться за молодого Дернбурга; я никогда не видел его

таким веселым и цветущим, как сегодня.

– Именно потому-то я и боюсь. В его возбуждении есть что-то лихорадочное, а всякое волнение – яд для человека в его состоянии. Как бы я хотел, чтобы он уселся с женой в экипаж и уехал от всей этой суеты!

Разговор был прерван слугой, пришедшим с докладом, что приготовления к процессии окончены. Директор направился к новобрачным и от имени всех рабочих оденсбергских заводов просил принять выражение их преданности. Эрих улыбнулся и предложил руку жене, чтобы отвести ее на террасу; окружающие последовали за ними.

Все служащие заводов находились возле террасы; рабочие, стоявшие по всей дороге до самых заводов, вдруг пришли в движение. Бесконечной толпой с музыкой и знаменами мимо молодоженов шли тысячи оденсбергских рабочих, к которым примкнула рудокопы из горных рудников. Колонны перемежались группами детей, чем приятно нарушалось однообразие шествия; ученики школы, основанной Дербургом, маршировали тут же, и светлая радость сияла на их лицах. Поравнявшись с новобрачными, они махали фуражками и букетами цветов и бесконечно кричали «ура».

Очень трудно было охранять дорогу, по которой проходила процессия, так как по обеим ее сторонам встали жены рабочих с детьми на руках; кроме того, сюда стеклось все население из окрестностей. Все глаза были обращены на белую фигуру невесты. Она была центром праздника и принимала

знаки почтения и преданности, с дружеской улыбкой кивая головой, но в этом движении было что-то вынужденное, а ее темные глаза смотрели безучастно, словно не видели того, что было перед ними, а искали вдали что-то совсем другое.

Эрих принимал во всем живейшее участие. Он указывал жене на интересные подробности процессии, постоянно обращался к директору с выражениями благодарности и удовольствия и, казалось, совсем забыл о своей застенчивости и сдержанности. Прежде ему было тягостно быть центром внимания в подобных церемониях, сегодня же ради своей молодой жены он принимал их с радостной гордостью.

Дернбург стоял возле сына и с удовольствием смотрел на торжество. Можно ли было осудить его за то, что его грудь гордо вздымалась, а фигура выпрямлялась при виде этих тысяч людей, проходивших мимо? Это ведь были его рабочие, для которых он тридцать лет был хозяином и отцом, о благе которых заботился, как о своем собственном; теперь между ними хотели посеять рознь! Эти люди должны были отвернуться от него и последовать за другим, который ничего для них еще не сделал и начинал свою карьеру с того, что стал врагом человеку, который был для него большим благодетелем, чем для всех остальных! Презрительная улыбка заиграла на губах повелителя Оденсберга; земля, на которой он стоял, была незыблема, как скала; сегодня он чувствовал это больше чем когда-либо.

И еще один человек с гордо поднятой головой и блестя-

щими глазами смотрел на движение людей. Это был Оскар фон Вильденроде, стоявший рядом с Майей. Как ни внушительны казались ему «раньше пружины механизма, приводившего в движение оденсбергские заводы, всей мощи и значения Дернабурга он никогда еще не осознавал так ясно, как сейчас. И это место со временем займет он. Стать повелителем этого небольшого государства, управлять им одним словом, одним движением руки – такую цель он поставил перед собой с первого дня после приезда сюда.

Он посмотрел на Майю, и выражение гордого торжества в его Лице сменилось счастливой улыбкой. Полукомическое, полуторжественное достоинство, с которым девушка носила непривычно длинный шлейф голубого шелкового платья, восхитительно шло ей; ее личико горело от радости и возбуждения, она по-детски увлеклась праздничным настроением и счастьем, переполнившим ее сердце, ведь она уже знала, что отец не станет больше противиться ее любви.

– Ну разве это не красиво?! – прошептала она барону. – А как счастлив Эрих!

Оскар улыбнулся и нагнулся к ней.

– О, я знаю одного человека, который будет еще счастливее Эриха, когда будет стоять так, на его месте, под руку с молодой женой.

– Тише, Оскар! – остановила его Майя вспыхивая, – ты знаешь, папа не хочет разглашать этого сегодня.

– Нас никто не слышит, – успокоил ее Оскар, – да и па-

па вовсе не так строг, как кажется. Правда, он отказал мне в просьбе сегодня же объявить о нашей помолвке, и вообще трудно было добиться его согласия, но теперь ты здесь, и если ты, его любимица, станешь просить его, то, конечно, он не скажет «нет». Завтра я отважусь на новый приступ; ты поможешь мне, моя Майя?

Девушка не ответила, но ее глаза сказали ему, что в помощи отказа не будет. Барон схватил ее руку и с любовью пожал ее.

Последняя группа рабочих прошла мимо, и вся масса зрителей хлынула на освободившуюся дорогу. Директор еще раз выслушал благодарность Дербурга и его сына и комплименты гостей по поводу удавшегося торжества, а потом новобрачные и гости вернулись в дом.

В большом зале вошедших встретили музыка и богато сервированный стол. Хотя Дербург не любил хвастать своим богатством, но сегодня он выставил напоказ все сокровища своего дома. Обед прошел как обычно в подобных случаях, а затем начались танцы, которых очень ждали многие из приглашенных.

Новобрачные приняли участие лишь в первом туре, а затем удалились из зала.

– Почему Эрих и Цецилия уже уходят? – спросила Майя барона. – Они ведь должны уехать только через час.

– Это все Гагенбах; он боится, чтобы Эрих не переутомился. Совершенно безосновательное беспокойство, как мне ка-

жется, потому что Эрих никогда не выглядел лучше, чем сегодня.

– Мне тоже кажется, но зато Цецилия ужасно бледна. Вообще она была так серьезна и молчалива; я совсем иначе представляла себе счастливую невесту.

– Она устала, тут нет ничего удивительного. Директор потребовал от нас слишком многого, заставив так долго смотреть эту бесконечную процессию.

Майя покачала головкой; она стала серьезной и задумчивой.

– Эрих говорит, что тут что-то другое и что когда-нибудь он узнает правду.

– Что хочет узнать Эрих? – спросил Вильденроде так быстро и резко, что девушка удивленно взглянула на него.

– О, может быть, он и ошибается, но он жаловался мне на перемену, происшедшую с Цецилией несколько недель тому назад. Он боялся, что ее тяготит что-то особенное, и надеялся, что она будет откровеннее со мной; я охотно исполнила его желание и спрашивала Цецилию, но ничего не добилась; она и мне не ответила. Эрих был страшно огорчен.

Оскар закусил губы, и Майя испугалась выражения, которое появилось на его лице; заметив ее вопросительный взгляд, он коротко рассмеялся и шутливо сказал:

– Я боюсь, что Эрих своей донельзя доведенной верностью, испортит жизнь и себе, и жене. К счастью, Цецилия не расположена к сентиментальности; она, осмеет его способ-

ность видеть то, чего нет.

Начавшийся вальс прервал их разговор, потому что к Майе подошел молодой офицер, которому она обещала этот танец. Девушка, впервые танцевавшая в большом обществе, полностью была во власти танца, но скоро ее глаза снова обратились туда, где стоял барон, или, скорее, должен был стоять, потому что его уже там не было; она напрасно искала его, очевидно, он ушел из зала...

Эрих проводил жену в ее комнату и отправился к себе, чтобы переменить костюм. Он усмехнулся при мысли о педантичной осторожности доктора, который продолжал считать его больным, между тем как он никогда не чувствовал себя лучше, чем сегодня; но с распоряжением доктора он был вполне согласен – он еще ни минуты не был наедине с женой. Надеть дорожный костюм было недолго, и Эриху оставалось еще с полчаса для задушевной беседы с женой.

Он поспешно вышел из своей комнаты, чтобы отправиться к жене, но внизу лестницы остановился. Расстилавшийся перед ним ландшафт тонул в блеске вечернего солнца; его золотые лучи заливали убранную цветами террасу и сверкающей полосой падали сквозь дверь в зал; со стороны заводов, где был устроен праздник для рабочих, доносились музыка и звуки веселья, а из открытых окон зала, где в эту минуту наступил перерыв, слышались веселая болтовня и смех гостей.

Эрих радостно перевел дух, день его свадьбы был чудесным.

Только теперь начиналась для него жизнь, теперь его манил широкий, вольный свет, солнечный юг; он освободился от тягостных обязанностей и мог наслаждаться волшебными мечтами счастья возле любимой женщины там, на берегу голубого моря.

«Молодой» быстро поднялся по лестнице и хотел войти в гостиную, отделявшую комнаты Цецилии от комнат ее брата, как вдруг заметил, что дверь заперта изнутри. В ответ на его легкий стук никто не открыл; он потерял терпение и пошел другим путем.

Комната Оскара имела особый выход – маленькую дверь, оклеенную обоями. Эрих открыл ее и прошел в соседнюю гостиную. Вдруг в комнате жены он услышал голос Вильдероде и остановился.

Вероятно, брат пришел к молодой женщине, чтобы еще раз побыть с ней наедине и проститься. Это было естественно; не следовало мешать и без того короткому прощанию брата с сестрой. Но что это? Голос барона звучал очень резко и угрожающе, и вдруг послышалось рыдание! Неужели это Цецилия? Не может быть, чтобы его жена плакала так отчаянно! Эрих побледнел; предчувствие беды вдруг ледяным холодом сдавило его грудь. Он не двигался с места. Через запертую дверь явственно доносилось каждое слово Вильдероде.

– Образумься, Цецилия! Неужели ты совсем разучилась владеть собой? Перед отъездом ты опять должна показаться

гостям, да и Эрих может войти каждую минуту. Возьми себя в руки.

Ответа не было; слышался только безутешный, судорожный плач.

– Я боялся чего-нибудь подобного и потому пришел к тебе, но такой вспышки не ожидал... Цецилия, ты слышишь? Ты должна успокоиться!

– Я не могу! – произнес приглушенный голос Цецилии. – Оставь меня, Оскар! Я должна была улыбаться и лгать весь этот день и опять должна буду делать то же, когда сяду с Эрихом в экипаж. Я умру, если не выплачусь!

– Опять эта несчастная страстность, свойственная твоей натуре! – уже мягче заговорил барон. – Ты должна бы понимать, что именно в настоящее время меньше всего имеешь право поддаваться ей. Я сделал все, чтобы упрочить твое счастье, а ты...

– Мое счастье! К чему эта ложь, Оскар? Ты мог обманывать меня, пока я была несмышленным ребенком, но ты знаешь тот день, когда я прозрела. Ты просто хотел устроить собственное счастье, когда задумал обручить меня с Эрихом; ты хотел стать хозяином в Оденсберге, а потому пожертвовал моим счастьем.

– Если я и преследовал эту цель, то ради упрочения своего и твоего положения! Я уже говорил тебе, что для нас этот брак был вопросом существования. Ты считаешь себя жертвой? Тебе оказывали сегодня княжеские почести, а ко-

гда бесконечная вереница рабочих проходила мимо нас, тебе, конечно, стало ясно, что значит в свете имя, которое ты теперь носишь; жизни в Оденсберге, пугавшей тебя, ты избежишь – вы вернетесь в Италию; Эрих обожает тебя; он не откажет тебе ни в одном желании, сделает для тебя все, что в состоянии дать его богатство. Чего же ты требуешь еще от брака? Это счастье, и когда-нибудь ты еще поблагодаришь меня за него.

– Никогда! Никогда! – вне себя воскликнула Цецилия. – О, если бы я могла спастись от этого счастья! Но ты связал меня по рукам и ногам своей ужасной угрозой последовать примеру нашего отца! Ты не подозреваешь, какой мукой были для меня с тех пор доброта и нежность Эриха! Я никогда не любила его и никогда не полюблю, а теперь, когда уже невозможно разорвать цепь, я чувствую, что она задушит меня! Лучше смерть, чем его объятия! Но что это? Как будто кто-то вздохнул!

– Тебе померещилось! Мы одни, – я позаботился о том, чтобы нас не могли подслушать. К чему этот взрыв отчаяния? Неужели только теперь, после свадьбы, тебе стало ясно, что ты любишь другого? Я подозревал это с того дня, когда ты встретила с Эгбертом Рунеком на Альбенштейне. Ты чуть не сходила с ума от мысли, что этот человек презирает тебя и считает авантюристкой. Я не хотел говорить об этом, чтобы не пугать тебя, но теперь скажу. С тех пор, как этот Эгберт занял место в твоей жизни...

– Нет! Нет! – с ужасом перебила его Цецилия.

– Да! Или ты думаешь, что сегодня утром, когда я вез тебя в церковь, я не видел, как ты внезапно побледнела, а твой взгляд не мог оторваться от одного места в лесу? Ты заметила его, а он пришел, по всей вероятности, для того, чтобы еще раз увидеть тебя. Он стоял довольно далеко за деревьями; на таком расстоянии узнают только смертельного врага или любимого человека, и мы оба узнали его.

«Молодая» не возражала и даже не отвечала; ее молчание сказало все. Теперь испугался Оскар. Он услышал какой-то шум, как будто слегка хлопнула дверь. Он быстро вышел в гостиную.

Напрасная тревога – гостиная была пуста, а дверь заперта на задвижку. Но взгляд на каминные часы убедил барона, что этот разговор давно пора кончить. Он возвратился к сестре и сказал, сдерживая голос:

– Я должен вернуться в зал, а тебе надо приготовиться к отъезду. Ты выплакалась, теперь подумай о своих обязанностях. Ты жена Эриха, и завтра между тобой и тем, другим, будут десятки миль; надо надеяться, ты никогда больше не увидишь его. Я позабочусь о том, чтобы он не мог вредить нам здесь, в Оденсберге, а ты забудешь о нем, потому что должна забыть.

Он открыл дверь и позвонил горничной. Заплаканные глаза молодой женщины могли быть легко объяснены разлукой с братом, но он все-таки не хотел ни на минуту остав-

лять ее одну и вышел из комнаты только тогда, когда вошла Наннон.

Внизу, в переднем зале, встретив лакея, который нес чемодан и дорожный плед Эриха, барон мимоходом спросил:

– Господин Дернбург, вероятно, еще в своей комнате?

– Нет, он наверху, у молодой барыни.

– Нет, я только что от сестры.

– Но я сам видел, как молодой барин шел вверх по лестнице. Это было почти полчаса тому назад. Он вошел через маленькую дверь.

Вильденроде побледнел как полотно – об этой двери он не подумал. Что, если Эрих действительно был в гостиной, если Кон слышал, что... Он не посмел закончить свою мысль и поспешил в комнаты зятя.

В первой комнате не было никого, но, открыв дверь спальни, барон невольно попятился. Эрих лежал распростертый на полу, по-видимому, без признаков жизни, с закрытыми глазами; голова была откинута назад, вся грудь, сюртук и ковер вокруг были залиты кровью, капли которой еще сочились с его губ.

Объяснения были не нужны. В самый разгар воображаемого счастья с глаз молодого мужа была сорвана повязка; ему пришлось из уст обожаемой жены услышать, что она никогда не любила его и предпочитает смерть его объятиям. Всякий другой вышел бы из себя, дал бы волю своему гневу и отчаянию, но у Эриха не было ни сил, ни мужества, нужных для

этого; он молча принял смерть.

Несколько секунд Оскар стоял как окаменелый, потом рванул колокольчик, поднял с помощью прибежавшего лакея бесчувственного Эриха и велел по возможности незаметно позвать доктора Гагенбаха. Через несколько минут тот явился, молча выслушал рассказ Вильденроде, щупая в то же время пульс Эриха, потом послушал сердце и, выпрямляясь, тихо сказал:

– Позовите вашу сестру, барон, и подготовьте ее к худшему исходу. Я пошлю за господином Дернбургом и Майей.

– Неужели вы боитесь?..

– Здесь уже нет места ни опасениям, ни надежде. Позовите жену, может быть, он еще придет в себя.

Через четверть часа весь дом знал, что Эрих Дернбург умирает. Скрыть несчастье было невозможно, весть о нем с быстротой молнии облетела общество.

У постели умирающего на коленях стояла молодая женщина в белом подвенечном платье; она не плакала и была смертельно бледна; она подозревала о причине этого ужасного несчастья.

Возле нее стоял онемевший от горя Дернбург; он не сводил взора с сына, которого судьба отнимала у него. Майя всхлипывала на груди отца. Вильденроде не смел подойти ни к ней, ни к постели умирающего; он думал было, что проиграл все дело, а теперь оказывалось, что он все-таки его выиграл: бедняга, жизнь которого медленно угасала, уже не мог

никого разоблачить; он уносил с собой в могилу то, что услышал и что было причиной его смерти.

Эрих лежал неподвижно, с закрытыми глазами; его дыхание становилось все медленнее и медленнее. Доктор, до сих пор считавший удары его пульса, опустил его руку; Цецилия увидела это движение и поняла, что оно значит.

– Эрих! – вскрикнула она.

Этот вопль отчаяния и безумного страха вернул умирающему сознание. Он медленно открыл глаза и уже затуманенным смертию взглядом искал любимое лицо, склонившееся над ним, но этот взгляд выражал такое безграничное горе, такую глубокую, немую мольбу, что Цецилия вздрогнула от ужаса.

То был последний минутный проблеск сознания; еще один глубокий вздох – и все было кончено.

– Умер! – тихо сказал доктор.

Майя с громкими рыданиями опустилась на пол. По щекам Дернабурга струились горькие слезы; он поцеловал холодящий лоб сына, потом обернулся к невестке, помог подняться и прижал к себе.

– Теперь твое место здесь, Цецилия! – сказал он с глубоким волнением. – Ты вдова моего сына и моя дочь; я буду для тебя отцом!

В городе, служившем железнодорожной станцией для Оденсберга, находилась известная гостиница «Золотая овца». Непосредственная близость вокзала и непрерывная связь с оденсбергскими заводами приносили ей большие доходы – все, кто ехал в Оденсберг или оттуда, обычно останавливались в ней.

Первый владелец гостиницы давно умер, но его вдова нашла ему преемника в лице Панкратиуса Вильмана. Некогда он поселился в гостинице как обычный постоялец с намерением поискать себе в городе какую-нибудь работу, но потом предпочел приударить за богатой вдовой и разделить с ней ее уютное гнездышко; ему посчастливилось, и он прекрасно устроился, предоставив жене кухню и погреб, а на себя взял обязанность занимать посетителей и на собственном примере демонстрировать превосходные качества кухни своей гостиницы.

В пасмурное октябрьское утро перед гостиницей Вильмана стоял полузакрытый экипаж доктора Гагенбаха; сам доктор со своим племянником сидел в уютной хозяйской приемной на верхнем этаже, куда поселяли лишь избранных посетителей. Дагоберт собирался в путь; он должен был отправиться в Берлин для поступления в университет. По-видимому, жизнь в Оденсберге неплохо повлияла на молодого че-

ловека – он выглядел гораздо свежее и здоровее, чем весной.

Вильман тоскливо объявил доктору, что чувствует себя, бесспорно, лучше с тех пор, как стал строго придерживаться его советов, но едва не умирает с голоду. Гагенбах, к ужасу толстяка, велел продолжать тот же метод лечения.

– У вас сегодня большое оживление, – сказал он. – Внизу, в приемной, толкотня, как в пчелином улье. Я слышал, здесь устраивается большое собрание перед выборами и вообще у вас заседают социал-демократы со всего города. Во всяком случае то, что эти господа выбрали «Овцу», – добрый знак: это свидетельствует, по крайней мере, о их мирных намерениях.

– Господин доктор! Не насмевайтесь надо мной! Я просто в отчаянии! В прошлом году я выстроил для завсегдаев новый зал; это самый большой зал во всем городе, и вдруг теперь эти нигилисты, эти революционеры и анархисты устраивают там свои собрания! Какой ужас!

– Если эти нигилисты внушают вам такой ужас, то зачем же вы принимаете их в своем доме? – сухо спросил Гагенбах.

– А разве я могу воспротивиться? Они разорят мою гостиницу, чего доброго, подложат динамит! Я не посмел отказать, когда Ландсфельд потребовал у меня зал. Я дрожал перед этим человеком, да, право, дрожал! Но кем окажусь я теперь перед остальными моими посетителями? Ведь они мне этого не простят. И что скажет господин Дернбург!

– По всей вероятности, ему безразлично, собираются ли

социалисты здесь или где-то в другом месте, а знакомства с ним вы через это не лишитесь, ведь он никогда еще не останавливался у вас.

– О, что вам пришло в голову? В моем-то скромном доме! Оденсбергские господа приезжают всегда прямо на вокзал, но все служащие останавливаются у меня, и вообще я живу главным образом благодаря сообщению между Оденсбергом и городом и никак не желал бы...

– Ссориться с какой-либо партией! Что ж, это разумно! Говорят, сегодня будет выступать Рунек? Значит, в вашем большом зале не останется ни одного свободного местечка, и вы заработаете кругленькую сумму.

Вильман в ужасе поднял глаза и обе руки.

– Что мне заработок! Но не могу же я забросить свои дела в такие тяжелые времена! Я отец семейства, у меня шестеро детей.

– Ну, по вас не скажешь, что времена такие тяжелые, – насмешливо заметил доктор. – Кстати, в настоящую минуту вы поразительно напоминаете своего покойного двоюродного брата-пустынника; он точно так же горестно поднимал очи к небу. Пойдем однако, Дагоберт, пора, иначе мы пропустим поезд.

Он допил пиво и встал. Толстый хозяин проводил его до самого крыльца и еще раз униженно попросил сообщить Дернбургу, что он всей душой ратует за порядок, но в связи с тем, что дела у него идут из рук вон плохо, он, как отец

семейства...

– Я скажу ему, что вы и в этом случае – жертва своей профессии, – прервал Гагенбах эту элегическую речь. – Можете спокойно продолжать дрожать и загребать денежки. У вас превосходное пиво, и, без сомнения, эти господа сумеют оценить его; оно настроит их на мирный лад и спасет вашу гостиницу, если вдруг дело дойдет до крайности.

Вильман укоризненно покачал головой в знак несогласия с таким мнением и с поклоном распрощался с гостями. Доктор и Дагоберт отправились на станцию, к которой уже подошел поезд. Шагая с племянником взад-вперед по платформе, Гагенбах напутствовал его:

– Очень прошу Тебя об одном – учись в Берлине прилежно и не затевай таких глупостей, как, например, этот Рунек. До Берлина он был вполне разумным человеком, а в Берлине попал в общество нигилистов. Говорю тебе, мальчик, если ты позволишь себе что-либо подобное...

Он сделал такое сердитое лицо, что Дагоберт испугался и, приложив руку к сердцу, воскликнул с трогательной искренностью:

– Я не пойду к нигилистам, милый дядя, право, не пойду!
– Да ты для них и не особенная находка, но, к сожалению, падок на всевозможные глупости. Я надеюсь, однако, что то твое бессмысленное стихотворение «К Леони» было первым и последним! А вот и свисток! Багаж у тебя? Входи же! Счастливого пути! – и доктор, захлопнув дверцу вагона,

отступил.

Дагоберт с облегчением вздохнул, потому что в его боковом кармане покоилось длинное, трогательное прощальное стихотворение «К Леони». После первой неудачной попытки поэт не посмел лично вручить обожаемой особе изливание своих чувств и решил послать его по почте из Берлина вместе с уверением, что его любовь будет вечной, даже если между ним и предметом его страсти станет суровый свет.

Между тем Гагенбах отыскал начальника станции и спросил, не опоздал ли берлинский курьерский поезд.

– Нет, поезд придет по расписанию ровно через десять минут, – ответил тот. – Вы кого-то ждете?

– Молодого графа Экардштейна. Он должен приехать сегодня.

– Граф Виктор приедет? Но ведь говорили, что между ним и братом произошел окончательный разрыв тогда, весной, когда он так внезапно уехал. Значит, в Экардштейне плохи дела?

– По крайней мере, настолько, что пришлось известить графа Виктора; он единственный брат.

– Да, да... владелец майората не женат, – многозначительно проговорил начальник станции.

Гагенбах ожидал поезд не один; появился Ландсфельд с группой рабочих, которые, очевидно, хотели кого-то встретить и возбужденно рассуждали о предстоящих выборах. Наконец поезд прибыл; из него высыпало такое множество пу-

тешественников, что на платформе и в пассажирском зале началась суета.

Гагенбах шел вдоль поезда, высматривая графа, как вдруг увидел высокую фигуру Рунека, только что вышедшего из вагона. Оба остановились, и Рунек быстро сделал движение, как будто хотел подойти к доктору; но Ландсфельд уже заметил его и протиснулся к нему вместе с другими встречающими. Окружив со всех сторон, они шумно приветствовали его, а уходя с ним со станции, крикнули дружное «ура».

– Народный трибун плывет на всех парусах, – с досадой пробормотал доктор. – Милый сюрпризец преподнес он Дербургу! Интересно узнать, какого мнения об этом наши оденсбергцы; они тоже тут и, как кажется, их немало.

Он ускорил шаги, потому что увидел графа Экардштейна, вышедшего из последнего вагона в сопровождении какого-то пожилого господина. Виктор тоже заметил доктора и поспешил ему навстречу.

– Надеюсь, ничего не случилось в Экардштейне? – торопливо спросил он.

– Нет, граф, состояние больного уже третий день без изменений, но так как я был на станции, то решил встретиться и вас.

– Доктор Гагенбах, – обратился молодой граф к своему спутнику, – мой дядя, фон Штетен.

Гагенбах поклонился. Эта фамилия была ему знакома; он знал, что перед ним был брат графини Экардштейн. Штетен,

протянув ему руку, спросил:

– Вы лечите моего племянника?

– Да, я был приглашен по настоятельному желанию домашнего врача; мой коллега не хотел брать всю ответственность на себя.

– Он совершенно прав. Известия, приходившие от него, были так тревожны, что я решил сопровождать Виктора. Дело серьезно?

– Воспаление легких всегда серьезно, – уклончиво ответил доктор. – Надо рассчитывать на сильный организм больного, но все-таки мы сочли своей обязанностью не скрывать от графа опасности, в которой находится его брат.

– Я вам очень благодарен за это, – сдавленным голосом сказал Виктор.

Он был бледен и взволнован; мысль о том, что, может быть, своего брата, с которым он расстался после ссоры, он увидит на смертном одре, очевидно, сильно мучила его. Пока Штетен подробно расспрашивал о состоянии больного, он почти все время молчал.

Перед станцией стоял экардштейнский экипаж, и доктор распрощался со своим собеседником, пообещав завтра рано утром приехать в замок. Затем он отправился в гостиницу, чтобы велеть своему кучеру готовиться в обратный путь.

В вестибюле гостиницы Гагенбах опять встретил Рунека и Ландсфельда, которые спрашивали хозяина, нет ли у него отдельной комнаты, так как им надо кое о чем поговорить. Эг-

берт поклонился доктору и нерешительно остановился, как будто сомневаясь, следует ему заговорить с Гагенбахом или нет; при этом он почти с робостью посмотрел на лестницу, наверху которой стоял Ландсфельд.

– Ну? – резко произнес тот.

Это междометие звучало более чем повелительно; оно выражало законное требование и решило исход. Молодой инженер упрямо закинул голову назад и подошел к доктору.

– На одно слово! Как дела в Оденсберге... Я хотел сказать... в господском доме?

Гагенбах холодно ответил на приветствие и сдержанно сказал:

– Как во всяком доме, в котором неожиданно появилась смерть. Вам, вероятно, известно, что молодой Дернбург умер?

– Да, я знаю, – сказал Эгберт. – Как переносит горе господин Дернбург?

– Ужасно, хотя старается не подавать вида. Но его железной природы не сломить никаким ударом, и у него нет времени горевать – положение дел в Оденсберге и окрестностях требует его особенного внимания. Вам это должно быть известно лучше, чем мне!

Удар доктора не был отпарирован, и Эгберт невозмутимо продолжал расспрашивать:

– А Майя? Она очень любила брата.

– Она молода; в ее возрасте достаточно хорошо выпла-

каться и все пройдет. А вот госпожа Дернбург... она убита горем; я не думал, что она до такой степени будет страдать.

– Вдова Эриха? – тихо произнес Эгберт.

– Да! В первые дни она была в таком отчаянии, что я серьезно боялся за ее здоровье, да и теперь она еще плохо себя чувствует. Я никак не ожидал от нее такого проявления чувств.

Губы Рунека задрожали, но на последнее замечание он ничего не ответил.

– Поклонитесь от меня Майе, может быть, она и примет мой поклон, – быстро сказал он. – Прощайте!

Он повернулся к лестнице, на которой продолжал стоять Ландсфельд, и вместе с ним отправился наверх, а Гагенбах подозвал своего кучера и сел в экипаж.

Рунек и Ландсфельд вошли в комнату. Эгберт сел и подпер голову рукой. Он был бледен; на его лице появилась суровая, горькая складка, которой раньше не было. По-видимому, новый кандидат в члены рейхстага не особенно радовался чести, выпавшей на его долю. Ландсфельд запер дверь и, подойдя к Рунеку, резко спросил:

– Есть у тебя, наконец, время для нас?

– Мне кажется, оно всегда у меня было, – последовал короткий ответ.

– Что-то не похоже. Ты заставил меня, точно мальчишку, стоять на лестнице и дожидаться, когда тебе будет угодно закончить разговор с доктором.

– Почему ты не ушел без меня?

– Потому что мне было забавно видеть, как ты не в силах оторваться от людей, которые давно знать тебя не хотят, и продолжаешь самым сентиментальным образом осведомляться, как они поживают.

– Тебе-то что до этого? – угрюмо сказал Эгберт. – Это мое дело.

– Не совсем, мой милый! Ты наш кандидат, а потому обязан окончательно порвать отношения с враждебным лагерем. Ты должен теперь прежде всего заботиться о популярности, а ты своим поведением всех отталкиваешь от себя и даже становишься подозрительным, заметь себе это!

– Благодарю за добрый совет, но я сам знаю, что должен делать.

– Ого! Ты что-то расхрабрился! – насмешливо сказал Ландсфельд. – Ты, верно, уже видишь себя всемогущим вождем, первой особой в рейхстаге? Вообще в тебе есть очень опасная жилка барина. Этим ты удивительно похож на оденсбергского старика. Только нам это не подходит! Если ты будешь так продолжать, то сам себя загубишь.

Эгберт вдруг поднялся и, нахмурившись, вплотную подошел к Ландсфельду.

– К чему все это? Скажи лучше прямо, что ты завидуешь тому, что наша партия остановила свой выбор на мне; ты не можешь простить, что меня предпочли тебе, а между тем лучше других знаешь, что я вовсе не хотел этого. Я с

удовольствием предоставил бы это место тебе!

– Чего я хотел, чего ждал, здесь не об этом речь, – холодно ответил Ландсфельд. – У меня нет шансов быть избранным, а у тебя они есть, следовательно, я должен уступить. И я сделал это беспрекословно. Я знаю, что такое дисциплина, и подчиняюсь ей; если бы и другие поступали так же!

Рунок подошел к окну.

– Как дела в Оденсберге? – спросил он.

– Хорошо, по крайней мере, лучше, чем мы могли надеяться. Старик, – Ландсфельд особенно настойчиво повторял это слово, говоря о Дернабурге, потому что знал, как оно задевает его товарища, – старик, правда, все еще воображает себя непобедимым, но в первый же день, выборов у него раскроются глаза. Мы добросовестно поработали, теперь твоя очередь. От твоей сегодняшней речи зависит многое. Часть оденсбергцев все еще на стороне Дернабурга, другие колеблются; сегодня ты должен убедить их и привлечь на нашу сторону.

– Я исполню свой долг, – хмуро сказал Эгберт, – но сомневаюсь в успехе.

– Почему? Послушай, с тех пор как мы избрали тебя для борьбы с оденсбергским стариком, ты производишь на меня впечатление птицы с перебитым крылом. То, что ты говорил в последнее время в Берлине, было довольно слабо и скучно. Прежде ты блистал воодушевлением и увлекал за собой всех; теперь, когда на карту поставлено все, ты ни рыба ни

мясо. Неужели ты так же по уши влюблен в этого Дернбурга, как и он в тебя? Я думаю, смерть единственного сына нанесла ему не такую тяжелую рану, как твой уход. Вот-то будет трогательное зрелище, когда у вас завяжется борьба!

– Ландсфельд, может, хватит! – раздраженно вырвалось у молодого человека. – Я уже просил тебя не лезть в мои личные дела, а теперь запрещаю. Ни слова об этом!

– Да, да, в Радефельде ты пригрозил выбросить меня за дверь, но здесь, в чужом доме, ты, надо полагать, откажешься от такого намерения. Однако к делу! Я хотел только втолковать тебе, что сегодня вечером ты должен оставить всякие сентиментальности и церемонии, если хочешь, чтобы твоя речь произвела впечатление. Ты знаешь, что ждет от тебя наша партия?

– Знаю.

– Ну так и поразмысли над этим. Мы должны переманить на свою сторону Оденсберг. Ты должен убедительно выступить против Дернбурга и против всего, что он устроил на заводах; ты должен показать этим людям, что его школы, больницы, пенсионные кассы, которыми он привлекает их к себе, в сущности, – милостыня, которую он бросает рабочим, в то время как сам загребает миллионы. Нам они не верят, тебе поверят, потому что всем известен твой авторитет. Старик хотел сделать тебя хозяином на своих заводах, первым после себя, а ты ради нашего дела отказался от всего; именно это делает тебя всемогущим среди оденсбергцев, и только

поэтому мы назначили тебя кандидатом. Ты должен разбить противника наголову.

Эгберт медленно обернулся; его лицо выражало мрачную решимость, и он сказал с горькой насмешкой:

– Да, конечно, я должен... я должен! Воли у меня больше нет! Поговорим о чем-нибудь другом.

Веселая жизнь, которая кипела в Оденсберге все лето и центром которой была юная чета обрученных, стихла; семья носила глубокий траур по тому, кого опустили в могилу всего два месяца тому назад, и в доме царило тяжелое, гнетущее настроение.

Исключением была только Майя. Гагенбах оказался прав: в семнадцать лет девушка выплachtetся и быстро утешится, даже потеряв любимого брата, а в данном случае к тому же рядом находился особый утешитель. Оскар фон Вильденроде, само собой разумеется, остался в Оденсберге, и хотя об открытой помолвке теперь нечего было и говорить, но Дербург по всей форме дал свое согласие на брак.

Майя была невыразимо мила в своем тихом, молчаливом счастье, а Оскар в семейном кругу выказывал ей самое нежное внимание и преданность. Он сильно изменился, весь как-то смягчился под влиянием расцветающего счастья, которое вело к цели всей его жизни.

Сам Дербург переносил утрату сына сдержанно и молча; он искал утешения в работе и с большим рвением отдавался ей. Смерть Эриха неожиданно сдружила его с невесткой. Хотя раньше он и принял невесту сына как Дочь, но в глубине души все-таки был против этого брака; тщеславное, веселое дитя света оставалось чуждо этому пуританину; зато вдова

со своим душераздирающим горем и с молчаливой тоской встретила в нем истинно отеческую любовь. С того мгновения, когда он обнял Цецилию у смертного одра Эриха, она заняла место в его сердце.

Правда, Дернбург не подозревал, что безутешное горе Цецилии было только раскаянием, раскаянием в том, что она предпочитала объятия смерти объятиям своего мужа, именно в эту минуту расставшегося с жизнью. Впрочем, самого худшего она не знала: она не знала, что причиной его смерти были именно ее злополучные слова. Оскар заручился молчанием лакея, видевшего, как Эрих поднялся наверх и пошел в комнату, а кроме него об этом не знал никто. Но молодая женщина подозревала такую возможность и искала защиты у тестя, потому что не могла победить тайный ужас, который чувствовала к брату.

Впрочем, Дернбург очень мало времени посвящал семье, потому что, кроме обычной работы на заводе, ему очень много приходилось заниматься предстоящими выборами. Консервативная партия не сомневалась, что и теперь мандат останется за ним, но скоро все убедились, что борьба будет жестокой, что противники работают изо всех сил; отсюда возникла необходимость им так же ревностно приняться за дело. Тут Дернбург нашел помощника в лице фон Вильденроде. Последний быстро освоился с местными политическими условиями, и его проницательность и точность суждений изумляли людей, много лет занимавшихся этими делами. Ба-

рон участвовал во всех собраниях и заседаниях и взялся за дело с большим рвением; бывший дипломат чувствовал себя в политике как рыба в воде, и не было ничего удивительного в том, что его влияние на Дербурга росло с каждым днем.

Наконец наступил день, когда должна была состояться последняя, решительная борьба у самой избирательной урны. В директорском здании оденсбергских заводов с утра царило оживление. В нижнем этаже, в зале заседаний, собрались все старшие служащие; сюда же приходили телеграммы из города и являлись посыльные из деревенских округов; из этих донесений можно было иметь хоть приблизительное представление о ходе выборов.

Было уже довольно поздно, когда вошел доктор Гагенбах; он был встречен упреками за продолжительное отсутствие.

– Где вы пропадаете, доктор? – с досадой крикнул ему директор. – Мы сидим тут все вместе, волнуемся, беспокоимся, а вы и глаз не показываете.

– Не могу же я запретить людям болеть в день выборов! Мне еще утром пришлось отправиться в Экардштейн, и я не мог уехать, прежде чем все не кончилось.

– Граф умер? – удивленно спросил директор.

– Два часа тому назад.

– Для графа Виктора это внезапная перемена фортуны, – заметил главный инженер. – Еще вчера он был бедным, зависимым лейтенантом, а сегодня – обладатель большого экардштейнского майората! Говорят, граф Конрад был не особен-

но любезен со своим младшим братом.

– Да, и тем не менее этот брат в последнее время неплохо к нему относился. Теперь, надеюсь, вы извините мое отсутствие; да во мне и не было здесь надобности. Как идет дело? Надеюсь, хорошо?

– Не особенно-то хорошо, – заметил главный инженер. – Известия из деревенских округов удовлетворительны, но в городе социал-демократы явно берут верх.

– Ну, этого следовало ожидать, – вмешался Виннинг, управляющий техническим бюро. – Все зависит от Оденсберга; благодаря ему перевес будет на нашей стороне.

– Да, если только мы можем рассчитывать на Оденсберг, – сказал директор. – Но я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчете. Партия Рунека среди рабочих гораздо многочисленнее, чем мы предполагали.

– Рунок – превосходный оратор, – серьезно сказал Виннинг, – и его речь на днях в гостинице «Золотая овца» увлекла всех слушателей, хотя ее не сравнить с предыдущими его выступлениями; прежде он говорил холодно, но каждое его слово было как удар молота, а на этот раз он торопился, как лошадь, которая несется к пропасти.

– Вероятно, он испугался за свой мандат, – насмешливо заметил главный инженер. – А, вот идет Гельман! Может быть, он сообщит что-нибудь важное.

Вошел один из младших служащих и подал только что полученную телеграмму. Директор распечатал ее, прочел и

молча передал Гагенбаху, стоявшему рядом; тот взглянул на нее и покачал головой.

– Это очень неприятно! Итак, в городе налицо победа социалистов.

Телеграмма обошла присутствующих, а директор направился к телефону, чтобы сообщить патрону полученное известие.

– Теперь все зависит только от Оденсберга, – сказал главный инженер. – Было очень неразумно именно теперь, непосредственно перед выборами, выгнать этого крикуна Фальнера; это обозлило рабочих и обойдется нам, может быть, в несколько сот голосов; но господина Дербурга не переубедишь.

– Неужели же он должен был позволить, чтобы этот человек совершенно открыто выступал против него в его же мастерских? – вмешался Виннинг. – В Оденсберге вообще никогда ничего подобного не допускали, а теперь это было бы непростительной В слабостью.

– Но я боюсь, что здесь нас ловко обошли. Фальнер знал, что его ждет; но он принадлежит к числу недавно поступивших, которые немного теряют, оставляя рабочее место, а потому и пошел на это. Его должны были выгнать, история с ним должна была взволновать рабочих, на это и рассчитывали. Я говорил это патрону, но напрасно; его единственным ответом было: «Я не потерплю возмущения и подстрекательств на своих предприятиях, этот человек будет сразу

уволен!»). Он сам дал нашим противникам в руки оружие.

Директор, возвратившийся от телефона, услышал последние слова и многозначительно сказал:

– Если бы все обошлось только потерей голосов! Вчера нам сообщили, что рабочие собираются вступить за Фальнера и потребовать, чтобы его оставили на работе. Если они действительно сделают это, у нас начнется война.

– Но они не сделают этого, потому что знают своего хозяина, – вмешался доктор, – он настаивает на своем, хотя бы ему пришлось закрыть все свои заводы.

– А если бы и так, что за дело до этого Ландсфельду и его приверженцам? – воскликнул главный инженер. – Они хотят борьбы, им все равно, какой ценой, какими жертвами они добьются ее. Я остаюсь при своем мнении: увольнение Фальнера было ошибкой. К сожалению, он еще здесь и только послезавтра оставит работу. Кто знает, что еще из этого выйдет! Если выборы кончатся неудачно для нас и возбуждение рабочих вследствие этого возрастет, нам могут устроить очень неприятный сюрприз.

С таким же нетерпением окончания выборов ожидали в господском доме. Впрочем, Дернбург с неизменным спокойствием принимал сводки и устные донесения, с которыми время от времени к нему являлись служащие. Для него избрание не было вопросом честолюбия; обязанности депутата отнимали у него время, которое он мог бы посвятить своему делу, и теперь, с приближением старости, он чувствовал

иной раз, что силы начинают покидать его; он охотно уступил бы место любому единомышленнику, но с его именем была связана победа его партии, а так как исход выборов зависел от Оденсберга, то избрание являлось для него еще и вопросом чести.

Дернбург с невесткой были одни. Молодая женщина в последнее время становилась все ближе своему свекру; ей он иногда позволял заглянуть в свою душу, которую никому не открывал. Одна она знала, отчего сегодня так глубоки морщины на его лбу; вся горечь этой борьбы заключалась для Дернбурга в том, что его противника звали Эгбертом Рунком.

– Оскар так волнуется, будто речь идет о его собственной кандидатуре, – сказал он, перечитав только что поданные ему бумаги.

– Меня тоже удивляет, что мой брат так ударился в политику, – ответила Цецилия, слегка покачав головой. – Прежде ему не было до нее дела.

– Потому что он много лет оставался чужим родине. Так надолго уйти от дел непростительно! Я только теперь вижу, что он может сделать, если дать ему возможность действовать.

– О, я думаю, Оскар может сделать очень много, если серьезно захочет, а он хочет начать в Оденсберге новую жизнь, он обещал мне.

Слова Цецилии прозвучали как-то странно, почти как из-

винение, но Дернбург не обратил на это внимания.

– Желая ему удачи и себе тоже, – серьезно сказал он. – Скажу тебе откровенно, Цецилия, до сих пор я относился к твоему брату с некоторым предубеждением, теперь оно исчезло. В последние недели он был мне самой верной, самой надежной опорой; я постараюсь отблагодарить его за это.

Молодая женщина ничего не ответила; она смотрела в окно на пасмурный октябрьский день. Смеркалось. Лакей принес лампу; вместе с ним в комнату вошли Вильденроде и Майя. Барон казался взволнованным и озабоченным. Дернбург быстро обернулся к нему.

– Ну, что, Оскар? Что нового? Ничего хорошего, если судить по вашему лицу. Получены новые известия?

– Да, из города. Наши опасения сбылись: социалисты получили перевес.

– Получили-таки! – в сердцах воскликнул Дернбург. – Впервые им удалось настоять на своем! Ну, с помощью оденсбергских голосов мы поумерим их радость.

Глаза Цецилии боязливо искали взгляда брата; по его лицу она видела, что он не разделяет уверенности Дернбурга; в его голосе тоже слышалось некоторое колебание, когда он ответил:

– Конечно, за Оденсбергом остаются решающие голоса, и, надо надеяться, они будут в нашу пользу, тем не менее мы должны быть готовы ко всему.

– Но не к тому же, что мои рабочие изменят мне? – пе-

ребил Дербург. – Ничего подобного я не могу ожидать от них, никогда! Запаситесь терпением, Оскар! Выборы будут скоро окончены.

Он встал, но его нервная ходьба взад и вперед по комнате и беспрестанное поглядывание на часы показывали, что он далеко не так хладнокровен, как казался внешне. Вдруг его взгляд упал на Майю, вошедшую в комнату почти робко и тотчас подсевшую к Цецилии; он остановился.

– Моя бедная малютка совсем запугана, – сказал он с состраданием. – Ах, эта ужасная политика! Мужчины так ею увлечены, что ни о чем ином и думать не могут. Подойди ко мне, Майя!

Девушка прижалась к отцу.

– Ах, папа, я так мало разбираюсь во всем, что касается политики! Иной раз мне бывает очень стыдно за свое невежество.

– Тебе и незачем ломать над этим головку, дитя мое. Ты можешь смело предоставить политику Оскару и мне.

– Но я, конечно, еще научусь этому, – сказала Майя с тяжелым вздохом. – Ведь научилась же Цецилия... О, папа, я ревную к Цили! Она одна владеет теперь твоим сердцем, ты все обсуждаешь с ней, а меня постоянно устранишь, как маленькую, глупую девочку.

– Это ужасно с моей стороны! – шутливо ответил Дербург, ласково глядя на невестку.

– Право, я не понимаю, чего ради вы все так беспокои-

теть, – продолжала девушка, надув губки. – Ведь папа будет выбран, как всегда?

– Да, я думаю, – с уверенностью сказал Дернбург.

– Ну, так, значит, все в порядке, и нам не о чем грустить! Правда, злой Эгберт наделал столько хлопот папе, и все только и говорят о нем...

– Не вспоминай о нем, Майя! – сурово и мрачно перебил ее Дернбург. – Имя инженера Рунека каждый день мозолит мне глаза на выборах, но в своей семье я не желаю его слышать; с ним мы порвали раз и навсегда.

Девушка замолчала, и наступила довольно длительная пауза, Время шло, а ожидаемых известий все еще не было. Наконец явился лакей и тихо сказал барону несколько слов; Оскар быстро поднялся и вышел. В слабо освещенной приемной он нашел директора и Виннинга, ожидавших его.

– Вы хотите говорить со мной, господа? – поспешно спросил Вильденроде. – Какие известия?

– К сожалению, неприятные, – нерешительно начал директор, – очень неприятные! Господину Дернбургу следует приготовиться к горькому разочарованию. Рунек победил; три четверти оденсбергских голосов отданы за него.

Барон побледнел, и его рука судорожно сжалась.

– Не может быть! Это невероятно! – произнес он прерывающимся голосом. – А деревенские округа, наши рудники? Есть уже известия оттуда?

– Нет, но они не могут изменить результат. Рунек. побе-

дил в городе и в Оденсберге; этого достаточно, чтобы за ним было первенство. Вот цифры.

Вильденроде молча взял бумагу из рук директора и прочел заметки; они подтверждали сказанное; партия Дернбурга проиграла.

– Мы не можем сообщить это патрону, – заметил Виннинг, – он совершенно не подготовлен.

– Я сообщу ему, – сказал барон, кладя бумагу в карман. – Еще одно, господа! Весьма возможно, что когда исход выборов станет известен, то будут сделаны попытки к манифестациям; в данном случае они будут прямым оскорблением для патрона. Этот опьяненный победой сброд способен на все, надо иметь это в виду. Всякая попытка к такого рода действиям должна быть беспощадно подавлена, каковы бы ни были ее последствия. За это отвечаете вы, господин директор. Нам нечего больше церемониться, и мы дадим это почувствовать.

Он коротко поклонился и вышел. Директор и Виннинг переглянулись; наконец первый тихо заговорил:

– Кто, собственно, наш хозяин – господин Дернбург или барон Вильденроде?

– По-видимому, барон, – раздраженно ответил Виннинг. – Он раздает приказания по всей форме, да к тому же такие, которые могут иметь непредсказуемые последствия. Манифестации будут непременно, уж об этом позаботятся Фальнер и компания.

Вильденроде взял на себя очень неприятную обязанность. Когда он вернулся в кабинет, Дернбург встретил его нетерпеливым вопросом:

– Что там такое? Зачем нас отвлекают посторонними делами? Не понимаю, что значит это упорное молчание! Известия могли бы уже быть здесь.

– Они получены, как я только что узнал, – ответил Вильденроде.

– Да? Почему же о них до сих пор не доложили?

– Директор и Виннинг не захотели сделать это лично, они обратились ко мне...

Дернбург задумался; впервые у него мелькнула мысль о возможности неудачи.

– К вам? Почему же не ко мне?

– Они предоставили мне право сообщить вам результат, – сказал барон, еле сдерживая волнение. – Они не посмели явиться к вам...

Дернбург изменился в лице, но высоко поднял голову.

– Разве уже дошло до того, что со мной считают возможным ломать комедию? Говорите, в чем дело!

– Рунок одержал победу в городе... – нерешительно начал Вильденроде, – и... в Оденсберге.

– В Оденсберге? – повторил Дернбург, глядя на барона так, будто не понимал его слов. – Мои рабочие...

– Были большей частью за вашего противника. Рунок избран.

В комнате послышался сдавленный крик; он вырвался из уст Цецилии. Майя испуганно смотрела на отца, инстинктивно чувствуя, каким страшным ударом было для него это известие. Дербург как будто окаменел; наступило тягостное Молчание. Наконец он протянул руку за бумагой, которую Вильденроде вынул из кармана.

– У вас список?

– Да, вот он.

Дербург с кажущимся спокойствием подошел к столу, чтобы прочесть бумагу, но был смертельно бледен.

– Совершенно справедливо, – холодно произнес он. – Три четверти голосов за Рунека; меня прокатили.

– Это настоящая измена, перебежничество! – заговорил Вильденроде. – Правда, их несколько месяцев подстрекали и сбивали с толку. Вот к чему привело ваше великодушие, ваше слепое доверие! Вы знали взгляды и связи этого человека и тем не менее позволили ему пустить корни в Оденсберге! Он умно воспользовался обстоятельствами и заручился поддержкой единомышленников, теперь стоило ему подать знак, и они целыми толпами ринулись за ним. Он был у вас на правах сына, сегодня он отплатил вам за это!

– Оскар, Бога ради, замолчи! – тихо просила Цецилия, чувствовавшая, что каждое из этих слов было каплей яда, отравлявшего душу человека, сердце и гордость которого были смертельно ранены.

Но барон, ненавидя противника, не счел нужным деликат-

ничать и продолжал с возрастающей горячностью:

– Рунек будет торжествовать: он одержал блистательную победу... и против кого! Одно то, что он обошел вас, уже делает его знаменитостью. Весь Оденсберг скоро узнает о результатах выборов, избранника будут чествовать, крики радости будут доноситься до самого вашего дома, и вы будете слушать их.

– Я не буду их слушать! – порывисто произнес Дернбург, отступая на шаг назад. – Эти люди воспользовались своим правом избирателей; хорошо, я воспользуюсь своим правом хозяина и сумею оградить себя от оскорблений. Всякая попытка к демонстрациям по поводу этих выборов будет подавлена; пусть директор примет необходимые меры. Скажите ему это, Оскар.

– Это уже сделано; я предвидел ваше распоряжение и дал директору нужные указания.

При других обстоятельствах Дернбург был бы очень неприятно задет таким вмешательством; теперь же он увидел в нем только заботу о себе и не подумал сделать выговор.

– Хорошо, – коротко сказал он, – замените, меня на сегодня, Оскар; я не в состоянии никого видеть. Уйдите, оставьте меня одного!

– Папа, позволь, по крайней мере, остаться мне! – трогательно попросила Майя, но отец мягко отстранил ее.

– Нет, дитя мое, не надо! Оскар, уведите Майю; я хочу побыть один.

Барон прошептал несколько слов невесте и увел ее из комнаты.

Дверь за ними закрылась. Дернбург думал, что остался один и потерял самообладание; он прижал кулаки к вискам и глухо застонал. Он страдал не от сознания своего унижения, в его горе было нечто более благородное, чем уязвленное честолюбие. Быть покинутым своими рабочими, благодарностью которых он заслужил, как он думал, отеческой заботой о них в течение тридцати лет! Быть брошенным ради другого, которого он любил, как родного сына, и который так отблагодарил его за любовь! Этот удар сломил даже его железную волю.

Вдруг он почувствовал, что чьи-то руки обвивают его шею; он вскочил и увидел вдову своего сына. Бледная Цецилия смотрела на него с таким выражением, какого он еще никогда не видел.

– Что с тобой? – сурово спросил он. – Разве я не сказал, что хочу побыть один? Все ушли...

– А я не уйду, – дрожащим голосом сказала Цецилия. – Не отталкивай меня, отец! Ты принял меня в свои объятия и прижал к сердцу в самую тяжелую минуту моей жизни, теперь эта минута наступила для тебя, и я разделю ее с тобой!

Потрясенный пережитым, Дернбург не выдержал; он молча привлек молодую женщину к себе на грудь, и, когда нагнулся над ней, горячая слеза упала на ее лоб. Цецилия вздрогнула; она знала, по ком была пролита эта слеза.

Экардштейн перешел к новому владельцу. Прошла уже неделя с тех пор, как граф Конрад был погребен в фамильном склепе, а его младший брат стал владельцем майората. У молодого офицера, очутившегося в совершенно новом положении, появились новые обязанности. Счастье, что рядом был дядя, его бывший опекун. Штетен сам был помещиком и теперь оставался в Экардштейне, чтобы помочь племяннику и словом и делом.

После туманной погоды, тянувшейся последнюю неделю, наступил ясный, мягкий осенний денек. Солнце ярко освещало большой лес, расстилавшийся между Оденсбергом и Экардштейном. По одной из лесных дорог шли граф Виктор и Штетен; они возвращались в замок после осмотра леса.

– Я советовал бы тебе выйти в отставку и полностью посвятить себя Экардштейну, – сказал Штетен. – Почему ты хочешь передать имение в чужие руки?

– Я готовился к военной службе и очень мало смыслил в сельском хозяйстве – отговаривался Виктор.

– Если захочешь, то научишься хозяйничать и, мне кажется, ты вовсе не питаешь такого пристрастия к расшитому мундиру, чтобы считать жертвой отказ от него. Зачем кому-то подчиняться, когда ты можешь быть сам себе господином на собственной земле? Наверно, тебе что-то не нра-

вится в Экардштейне? Ведь между тобой и братом произошла стычка. Я знаю, виноват был главным образом Конрад, это доказывается уже одним тем, как он помирился с тобой перед смертью, но именно потому-то воспоминание об этой ссоре и нужно было бы забыть.

– Да, конечно! Но я стал чужим в Экардштейне и пока не думаю здесь оставаться; я поручу имение управляющему, а потом увидим, что делать.

Эти слова Виктора прозвучали торопливо. Он был серьезен и подавлен; в нем не было и следа прежней жизнерадостной шаловливости. Дядя пытливо посмотрел на него, но не сказал ничего и перевел разговор на другую тему.

– Странно, что никто из оденсбергцев не был на похоронах, – заговорил он. – Если принять во внимание ваши прежние отношения, то, казалось бы, они обязаны были явиться лично, а между тем они прислали только холодно-вежливое письмо с выражением соболезнования.

– От Дернбурга теперь нельзя особенно требовать соблюдения приличий, – уклончиво ответил Виктор, – у него так много других забот в голове. Последние события в Оденсберге были не из приятных.

– Конечно, и, как кажется, добром это не кончится. Учитывая характер Дернбурга, на прощение надеяться нечего. По-видимому, он сущий кремьень.

– В данном случае он прав. Демонстрации, устроенные в Оденсберге вечером в день выборов, должны были глубоко

оскорбить его; неужели он должен был терпеть, чтобы его собственные рабочие праздновали его неудачу и на все лады чувствовали его противника? Для этого надо иметь более чем ангельское терпение.

– Следовало прогнать самых ярых крикунов, а остальных простить; вместо этого он сразу уволил сотни рабочих; все, кто хоть как-то был в этом замешан, уволены. Требования остальных о том, чтобы их товарищей не увольняли, и угроза в противном случае забастовать могут привести к очень плохому результату...

– Я тоже боюсь этого. Все это выглядит весьма неприятно...

Виктор вдруг замолчал и остановился. Они должны были пересечь шоссе, проходившее через лес; как раз в эту минуту мимо быстро проехал открытый экипаж, в котором сидели две дамы в трауре. Увидев графа, младшая обернулась с выражением радостного изумления и крикнула кучеру, чтобы тот остановил лошадей.

– О, граф Виктор, как я рада вас видеть... если бы только причина вашего приезда не была так печальна!

Виктор с глубоким поклоном подошел к дверце экипажа, но, судя по его виду, можно было предположить, что он предпочел бы поклониться издали. Он едва притронулся к маленькой ручке, которая дружески протянулась ему навстречу, и в его словах чувствовались какое-то отчуждение и сдержанность, когда он ответил:

– Да, причина очень печальна. Позвольте представить вам моего дядю, господина фон Штетена; фрейлейн Майя Дернбург, фрейлейн Фридберг.

– Собственно говоря, мне нужно только возобновить старое знакомство, – улыбаясь сказал Штетен. – Когда много лет назад я приезжал в Экардштейн, я видел вас несколько раз. Правда, бывшая девочка стала уже взрослой барышней, которая, конечно, уже не помнит меня.

– По крайней мере, весьма смутно! Но тем яснее помню те веселые часы, которые я проводила в Экардштейне с графом Виктором и Эрихом. Ах, и в нашем доме побывала смерть! Вы знаете, Виктор, когда и как умер наш бедный Эрих?

– Знаю, – тихо ответил граф. – Как много я потерял со смертью моего друга детства. Его вдова еще в Оденсберге, как я слышал?

– О, конечно, мы не отпустим ее; Эрих так любил Цецилию. Она остается с нами.

– А... барон Вильденроде? – просто спросил Виктор, но его глаза пылливо, почти боязливо устремились на лицо молодой девушки, покрывшееся густым румянцем.

– Господин фон Вильденроде? – смущенно повторила Майя. – Он тоже еще в Оденсберге.

– И, вероятно, останется там?

– Я думаю, – ответила Майя со странным смущением, которое никак не могла побороть и которое, в сущности, было весьма глупым.

Нет ничего плохого в том, что товарищ ее детских игр сегодня же узнает то, что уже недолго будет оставаться тайной? Но почему он так мрачно, так укоризненно смотрит на нее, точно она в чем-то виновата? Почему он вообще так сдержан и холоден?

Фон Штетен, говоривший с Леони, снова обратился к ним, но после, нескольких фраз Виктор положил конец разговору таким замечанием:

– Я боюсь, дядя, что мы слишком долго задерживаем дам. Позвольте просить вас, фрейлейн, передать наш поклон господину Дернбургу.

– Я передам. Но ведь вы сами приедете в Оденсберг?

– Если будет возможно, – ответил граф тоном, из которого стало ясно, что это никогда не осуществится.

Он поклонился и отступил, дамы кивнули, и экипаж покатил дальше.

– Эта Майя Дернбург стала прелестной девушкой, – сказал Штетен. – Не мешало бы тебе быть чуть-чуть менее церемонным, чем ты был сейчас. Насколько я знаю, ты очень дружил с ее братом.

Виктор, крепко сжав губы, мрачно смотрел вслед экипажу. Только когда дядя повторил свой вопрос, он встрепенулся.

– С кем? Ах, да, ты говоришь о бедном Эрихе! Ты видел его в Ницце именно в то время, когда он обручился. Ему было суждено наслаждаться счастьем всего неделю! Какая

печальная судьба!

– Кто знает, может быть, брак принес бы ему разочарование! Он умер полный счастья и веры в него, скорее, ему можно позавидовать. Как отнеслась молодая жена к своей участи?

– Говорят, вначале она была в отчаянии, да это и понятно.

– Она переживет этот удар, – заметил Штетен холодным, полупрезрительным тоном. – Молодая, богатая вдова, она, конечно, сумеет утешиться; брак дает ей право на часть состояния Дернбурга, а на это, без сомнения, и рассчитывали с самого начала.

Виктор изумленно взглянул на дядю и недоверчиво спросил:

– Ты думаешь, что при заключении этого брака какую-то роль играл расчет?

– Наверняка, по крайней мере, насколько это касалось Оскара фон Вильденроде. Ему нужно было, чтобы его сестра сделала богатую партию, и он пустил в ход все средства, чтобы достичь цели.

– Извини, дядя, но ты ошибаешься! Вильденроде, как говорят, богаты, даже очень богаты.

– Может быть, и говорят – барон, конечно, позаботился об этом; в действительности же дело обстоит совсем иначе. Но что нам до этого? Если Дернбург позволил себя провести, это его дело, ему следовало бы быть поосторожнее.

– Дядя, что значат эти намеки? – с беспокойством спросил

Виктор. – Ты хорошо знаешь этого Вильденроде? Что тебе известно о нем?

– Многое, но я нисколько не чувствую себя обязанным разыгрывать роль человека, который суется с предостережениями, о которых никто не просил; Дербург мне чужой. Я думаю, рано или поздно у него откроются глаза. К его счастью, смерть сына фактически разорвала семейные отношения, а Вильденроде не откажутся войти с ними в соглашение. Однако довольно о них; я не люблю говорить об этом.

– Но со мной ты должен говорить! – с горячностью воскликнул граф. – Я прошу тебя сказать мне все, что ты знаешь! Я должен это знать!

– Ого! Должен? Почему? Разве ты принимаешь такое живое участие в оденсбергской семье? Только что ты продемонстрировал полное равнодушие к ней.

Виктор молча опустил глаза перед вопросительным взглядом дяди.

– Я давно замечаю, что тебя что-то угнетает, и это «что-то» радикально изменило твою натуру. Что с тобой? Будь откровенен, Виктор! Может быть, твой друг, любящий тебя, как отец, посоветует и поможет тебе.

– Помочь ты мне не можешь, но я расскажу тебе все. Ты знаешь причину разрыва между мной и Конрадом. Брат иногда бывал суровым со мной и наконец свою материальную поддержку мне поставил в зависимость от одного условия: он планировал брак между мной и Майей Дербург, который

должен был освободить его от всяких дальнейших забот обо мне, а я... я, рассерженный и раздраженный, хотел во что бы то ни стало освободиться от этой тягостной зависимости и согласился. Я приехал сюда, увидел Майю и, забыв о всяких планах и расчетах, горячо полюбил это милое существо. Потом... потом я был довольно жестоко наказан за это.

– Тебе отказали? Быть не может!

– Майя ничего не знает, я с ней не объяснялся. Ее отцу рассказали о планах Конрада и выставили его в самом дурном свете; он потребовал от меня объяснений, а так как я не мог отрицать правду, то он отнесся к моему сватовству как к спекуляции самого низшего сорта, а ко мне самому – как к искателю счастья. Он наговорил мне столько обидного, столько обидного... – Виктор сжал губы. – Избавь меня от дальнейших расспросов!

– Так вот оно что! – задумчиво проговорил Штетен. – Да, конечно, зачем этому гордому промышленному князю нужен какой-то граф Экардштейн! Однако не отчаивайся, мой бедный мальчик; теперь обстоятельства вовсе не те, что были шесть недель тому назад; судьба сделала тебя хозяином Экардштейна и дала тебе возможность блистательно оправдаться в глазах старого упрямца; тебе стоит возобновить свое предложение.

– Я не решусь на это никогда! Майя потеряна для меня и потеряна навсегда!

– Ну-ну, не так безнадежно! Будущему тестю всегда мож-

но простить пару нелестных слов, тем более что он был не совсем неправ. Если гордость не позволит тебе решиться на еще одну попытку, предоставь мне сделать первые шаги. Я поговорю с Дернбургом.

– Чтобы он вежливым тоном сожаления ответил тебе, что его дочь – уже невеста барона Вильденроде? Мы лучше, сделаем, если не будем ставить себя в такое глупое положение.

– Что это тебе пришло в голову Вильденроде под сорок, а Майе...

– О, он обладает демонической притягательной силой и умеет употреблять ее в дело. Я убежден, что наговоры, которые так восстановили против меня Дернбурга, шли от него; я стал на его пути, он уже тогда рассчитывал получить руку Майи. И она не осталась равнодушна к нему; всюду говорят об их помолвке, и я только что убедился в справедливости этого: Майя выдала себя. Мне не на что больше надеяться!

Отчаяние, с каким это говорилось, ясно доказывало, как глубоко запала в его душу подруга детства.

– Это был бы, конечно, виртуозный ход со стороны Вильденроде, – сказал Штетен нахмурившись. – Итак, ему мало части сестры, он хочет лично получить оденсбергские миллионы! Пора открыть Дернбургу глаза; нельзя же допустить, чтобы его дочь стала добычей авантюриста.

– Авантюриста? Барон Вильденроде?..

– Он стал им, когда померк блеск его рода. Может быть, здесь столько же виновата судьба, сколько и он сам, но, как

бы то ни было, он потерял право занимать место в честной, уважаемой семье.

– И ты знал это еще в Ницце и молчал?

– Да неужели я должен был взять на себя роль доносчика? И перед кем? Какое я имел право вмешиваться в дела чужой семьи? Какое мне дело было тогда до Дернбурга? Без всякой причины не ставят к позорному столбу сына человека, которого много лет считали другом.

– Но ты мог бы как-то предостеречь Эриха!

– Бесполезно. Двумичие будущего зятя Эриха было известно всей Ницце, но Эрих слепо пошел в расставленные ему сети. «Однако успокойся! Теперь, когда я знаю, как ты относишься к его сестре, Я не стану деликатничать.

– Да, надо во что бы то ни стало спасти Майю! – порывисто воскликнул Виктор. – Дядя, будь откровенен со мной! Кто и что Такое этот Вильденроде?

– Сейчас узнаешь, – серьезно сказал Штетен, – но здесь не место рассуждать о подобных вещах; через десять минут мы будем в замке и там продолжим наш разговор.

Тем временем Майя и ее спутница ехали дальше. Они спешили на железнодорожную станцию встречать госпожу фон Рингштедт, ездившую в Берлин, чтобы приготовить квартиру Дернбургов для переезда туда на зиму. Избрание Дернбурга депутатом казалось семье делом решенным, и потому даже в домашних распоряжениях она сообразовалась с этим; теперь переезд в Берлин становился сомнительным, и старушка пока возвращалась в Оденсберг.

– Что это сегодня с графом? – задумчиво спросила Майя. – Он как нарочно прикидывается вовсе не тем, кем есть на самом деле, и, кажется, даже не обрадовался нашей встрече.

– Ведь он недавно потерял брата, – заметила Леони. – Если он стал серьезнее и сдержаннее, то это вполне естественно.

– Нет, нет, тут что-то другое! И весной Виктор уехал не простившись; правда, папа говорил, что его внезапно вызвали по делам службы, но в таком случае он мог бы написать. А теперь, когда я пригласила его в Оденсберг, казалось, он не выразил ни малейшей охоты ехать к нам. Что все это значит?

– Мне тоже бросилась в глаза сдержанность графа, – сказала Леони, – и именно поэтому вам не следовало так бесцеремонно вести себя с ним, Майя. Вы уже взрослая девица и

не должны позволять себе так свободно обращаться с соседом по имению.

– Виктор – не просто сосед по имению; ребенком он чувствовал себя одинаково дома как в Оденсберге, так и в Экардштейне; с его стороны очень дурно вдруг начать теперь корчить из себя постороннего и держаться так церемонно. Я скажу ему это, когда он придет к нам! О, уж я намылю ему голову!

Леони Фридберг опять стала распространяться на тему о приличиях, но это была проповедь перед глухой. Майя, ничего не слыша, раздумывала о только что случившемся. Она все еще видела мрачный, полный укоризны взгляд своего друга, и хотя была далека от причины такой перемены в нем, его отчуждение огорчало ее. Она только теперь почувствовала, как любит Виктора.

На станции их встретил доктор Гагенбах с неприятным известием: он слышал в городе о крушении поезда, которое, по слухам, произошло до полудня. Так как он знал, что фон Рингштедт была в дороге, то поспешил узнать обо всем; к счастью, ничего страшного не произошло. Вследствие проливных дождей осела железнодорожная насыпь, поэтому приходилось останавливать поезда и заставлять пассажиров пересаживаться; из-за этого берлинский курьерский мог сильно опоздать; несчастья же с самим поездом не случилось.

После такого сообщения не оставалось ничего больше,

как ждать. Так как на вокзале находилось большое количество солдат, возвращавшихся с маневров и ожидавших поезда, то все помещения были переполнены. Доктор посоветовал дамам идти в гостиницу «Золотая овца», взять себе комнату и там дожидаться поезда. Предложение было принято, а так как Вильмана не было дома, то гости были встречены его супругой, которая, узнав, что оденсбергские господа удостоили ее гостиницу своим посещением, поспешила к ним из кухни, чтобы достойным образом встретить их. Она поспешно отворила лучший номер, распахнула окна, чтобы проветрить помещение, передвинула стол и стулья и стала уверять господ, что сию минуту приготовит им самый чудесный кофе; затем хозяйка поспешно исчезла, преисполненная усердия и готовности к услугам.

По словам служащих, поезда надо было ждать, по меньшей мере, час. Майя сочла это весьма скучным и решила совершить путешествие по «Золотой овце» с целью исследования этой неведомой страны, а когда увидела в окно кучу детей, игравших в садике за домом, то, вопреки всем доводам воспитательницы, выскользнула из комнаты, оставив своих спутников наедине.

Несколько минут в комнате царило неловкое молчание. Правда, доктор и Леони давно пришли к безмолвному соглашению считать то злосчастное предложение как бы не существующим; только при этом условии они могли внешне сохранять непринужденный тон при почти ежедневных встре-

чах, которые были неизбежны; но и эта непринужденность оказалась весьма сомнительной: Гагенбах иногда выказывал свой гнев разными намеками, а Леони постоянно придерживалась оборонительной тактики. Несмотря на такие неважные отношения, все же кое-что изменилось – доктор чуть больше чем раньше заботился о своей внешности и старался, насколько возможно, быть сдержанным.

– С Майей не сладишь! – со вздохом заговорила наконец Леони. – Ну что поделаешь с девушкой, которая уже стала невестой, но все еще не хочет соглашаться с необходимостью подчиняться правилам приличия!

– Ну, необходимость этого подчинения можно еще и оспаривать, – с досадой проворчал Гагенбах.

– Нет, нельзя, – последовал безапелляционный ответ, – это основа жизни общества.

– Приличия-то? – насмешливо сказал доктор. – Разумеется, они главное в жизни! Кому какое дело до того, что человек ведет честную, трудовую жизнь! Ему предпочтут первого встречного фата, умеющего расшаркиваться да пускать пыль в глаза красивыми фразами; такому всегда отдадут предпочтение!

– Я этого не говорила.

– Но подумали! Я всю жизнь не особенно заботился об изящной внешности; будучи занятым, я не ощущал в этом надобности, да и в семейной жизни тоже; зато я остался холостяком, слава Богу!

Леони предпочла вовсе не отвечать доктору. Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. К счастью, появилась служанка с чашками для кофе и огромным пирогом и доложила, что господ просят еще немножко подождать, так как госпожа Вильман сама готовит кофе. При этом имени Леони вздрогнула и быстро обернулась.

– Как вы сказали?

– Госпожа Вильман!

– Это хозяйка здешней гостиницы, – объяснил Гагенбах, видя, что молчать больше нельзя и что «прискорбная история» все-таки неминуемо будет вновь «пережевана».

Леони не сказала ни слова, но мимолетный румянец, окрасивший ее щеки, выдал, до какой степени ее взволновало напоминание о бывшем женихе.

Как только служанка вышла из комнаты, доктор предпочел сам заговорить на эту тему.

– Это имя поразило вас? – спросил он.

– Оно было когда-то очень дорого мне и дорого до сих пор. Здесь, конечно, может быть простое совпадение, но я все-таки постараюсь узнать у хозяйки...

– Это лишнее, вы можете узнать все и от меня. Хозяин этого дома – двоюродный брат покойного Энгельберта, проветителя язычников, похороненного в песках пустыни. Он сам сказал это мне, то есть не похороненный, а живой Панкрациус Вильман из гостиницы «Золотая овца».

– Двоюродный брат Энгельберта? – с удивлением повто-

рила Леони. – Я никогда не слышала о подобном родственнике. Этот Панкратиус Вильман, судя по возрасту его жены, уже довольно стар?

– Ничуть не бывало! Он, по крайней мере, на двенадцать лет моложе своей дражайшей половины; ему тридцать с небольшим. Он был бедняком без гроша в кармане, а она – богатой вдовой. Впрочем, этот человек довольно образован; он даже учился в университете, как сам рассказывал мне недавно, но потом предпочел одеться в шкуру «Золотой овцы».

– Какой выбор! Эта вульгарная женщина...

– Имеет деньги и превосходно стряпает, – перебил доктор. – Как мне кажется, этот брак принес счастье обеим сторонам: они произвели, на свет многочисленное потомство; посмотрите-ка, там, в саду, прыгает шесть молодых овечек.

Он тоже подошел к окну и указал вниз, где в саду, крича и балуясь, бегали юные отпрыски супругов Вильман. Особенной милovidностью они не отличались; это были маленькие, откормленные, головастые существа с желтыми, как солома, волосами; по внешности они явно пошли в свою матушку.

Леони пожала плечами.

– Не понимаю, как может образованный человек опуститься до такого брака! Хотя нечего удивляться, теперь светом управляет выгода. Кому теперь нужны идеалы!

– Во всяком случае не Панкратиусу Вильману, – сухо заметил Гагенбах. – Он придерживается практического образа

жизни, в отличии от своего двоюродного брата Энгельберта, который бросил родину, чтобы где-то в дебрях Африки крестить черных язычников. Зато он и лежит теперь в песках пустыни, поделом ему!

Леони посмотрела на него уничтожающе.

– Такого выбора вы, разумеется, не в состоянии понять! Энгельберт Вильман был идеальной натурой; не помышляя о земных выгодах, он последовал высшему призванию. Надо самому ощущать в душе частицу подобной силы, чтобы понимать ее.

– Ну, я этого не понимаю! Плохо ли, хорошо ли, а я лечу людей без всякого высшего призвания и вообще я совершенно обыкновенный человек, без всяких идеальных задатков, следовательно, в сущности, гроша ломаного не стою.

Ссора вот-вот готова была вспыхнуть, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился Панкратиус Вильман. Он отвесил один низкий поклон доктору, другой – даме, стоявшей у окна, и заговорил мягким, тоскливым голосом:

– Я только что услышал от жены, что оденсбергские господа здесь, и не мог отказать себе в удовольствии выразить свою радость и благодарность за честь, выпавшую на долю моего скромного дома.

– Хорошо, что вы пришли! – сказал доктор. – Мы только что говорили о вас с фрейлейн Фридберг...

Сцена, вдруг разыгравшаяся перед его глазами, не позволила продолжать. При звуке чужого голоса Леони встрепе-

нулась в испуге, а Вильман, казалось, не менее испугался при виде барышни; он буквально присел, его красные щеки побледнели, растерянно смотрел на особу, быстро приблизившуюся к нему.

– Вы носите имя, которое не чужое мне, – заговорила Леони дрожащим голосом, – и от доктора Гагенбаха я узнала, что вы в самом деле состоите в родстве...

Она остановилась и, по-видимому, ждала ответа, но Вильман только кивнул головой в знак согласия и так низко наклонился, его лица почти не стало видно.

– Я действительно нахожу в ваших чертах нечто родственное, – продолжала Леони, – а ваш голос имеет удивительное сходство с голосом вашего покойного двоюродного брата, которого вы, может быть, даже не помните.

Вильман и на этот раз ничего не ответил; он отрицательно покачал головой, но не поднял ее.

– У вас отнялся язык, что ли? – крикнул доктор. – Как прикажете понимать это кивание?

Но Вильман упорно молчал; казалось, он боялся произнести я бы один звук. Вместо ответа он робко глянул на дверь, соображая, нет ли возможности ретироваться.

Терпение Гагенбаха лопнуло.

– Как понимать ваше поведение? – крикнул он с возрастающим недовольством. – Неужели в конце концов вся история о родстве окажется выдумкой! Сделайте одолжение, промолвите, наконец, хоть словечко!

Вильман, очевидно, не знал, что делать. Он поднял глаза к небу совершенно с тем же благочестивым, горестным выражением, которое в первый раз поразило доктора, и вздохнул:

– О, Господи! Небо мне свидетель...

Его прервал громкий крик. Леони смертельно побледнела и судорожно ухватилась обеими руками за спинку стоявшего перед ней стула.

– Энгельберт! Всемогущий Боже! Это он сам!

В это мгновение Вильману, по-видимому, хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила его; но так как этого не произошло, то он остался стоять посреди комнаты, освещенный яркими лучами солнца. Доктор опустился на ближайший стул; он обладал крепкими нервами, но такая неожиданная перемена декораций ошеломила и его.

К большому удивлению, Леони, сделав для себя такое унижительное открытие, через несколько секунд снова овладела собой и, неподвижно стоя у стола, смотрела на своего бывшего жениха, который и не пытался ничего отрицать.

– Леони, ты здесь? – запинаясь произнес он. – Я и не подозревал. Я все объясню...

– Да, и я покорнейше попросил бы вас об этом! – воскликнул доктор, с негодованием вскакивая. – Вы двенадцать лет заставляете оплакивать себя как несчастного апостола, погибшего среди язычников, а сами сидите себе живехоньки в «Золотой овце» счастливым отцом шестерых детей! Это низко, подло!

– Господин доктор, – остановила его Леони, – мне надо поговорить с этим... господином. Прошу вас, оставьте нас одних!

Гагенбах с беспокойством посмотрел на нее; он не совсем доверял ее самообладанию; но понимая, что при таком разговоре присутствие третьего лица будет лишним, оставил комнату. Он никогда не подслушивал, но на этот раз без всякого угрызения совести расположился у замочной скважины; ведь вопрос, который обсуждался там, в комнате, до известной степени касался и его.

По-видимому, Энгельберт Вильман почувствовал большое облегчение, когда посторонний свидетель этой тягостной сцены был удален, и наконец сделал попытку дать обещанное объяснение; он произнес голосом, полным раскаяния:

– Леони, выслушай меня!

Она продолжала стоять на прежнем месте, не двигаясь, и смотрела на него так, словно не могла и не хотела верить, что этот толстый мещанин и идеал ее юности был одним и тем с лицом.

– В объяснении нет надобности, – сказала она. – Я требую только, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. В самом ли деле вы муж той растрепанной толстой женщины, которая встретила нас, и отец детей, играющих там, в саду?

Вопрос Леони окончательно сокрушил Вильмана.

– Не осуждай меня, Леони! – запинаясь попросил он. –

Вынужденный обстоятельствами... несчастным стечением обстоятельств...

– Не обращайтесь ко мне прежним фамильярным тоном, господин Вильман, – обрезала его Леони. – Как давно вы женаты?

– Одиннадцать лет, – тихо сказал Вильман.

– А двенадцать лет назад вы писали мне, что хотите ехать в Африку в качестве миссионера, и с тех пор от вас не было писем. Значит, вы сразу же вернулись в Германию и... не дали мне знать об этом?

– Я сделал это единственно ради тебя... ради вас, Леони, – произнес Энгельберт, пытаясь придать своему голосу оттенок нежности. – Мы оба были бедны, у меня не было никакой перспективы, могли пройти долгие годы, прежде чем я был бы в состоянии предложить вам свою руку; неужели я должен был допустить, чтобы вы из любви ко мне провели так печально свою молодость и, может быть, упустили свое счастье? Никогда! А так как я знал ваше великодушие, так как мне было известно, что вы никогда не возьмете назад своего слова, то я сделал то, что считал своим долгом, а именно вернул вам свободу своей мнимой смертью, хотя мое сердце обливалось кровью.

– И как можно скорее сам женился на богатой, – закончил доктор за дверью. – Врет, как по-писаному! Помоги тебе, Бог, кроткий Энгельберт, когда ты попадешь в мои руки! Увы! Слова Энгельберта не произвели на его бывшую

невесту никакого впечатления.

– Не трудитесь, я не позволю больше обманывать себя, – презрительно ответила она. – Я простила бы вам вероломство, но жалкой комедии, которую вы разыграли здесь, я не прощу. Если бы я хоть сколько-нибудь подозревала, что слишком бедна для вас, что наша помолвка тяготит вас, то тотчас отослала бы вам кольцо обратно; одно откровенное, честное слово избавило бы вас от необходимости лгать и лицемерить, а меня – от настоящей горькой минуты. – К ее горлу подступил комок, и она чуть было не зарыдала, но это было лишь одно мгновение; Леони подавила его и продолжала с возрастающим негодованием: – И я любила такого человека! Ради вас я загубила свою молодость, ради вас оттолкнула руку человека, достойного уважения!

– Да, это становится интересным! – заметил Гагенбах у дверной щели и с удовольствием потер руки. – Эту беду можно еще и поправить.

– Леони, вы разрываете мое сердце! – воскликнул Вильман, складывая руки на животе. – Если бы вы знали, что я выстрадал! Ведь я любил только вас!

Он хотел приблизиться к Леони, но она оттолкнула его с выражением омерзения:

– Прошу вас! Между нами все кончено, и нам не о чем больше говорить. Я требую одного: если случай когда-нибудь сведет нас еще раз – мы не знаем друг друга и никогда не знали.

Энгельберт украдкой перевел дух: он не надеялся отделаться так дешево и поспешил с ответом, чтобы с достоинством уйти.

– Вы осудили меня, я должен вынести все! – сказал он мягким, полным горя голосом. – Прощай, Леони! Обстоятельства против меня, но ты все-таки была моей первой и единственной любовью!

Он торопливо направился к выходу, но за дверью его настигла карающая судьба в образе доктора, без околичностей схватившего его за руку.

– Теперь мы Поговорим, Энгельберт Вильман! – сказал Гагенбах, таща перепуганного толстяка в другой конец коридора, чтобы их не было слышно из номера. – Много с вами не стану возиться, но все-таки хочу хоть сказать вам, что вы негодяй, да-с, отъявленный негодяй! Правда, мне это чрезвычайно приятно, но это не меняет дела, все-таки вы негодяй! И такого человека оплакивать двенадцать лет, окружать его ореолом святости! Повесить его...

– Бога ради! – завопила жертва, но доктор яростно продолжал:

– Повесить его под траурной лентой и с букетом фиалок! Но теперь, надо надеяться, его снимут наконец со стены. Вы и заряда пороха не стоите!

Он тряхнул несчастного, которому говорил эти любезности, с такой злобой, что у того потемнело в глазах.

– Я не понимаю ни слова! – простонал Вильман, не выры-

ваясь из страха наделать еще больше шума. – Сжальтесь и молчите об этом происшествии! Если моя жена узнает, если узнают мои посетители, город, я погибший человек!

– Да, история о несчастном просветителе язычников была бы недурной новостью для посетителей «Золотой овцы», – сказал Гагенбах с сердитым хохотом. – Я буду молчать не ради вас; вы заслужили, чтобы вас выставили к позорному столбу, но фрейлейн Фридберг это было бы неприятно, а потому пусть все останется между нами. Ну, с Богом! Мне тоже не о чем больше говорить с вами.

Доктор еще раз основательно потрянул уничтоженного Вильмана, оставил его и вернулся в комнату в полной уверенности, что там необходима его помощь как врача; хотя Леони до сих пор, против его ожидания, держалась мужественно, то теперь должны были неминуемо наступить обмороки и истерика. Ничуть не бывало! Леони пошла ему навстречу; она была очень бледна и видно было, что она сильно плакала, но теперь вполне овладела собой.

– Я хотел посмотреть, как вы себя чувствуете, – с некоторым смущением сказал доктор. – Я боялся... Да, сегодня я признаю за вами право иметь «нервы». Не считите это за насмешку.

– Я совершенно здорова, – разуверила его Леони, не поднимая глаз. – Конечно, я только что испытала весьма горькое разочарование. Вы, без сомнения, догадываетесь, как было дело. Избавьте меня от стыда подробно рассказывать вам обо

всем.

– Вам совершенно нечего стыдиться! – теплым, задушевым тоном произнес Гагенбах. – Какой же стыд непоколебимо верить в доброту и благородство человека? И если один обманул вас, В то нет никакой надобности терять из-за этого веру во всех остальных; на свете есть много людей, достойных этой веры.

– Я знаю это, – тихо ответила Леони, протягивая ему руку, – и не стану оплакивать воспоминание, не стоящее того, чтобы пролить о нем хоть одну слезу; пусть оно будет погребено навеки.

– Bravo! – воскликнул доктор, хватая протянутую руку и собираясь сердечно пожать ее.

Но вдруг он одумался и остановился. Должно быть «кора грубости» была уже размягчена, потому что случилось нечто до сих пор не слыханное: доктор Гагенбах нагнулся и запечатлел на руке Леони в высшей степени нежный поцелуй.

В приемной хозяев гостиницы «Золотая овца» было тихо, как всегда около полудня. В настоящую минуту единственным посетителем был Ландсфельд, пришедший переговорить с хозяином относительно второго большого собрания, которое должно было состояться на днях. Хозяина не было дома, и Ландсфельд, желавший поскорее закончить дела, без церемонии завладел хозяйской С приемной и здесь ждал Вильмана уже около четверти часа; он и не подозревал, что тот дома и даже знает о его приходе, но предпочел сначала раскланяться с оденсбергскими господами, прежде чем приветствовать вождя социалистов. Ландсфельд начал уже терять терпение; наконец дверь отворилась, но вместо ожидаемого Вильмана вошел Эгберт Рунек.

Молодой депутат, уезжавший сразу же после выборов, на несколько дней в Берлин для переговоров с главой партии, поразительно коротко и холодно поздоровался с товарищем, а тот в свою очередь ответил лишь легким кивком.

– Уже вернулся? – спросил Ландсфельд.

– Я приехал час тому назад, – ответил Рунек. – Я был на твоей квартире и узнал, что могу найти тебя здесь.

– Был у меня на квартире? Это редкая честь! Я хочу арендовать здесь зал на послезавтра, так как есть необходимость созвать второе собрание. Но тебя мы еще не ждали; разве вы

уже закончили?

– Речь шла только о предварительных переговорах. Я считаю, что буду нужен в Берлине только через несколько месяцев, когда начнутся заседания в рейхстаге, и, мне кажется, теперь я нужнее здесь, чем там.

– Ошибаешься! – объявил Ландсфельд, – ты нам не нужен с тех пор, как тебя избрали. Я так и думал, что ты поторопишься вернуться, как только узнаешь, что в твоём любимом Оденсберге все пошло вверх дном. Да, мы выбили-таки из старика дух непобедимости! До сих пор он был так недосыгаем, словно никто не смел и подумать о том, чтобы восстать против него; теперь же ему, как и всем его коллегам, придется бороться с нами. Вероятно, ему это не очень-то по вкусу.

– По-моему, у вас нет никакого основания торжествовать, – мрачно сказал Эгберт, – на ваш вызов Дернбург ответил увольнением массы рабочих.

– Этого следовало ожидать, и мы основательно подготовились к такому противодействию.

– То есть, лучше сказать, вы на это рассчитывали! Что же будет теперь?

– Теперь надо или нагнуть его, или сломить. Или старик отменит свое распоряжение об увольнении рабочих, или на всех его заводах останутся работы.

– Дернбурга вы не нагнете, а сломить его у вас не хватит сил. Зато у него достаточно силы, чтобы сломить вас, и он беспощадно воспользуется ею, если вы поставите его пе-

ред таким выбором. Пусть его заводы будут стоять несколько недель или месяцев, он выдержит, а вы нет; забастовка не принесет результатов, и руководители нашей партии не желают ее, да и вообще никогда не желали; теперь они категорически высказались против нее.

– Вот как! Вот как! Вероятно, ты сделал все, чтобы настоять на таком решении? – спросил Ландсфельд, бросая на Рунека язвительный взгляд. – Ты ведь теперь один из вождей! Ты моложе всех, а между тем больше всех склонен к деспотизму и, как кажется, уже успел порядком прибрать к рукам остальных!

Рунок сделал гневное, нетерпеливое движение.

– Неужели у тебя на уме только личная неприязнь ко мне, когда дело касается интересов целой партии? Я приехал, чтобы передать тебе указание не доводить дела до крайности; выполняй же его.

– Очень жаль, но уже поздно! – спокойно возразил Ландсфельд, – требования уже предъявлены, и забастовка в случае их непринятия неизбежна. Рабочие не могут отступить, и в Берлине должны понимать это.

– Ого! Вот когда ты показал свою настоящую личину! – раздраженно крикнул Эгберт. – Значит, ты, постоянно ратующий за дисциплину, действовал самовольно?

– Да, на собственный страх! Надо же было наконец вывести трусов-оденсбергцев из их спячки. Какого труда мне стоило настоять на твоём избрании, как мы старались рабо-

тать, и все-таки до последней минуты все было под вопросом. Наконец эта ленивая масса пришла в движение; теперь необходимо толкать ее вперед.

– Куда? К верной неудаче! Они последовали за вами к избирательным урнам и теперь еще слепо идут следом – чад победы еще кружит их головы; вы убедили их, что вы всемогущи. Но этот чад скоро пройдет. Как только рабочие опомнятся и поймут, что они теряют, выступая против хозяина Оденсберга, и чем рискуют из-за этого их жены и дети, ты и недели не удержишь их, они сломя головы побегут назад к Дербургу. Но он будет уже не тот, он не простит оскорбления, нанесенного ему.

Рунок говорил все с большим волнением. Ландсфельд продолжал спокойно сидеть, не сводя с него глаз, и злая улыбка заиграла на его губах, когда он возразил:

– Ты как будто находишь совершенно резонной такую месть со стороны старика. На чьей, собственно, стороне ты стоишь?

– На стороне разума и права! Выбирать меня, а не Дербурга, оденсбергцы имели право, даже он не может оспаривать это, как бы глубоко ни был оскорблен; но то, что его рабочие на его же заводах праздновали мою победу, что они чуть не под его окнами устроили праздник, торжествуя его поражение, это наглый вызов, и он только заслуженно отплатил им.

– В самом деле? Заслуженно? – повторил Ландсфельд, и

его тон должен был бы предостеречь младшего товарища, но тот продолжал с возрастающей горячностью:

– Ты подстрекал рабочих через Фальнера, заставил их предъявить безумные требования, сводящиеся к чудовищному унижению их хозяина! Неужели вы действительно так плохо знаете этого человека? Или вы хотите просто начать войну с ним не на жизнь, а на смерть? Ну, так вы получите, что желаете! Дербург достаточно долго был покровителем своих рабочих, теперь он покажет себя в роли властелина. И он прав! Я на его месте поступил бы точно так же!

Горький хохот Ландсфельда остановил Эгберта.

– Bravo! О, это неоценимое признание! Наконец-то ты показал свое настоящее лицо! Это был сам оденсбергский старик, как живой! Он воспитал достойного ученика! Как ты думаешь, что будет, если я донесу в Берлин о том, что только что услышал?

Рунок сам почувствовал, что зашел слишком далеко, но это только подстегнуло его.

– Как тебе угодно. Неужели ты думаешь, что я позволю поработить себя до такой степени, чтобы не сметь свободно высказать свое мнение, даже находясь в обществе своих?

– Своих! В самом деле ты еще оказываешь нам такую честь – считаешь нас «своими»? Правда, ты ведь наш депутат! Я предостерегал о возможных последствиях, потому что давно знаю, к чему мы в конце концов придем с тобой; меня не слушали, хотели получить «гениальную силу» для на-

шего дела, а потому требовалось пустить в ход все средства, лишь бы добиться твоего избрания. Это было самое трудное из всего, что сделано нами в последние выборы, и для кого сделано! Скоро, конечно, и другие прозреют.

– Если ты хочешь помочь им прозреть – сделай одолжение, – жестко и гордо сказал Эгберт.

Ландсфельд вскочил и вплотную подошел к нему.

– Пожалуй, ты будешь доволен этим? Ведь ты буквально ведешь дело к разрыву. Не трудись, мой милый, мы не сделаем тебе такого удовольствия, мы не освободим тебя! Если тебе угодно будет стать изменником, перебежчиком, пусть весь срам падет на твою голову.

При этих насмешливых словах губы Рунека искривила горькая усмешка.

– Изменником? Так вот что мне приходится выслушивать за то, что я предан вам телом и душой, что принес вам в жертву будущее, такое будущее, какое редко кому выпадает в жизни!

– И теперь ты, разумеется, раскаиваешься?

– В том, что принес жертву, – нет, но в том, что вступил в вашу партию, – да.

– По крайней мере, ты откровенен, – насмешливо сказал Ландсфельд. – Ты бесцеремонно говоришь нам, в какую передрыгу мы попали, избрав тебя, но этого уже не изменишь, и тебе придется волей-неволей исполнять свои обязанности в рейхстаге. К счастью, у всех еще свежи в памяти твои пред-

выборные речи; ты сам подрубишь сук, на котором сидишь, если вдруг вздумаешь теперь затянуть другую песню. И еще одно: не вздумай, чего доброго, вмешаться в оденсбергские дела – ими занимаюсь я. Я сумею оправдаться перед своим начальством; смотри, как бы тебе оправдаться; просто так тебе не удастся от этого отделаться, будь уверен!

Ландсфельд повернулся к товарищу спиной и, не простившись, вышел из комнаты.

Эгберт остался один и погрузился в раздумье. В его ушах навязчиво звучали слова, которые Дернбург сказал ему при расставании: «Ты мог бы стать хозяином в Оденсберге. Посмотрим, как отблагодарят тебя твои товарищи за чудовищную жертву, которую ты им приносишь!» Он только что получил эту благодарность.

Дверь тихонько приоткрылась, и хорошенькое девичье личико робко, но с любопытством заглянуло в образовавшуюся щель. Это была Майя, которая, путешествуя по гостинице, в конце концов добралась до хозяйской приемной. Едва она бросила взгляд в комнату, как с ее губ сорвалось восклицание радости и удивления:

– Эгберт!

Рунок очнулся от задумчивости; одно мгновение он смотрел на нее, окаменев от изумления, потом воскликнул:

– Майя!.. Ты здесь!

Майя быстро проскользнула в комнату и заперла за собой дверь; Леони Фридберг и Гагенбах не должны были знать об

этой встрече, иначе ей не позволили бы говорить с Эгбертом – он ведь был осужден в личном суде Оденсберга.

По-видимому, Рунек тоже вдруг вспомнил об этом; он медленно опустил руку, которую протянул было для приветствия, и сделал шаг назад.

– Могу ли я поздороваться с тобой по-прежнему? – тихо спросил он.

На лице Майи появилась тень, но она без колебания приблизилась к товарищу детства и протянула ему руку.

– Ах, Эгберт, зачем дело зашло так далеко? Если бы ты знал, как у нас теперь!..

– Я знаю, – последовал короткий, угрюмый ответ.

– Наш Оденсберг нельзя узнать. Прежде, когда мы проходили через заводы или встречались с рабочими, как весело нам кланялись, а когда показывался папа, все так и смотрели на него, каждый гордился тем, что папа заговорит с ним. Теперь папа запретил мне и Цецилии выходить за пределы парка, так как там мы не застрахованы от оскорблений. Правда, сам он ежедневно бывает на заводах, но я вижу по лицам наших служащих, что они считают это риском и боятся, что он в опасности среди собственных рабочих. А то, что случилось в день выборов, гложет его сердце! Такого отношения он не заслужил от них.

Майя не подозревала, какую боль причиняли ее слова человеку, стоявшему перед ней вполоборота. Он не произнес ни звука, но его лицо дрогнуло от еле сдерживаемой муки;

Майя видела это и по-свойски доверчиво положила на его руку свою.

– Ты не хотел этого, я знаю, – сказала она тоном утешения, – но я единственный человек в Оденсберге, который еще держит руку за тебя; однако и я едва осмеливаюсь высказывать это; папа страшно раздражен и обозлен на тебя, а Оскар... то есть барон фон Вильденроде, поддерживает его в этом. Мои просьбы бесполезны, а Цецилия...

– И она тоже? – перебил Рунек, порывисто оборачиваясь. – Она тоже осуждает меня?

– Я не уверена в этом, – Майя испугалась странного взгляда Эгберта, – только Цецилия не хочет слушать, когда я заговариваю о тебе, и буквально убегает... Ах, Эгберт, если бы кто-нибудь другой пошел против отца, мне кажется, ему было бы легче: он не может перенести, что это именно ты.

– И я тоже не могу, – глухо ответил Эгберт. – Скажи это твоему отцу, Майя, если хочешь.

– Я не могу; он запретил произносить при нем твое имя... Он страшно гневается, когда это случается, а он так любил тебя! Боже мой, почему люди, принадлежащие к двум различным политическим партиям, должны непременно ненавидеть друг друга?

Милый детский голосок Майи звучал очень мягко, но тем не менее каждое ее слово было для Эгберта упреком.

– Оставь это, Майя, – взволнованно сказал он. – Будем считать это волей рока, под гнетом которого все мы тяжело

страдаем. Бедное дитя! Мы и тебя втянули в это; куда девалась твоя жизнерадостность.

Лицо девушки вспыхнуло, она опустила голову и тихо, почти боязливо возразила.

– Нет, нет... Мне часто бывает даже стыдно того, что я, несмотря ни на что, так безгранично счастлива, но я не могу изменить это. Не смотри на меня так удивленно, Эгберт! Правда, посторонние этого не должны знать, потому что мы носим траур по нашему бедному Эриху, но тебе я могу сказать, что я... ну, что я невеста.

Эгберт в изумлении отшатнулся. Он до сих пор видел в Майе ребенка; ему и в голову не приходило, чтобы она могла уже знать, что такое любовь. Неожиданная новость вызвала мимолетную улыбку на его угрюмом лице, и он задушевно протянул обе руки подруге детства.

– Неужели наша маленькая Майя уже занимается подобными вещами? – спросил он, пытаясь пошутить.

– Да я уже вовсе не такая маленькая! – надувшись, заявила Майя. Она приподнялась на носках и лукаво заглянула ему в глаза. – Видишь, я достаю тебе до плеча и ему также.

– Ему? Ах, да, я еще и не спросил у тебя имени твоего избранника! Как его зовут?

– Оскар фон Вильденроде. Ты ведь знаешь его... Боже мой, Эгберт, что с тобой?

Рунок побледнел, и его правая рука невольно сжалась в кулак. Он мрачно смотрел на девушку, глядевшую на него

вопросительно и смущенно.

– Барон Вильденроде – твой жених? – наконец произнес Вон. – И отец согласился?

– Да. Сначала он был против; он считает, что разница в возрасте слишком большая, но Оскар так долго осаждал его и я так долго просила и умоляла о нашем счастье, что он сдался.

Эгберт молчал и смотрел на милую девушку, которая была так далека от всякого подозрения и называла своим счастьем то, что должно было стать для нее непоправимым несчастьем. Неужели судьба вторично возлагала на него обязанность нанести смертельный удар любимому существу и безжалостной рукой разбить призрачное счастье Майи? Здесь выбора не было, молчать было невозможно.

– Ты не радуешься? – с упреком спросила Майя, обиженная тем, что он продолжал молчать. – Правда, ты настроен против Оскара точно так же, как и он против тебя; я давно знаю это и уверена, что ни один из вас не уступит. Но пожелать мне счастья ты все-таки можешь: я так счастлива!

Рунок сжал губы. Даже ради приличия он не мог выговорить слов, которые в данной ситуации были бы жесточайшей насмешкой; в то же время он чувствовал, что не должен выдавать тайну. К счастью, в коридоре послышался голос Гагенбаха:

– Вы не видели фрейлейн Дернбург? Пора идти на вокзал; поезд придет через десять минут.

– Я должна идти, – прошептала Майя прислушиваясь. – Прощай, Эгберт! Я буду любить тебя, что бы ни случилось! И, надеюсь, ты тоже не забудешь, что Оденсберг долго был твоим родным домом?

Ее карие глаза с любовью и мольбой посмотрели на Руника, а потом она поспешно выскользнула из комнаты. Эгберт перевел дух, когда ему уже не было надобности притворяться перед этими счастливыми глазами, в которых не было и тени подозрения. Он ощутил, как его переполняет чувство негодования. Так вот какова была конечная цель Вильденроде! Он наметил Оденсберг своей добычей и не желал упускать его, рука Майи должна была доставить ему эту добычу. И Цецилия допустила это! Правда, это был ее брат, которого она любила; только для того, чтобы спасти его, она стала женой Эриха. К тому же она не знала всей правды. О, зачем он скрыл ее тогда от нее! Теперь нельзя было щадить и Цецилию – речь шла о спасении Майи.

– Нет, я не забуду, что Оденсберг так долго бы моим родным домом, – прошептал Руник, решительно поднимая голову, – хотя мне придется доказать тебе это иначе, чем ты думаешь, моя бедная маленькая Майя! Написать, что ли, Дернбургу? Нет, это невозможно; он готов думать обо мне только плохое и сочтет мое письмо гнусной клеветой, а Вильденроде останется в выигрыше. Ничего не поделаешь, придется вести борьбу один на один и не отступать, пока Майя не будет окончательно освобождена из этих сетей. Пусть будет

так, я поеду в Оденсберг!

В Оденсберге чувствовалось томительное, предвещающее бурю настроение; атмосфера была накалена до предела.

Рабочие, уволенные ввиду происшествий в день выборов, должны были оставить мастерские; их было несколько сотен, и все их товарищи заявили, что тоже оставят работу, если уволенные будут приняты обратно. Более спокойные и рассудительные противились этому решению, но все было напрасно; меньшая по числу, но более энергичная часть рабочих подчинила своей воле большинство, и оно покорилося. Чад победы отуманил головы рабочим; с тех пор как они отняли у своего хозяина звание депутата и передали его одному из своих, они вообразили, что в состоянии добиться всего, а Ландсфельд сумел воспользоваться их воинственным настроением.

Теперь, когда дело приняло такой оборот, Дербург не пожелал даже видеть рабочих, явившихся к нему со своими требованиями, и через директора резко им отказал; потом, не вступая ни в какие переговоры, он отдал самый недвусмысленный приказ в указанный день закрыть все мастерские и подготовиться к тому, чтобы затушить доменные печи; служащим он прямо сказал, что скорее разорится, чем согласится хоть на одно из самых незначительных требований, даже обсуждение которых он считает оскорблением

для себя; это заявление распространилось по заводам и всюду произвело удручающее впечатление; все знали, что патрон сдержит слово. Несмотря на свое поражение, Дернбург остался прежним и совсем не шутил. Опыянение оденсбергцев прошло, и вместо победы они увидели, что их нелегкая борьба могла завершиться полным поражением.

В рабочем кабинете Дернбурга только что состоялось заседание. Кроме барона Вильденроде тут было трое старших служащих. Они всеми силами старались внушить патрону, что все случившееся не так ужасно, но их старания были напрасны.

– Я остаюсь при своем мнении: указанные меры должны быть выполнены неукоснительно, – объявил Дернбург. – Вы позаботитесь, чтобы младшие служащие в точности руководствовались полученными указаниями. Для нас наступают серьезные и, может быть, тяжелые времена, но я рассчитываю на то, что каждый из вас выполнит свой долг.

– Что касается нас, то это само собой разумеется, – ответил директор, – а за своих подчиненных, мне кажется, я могу поручиться. Может быть, до крайности еще и не дойдет; все признаки говорят о том, что настроение в рабочих на заводах изменилось: многие уже теперь раскаиваются в поступках, к которым их почти вынудили. Ведь мы прекрасно знаем, чьих рук это дело; рабочих специально подстрекали.

– Я знаю это, – холодно сказал Дернбург, – но они позволили чужим людям подстрекать их против меня; пусть же

теперь будет по-ихнему.

Директор не нашел больше аргументов, чтобы продолжать защищать рабочих, и многозначительно посмотрел на коллег. Тогда выступил главный инженер.

– Я тоже убежден, что большинство уже теперь начинает понимать, что они слишком поторопились; они молча откажутся от своих безумных требований, в частности, чтобы Фальнер был оставлен на службе. Значительная часть рабочих будет спокойно продолжать работать, остальные раньше или позже последуют их примеру, и волнение стихнет, если вы, господин Дернбург, согласитесь на примирение.

– Нет! – сказал Дернбург резким, ледяным тоном.

– Но что делать с теми, которые завтра по-прежнему явятся на работу?

– Они должны подать заявление, что не поддерживают товарищей и готовы беспрекословно подчиниться мне; тогда они могут опять приступить к работе.

– Это невозможно!

– Ну, в таком случае мастерские будут закрыты. Посмотрим, кто дольше выдержит – они или я.

– Да, так поступить вы обязаны из уважения к самому себе и своему положению, – вмешался Вильденроде. – Вы как будто другого мнения, господа? Но ведь вы скоро убедитесь, что это единственно верный путь, если мы хотим заставить подчиняться всю массу рабочих.

Служащие молчали; они уже привыкли к тому, что ба-

рон всегда становился на сторону их патрона и что за ним признавали это право. Влияние Вильденроде они не считали особенно благотворным, но в нем постепенно привыкали видеть будущего зятя Дернбурга и хозяина Оденсберга. Поэтому никто не пытался возражать, и, когда Дернбург подал знак к окончанию совещания, все, молча поклонившись, удалились.

– Мне кажется, эти господа боятся забастовки, – насмешливо заметил Оскар, когда дверь за ними закрылась, – и ради мира во что бы то ни стало готовы пойти на всевозможные уступки. Я очень рад, что вы остались непреклонны: уступка была бы здесь непростительной слабостью.

Дернбург отошел к окну. Он казался очень постаревшим, но как ни тяжела была его участь, сломить его она не могла, в его фигуре все еще чувствовалась прежняя железная сила воли. Он молча смотрел на заводы. Там еще дымились печи, пылали горны, все еще шло обычным порядком, еще работали тысячи рук; завтра все там опустеет и затихнет... Надолго ли?

Он невольно высказал последнюю мысль вслух, и Вильденроде, подошедший к нему, понял его.

– Ну, долго-то это не протянется, – уверенно сказал он. – В ваших руках сила, и Оденсбергу не мешает, наконец, почувствовать ее. Этот сброд без мозгов бросил вас, чтобы бежать за первым встречным! Эта шайка...

– Оскар, вы говорите о моих рабочих, – мрачно остановил

его Дернбург.

– Да, о ваших рабочих, которые в день выборов так трогательно доказали вам свою преданность! Могу себе вообразить, что тогда происходило в вашей душе!

– Нет, Оскар, не можете, – с угрюмым спокойствием возразил Дернбург, – вы чужой, пришелец в Оденсберге; для вас ваше будущее положение сводится только к власти. Может быть, со временем оно и для меня станет тем же, но прежде это было не так: я стоял во главе своих рабочих и все, что я делал, совершалось при их участии и для них; как каждый из них в нужде и опасности мог рассчитывать на меня, так я считал, что могу рассчитывать на них. Теперь все по-другому. Как глуп я был! Они не хотят мира, а жаждут войны!

– Да, они хотят войны, – повторил Вильденроде, – и они получают ее! Уж мы усмирим этот мятежный Оденсберг!

– О, конечно, мы победим, – с глубокой горечью ответил Дернбург. – Я заставлю рабочих покориться, и они подчинятся, но, конечно, с непримиримой злобой в сердцах, с ненавистью против меня! Это будет только перемирием, во время которого они будут собирать новые силы, чтобы опять напасть на меня; тогда я опять должен буду отбросить их назад, и так будет продолжаться, пока одна партия не уничтожит другую. Такая жизнь не по мне! Я всегда надеялся, что до самой смерти буду крепко держать бразды правления в Оденсберге; в последнее время мое мнение изменилось. Кто знает, Оскар, не передам ли я вскорости правление в ваши

руки; вы сын своего времени, может быть, вы будете здесь более на Месте, чем я.

– Боже мой, какой припадок уныния! – воскликнул Вильденроде, ошеломленный и ослепленный неожиданно открывшейся перспективой. – Неужели вы серьезно думаете удалиться от дел?

– В настоящее время нет еще, – сказал Дернбург выпрямляясь, – я никогда не уклонялся от борьбы, на которую меня вынуждали, не изменю своим принципам и на этот раз.

– Рассчитывайте на меня! – воскликнул Оскар. – И еще одно: директор, по-видимому, боится возможных беспорядков при расчете и увольнении рабочих; хотя необходимые меры приняты, но вы можете располагать мной в случае, если авторитет служащих окажется недостаточным. Вы сами не должны вмешиваться; ваше положение обязывает вас не подвергаться оскорблениям. Положитесь на меня.

– Благодарю вас, Оскар! В вашем мужестве я никогда не сомневался, но в данном случае не уступлю своего места никому. Быть рядом со мной вы можете; пусть видят, что я признаю за вами права сына, я больше не делаю из этого тайны.

Они пожали друг другу руки, и Вильденроде ушел. В передней к нему подошел лакей и доложил:

– На вашем письменном столе лежит письмо из замка Экардштейн; оно прислано полчаса назад, но мы не смели мешать, да и посыльному не было велено ждать ответа.

– Хорошо, – рассеянно сказал барон.

Голова его была занята совсем другим: он думал о намеке Дернбурга на то, что он, может быть, скоро откажется от дел. Было ли это сказано в порыве досады, под влиянием мимолетного каприза, или надо было принимать его слова серьезно? Нет, этот человек был глубоко ранен в сердце; если он действительно будет вовлечен в продолжительную борьбу со своими рабочими, то весьма правдоподобно, что он осуществит свою мысль, и... его место займет Оскар фон Вильденроде. Неужели желанная цель так близка? Глаза Оскара загорелись. О, он не будет страдать припадками сентиментальности, как его тесть; Оденсберг узнает нового хозяина! Он поклялся показать себя Оденсбергу.

Только войдя в свою комнату и увидев на столе письмо, барон вспомнил о докладе лакея. Из Экардштейна? О чем ему оттуда могли писать? Новый владелец майората, без сомнения, знал или подозревал, кто стал ему поперек дороги в его ухаживании за Майей, и, конечно, не мог сделать попытки к сближению с ним как с соседом.

Оскар вскрыл конверт, прочел первые строки, вздрогнул, поспешно перевернул листок, и, увидев подпись, побледнел.

– Фридрих фон Штетен! – прошептал он. – Какой дьявол привел его в Экардштейн и что ему от меня нужно?

Он начал читать.

«Я вынужден обратиться к Вам по поводу одного очень серьезного и неприятного обстоятельства, – писал Штетен. – Я долго колебался, какой образ действий мне сле-

дует предпочесть, и наконец остановился на наиболее мягком, потому что я не могу забыть дружбы, которая связывала меня с Вашим отцом. Итак, я скажу Вам только, что знаю Ваше прошлое, начиная с того момента, когда Вы покинули Германию, до последнего Вашего пребывания в Ницце; когда мы неожиданно встретились там, я (каким образом, это неважно) разузнал о Вас все. Учитывая эти обстоятельства. Вы, разумеется, поймете, что я требую очистить место, занимаемое Вами в настоящее время в Оденсберге. Говорят, Вы жених дочери г-на Дернбурга, но Вы сами должны знать лучше других, что потеряли право связывать свою жизнь с жизнью юного, чистого существа; было бы преступлением против г-на Дернбурга и его семьи, если бы я не открыл ему глаза и позволил совершиться этому браку. Избавьте меня от горькой необходимости выступить в качестве Вашего обвинителя; уезжайте из Оденсберга! Предлог к отъезду найти нетрудно, а как Вы потом порвете свои отношения с семьей Дернбурга, Ваше дело. Даю Вам неделю срока; если по его истечении Вы еще будете в Оденсберге, я буду вынужден заговорить, и г-н Дернбург узнает правду. Я даю Вам время для отступления; это единственное, что я еще могу сделать для сына моего покойного друга.

Фридрих фон Штетен».

Оскар опустил письмо. Он знал характер Штетена; этот человек не любил попусту угрожать; он не колеблясь сделает

то, что считает своим долгом, а тогда... тогда все пропало!

Барон вскочил и порывисто зашагал по комнате. Именно теперь, когда цель была так близка, грянул удар, который должен был уничтожить его. Но неожиданно явившаяся опасность пробудила всю его энергию и смелость. Отступить, бежать тайком из Оденсберга в ту минуту, когда он почувствовал себя его неограниченным властелином? Ни за что! Ему дают неделю срока; чего только не может произойти за это время! Он уже много раз стоял на краю пропасти, но какой-нибудь смелый шаг или невероятная удача всегда спасали его; теперь настало время опять испытать свое счастье. Среди дикого водоворота мыслей и планов, пронесившихся в его голове, одно было несомненно: он должен заручиться поддержкой Майи, должен так крепко привязать ее к себе, чтобы никакая сила, даже воля отца, не могла оторвать ее от него; она щит, прикрывающий его от всякого нападения; ее любовь должна спасти его.

Оскар опять перечитал письмо, потом смял его и бросил в камин; бумага вспыхнула и рассыпалась пеплом, а барон сел в кресло и, мрачно глядя на огонь, погрузился в составление все новых и новых планов.

Прошло с полчаса. Вдруг дверь открылась, и вошедший лакей доложил:

– Господин инженер Рунек.

– Кто? – Оскар встрепенулся.

– Господин Рунек желает переговорить с вами по важному

и не терпящему отлагательства делу.

По пятам за лакеем следовал сам Эгберт. Он вошел, не дожидаясь ответа, и сказал с коротким поклоном:

– Я прошу не отказывать мне; я действительно пришел по важному и не терпящему отлагательства делу.

Оскар вскочил и молча сделал лакею знак уйти. Он понял, что означало появление Рунека, но письмо Штетена подготовило его ко всему; одной опасностью больше или меньше было все равно в такой борьбе, исход которой означал для него: «Быть или не быть».

– Что привело вас ко мне? – холодно спросил он. – Вы, конечно, понимаете, что после происшедшего ваше появление несколько удивляет меня.

– Я прибыл сюда единственно из-за вас, – таким же тоном возразил Эгберт, – и покорнейше прошу вас в ваших же интересах выслушать меня.

– Я слушаю.

– Я не нахожу надобности в длинном вступлении, – начал Рунок. – Вы знаете, о чем тогда на Альбенштейне зашел разговор между мной и вашей сестрой. Я убедился, что она жила вместе с вами, ничего не зная и не будучи сама ни в чем замешана, и ради нее я так долго молчал.

– Ради Цецилии? – Оскар насмешливо захохотал. – Я вполне понимаю вас! Разумеется, она имеет право на снисхождение с вашей стороны.

– Что вы хотите сказать? – нахмурившись спросил Эгберт.

С губ Вильденроде опять сорвался короткий, саркастиче-
ский смех.

– Не играйте со мной комедии, мне все в точности извест-
но. Бедный Эрих! Если бы он подозревал, что его любимый
друг детства отбил у него невесту! Кто знает, от какого горь-
кого разочарования спасла его преждевременная смерть.

– Это постыдное предположение! – с негодованием вос-
кликнул Эгберт. – Вы позорите сестру так же, как и меня.
Нет, невеста Эриха была так же недосыгаема для меня, как
недосыгаема теперь его вдова... а в моих чувствах я никому
не обязан отчитываться. Да и вообще я пришел сюда не для
беседы на эту тему, а для переговоров, которые нельзя боль-
ше откладывать.

– О чем? – спросил Вильденроде, неподвижно стоя перед
ним со скрещенными руками.

– Неужели я должен объяснять вам это? – Рунек сделал
нетерпеливый жест, но овладел собой и продолжал внешне
спокойно: – Речь идет прежде всего о том происшествии в
Берлине у госпожи Царевской, значение которого было по-
нятно каждому из присутствующих. Так как я не вращался
в том кругу и не знал близко ни одного из участников, то и
не интересовался им; только когда вы явились в Оденсберг
и я узнал об опасности, грозящей Эриху и его отцу, я стал
расспрашивать. Я узнал, что вас спасли лишь ваш поспеш-
ный отъезд и настойчивое желание замешанных в этом лиц
избежать скандала. У меня есть доказательства, и свидетели

тоже всегда в моем распоряжении. Вы и после этого будете разыгрывать роль непонимающего?

Глаза барона вспыхнули такой дикой, смертельной ненавистью, словно он желал одним взглядом уничтожить противника. Не само обвинение, не оставлявшее ему больше выхода, а безграничное презрение в тоне говорившего вывело его из себя; гордость, свойственная его натуре, взяла верх. Он высоко поднял голову.

– К чему же вы говорите мне это? Я давно знаю, чего мне следует ожидать от вас, и сумею защититься. К чему эта угроза и почему вы давно не привели ее в исполнение?

– Я предполагал, что вы рано или поздно уедете из Оденсберга; ни женитьба Эриха, ни его смерть не дают вам права оставаться здесь дольше. Только вчера я узнал от Майи, что вы ее жених, и вы, вероятно, поймете меня, если я скажу вам, что этот брачный союз не будет заключен: я не допущу его.

– В самом деле? По какому это праву?

– По праву честного человека, который не допустит, чтобы дочь Эбергарда Дернбурга и его Оденсберг попали в руки мошенника.

Вильденроде вздрогнул, и его лицо смертельно побледнело.

– Берегитесь! – произнес он прерывающимся, сдавленным голосом. – Вы мне ответите за эти слова!

– Отвечу, только не так, как вы думаете. Такие дела решаются не иначе как в зале суда, со свидетелями и доказатель-

ствами. Не смотрите так пристально на револьвер, висящий над вашим письменным столом! Я уверен, что он заряжен и сам начеку; если вы сделаете шаг к нему, я первым брошусь на вас.

Взгляд Оскара в самом деле устремился на револьвер, и у него блеснула безумная мысль; правда, в следующую же минуту он отказался от нее. Что толку, если он убьет этого противника? Штетен выступит с тем же обвинением. Виктор фон Экардштейн, наверное, тоже посвящен в тайну и кто знает, кому она еще известна! Петля затягивалась.

– Я оставлю вам один выход, и он будет последним, – снова заговорил Рунек. – Уезжайте из Оденсберга навсегда сегодня же, потому что Майя не должна больше и одного часа называться вашей невестой. О чем бы там ни догадывались, а всей правды никто никогда не узнает, и ваша сестра и Майя будут избавлены от самого тяжелого удара. Я буду молчать, если вы дадите слово уехать.

– Нет! – сказал Вильденроде.

– В таком случае я сейчас же пойду к господину Дернбургу и расскажу ему все. Ваша игра проиграна, будьте уверены!

– Вы думаете? – насмешливо спросил Оскар. – Дождитесь сначала конца! Что бы там ни было, а вам я не уступлю.

– Это ваше последнее слово?

– Последнее. Я остаюсь.

Эгберт молча повернулся к двери, и в следующую минуту она закрылась за ним.

Вильденроде остался один. Он медленно подошел к письменному столу, снял со стены револьвер и долго держал его в руке.

Некогда его отец, когда все вокруг него рушилось, избрал этот путь, не в силах вынести позора разорения; ему же приходилось бежать от еще большего позора. Но вдруг горячая жажда жизни снова вспыхнула в душе этого человека. В самом ли деле ему следовало отказаться от игры? Он положил револьвер и погрузился в размышления, потом вдруг решительно встрепенулся и мрачно произнес:

– К Майе! Посмотрим, выдержит ли испытание ее любовь ко мне. Если она откажется от меня, ну, тогда еще будет время перемолвиться и с этим последним другом.

– Где госпожа Дернбург и фрейлейн Майя? Надеюсь, они ушли не дальше парка? – с этими торопливыми вопросами доктор Гагенбах вошел в гостиную, где в эту минуту была только Леони Фридберг.

– Они пошли на могилу молодого Дернбурга, – испуганно ответила та. – Разве что-то случилось?

– Нет еще, но нельзя быть уверенным в том, что будет через час. Так они пошли на могилу. Ну, она далеко от заводов и на противоположном конце парка, так что, надо полагать, бояться нечего. Все-таки было бы лучше, если бы они поскорее вернулись.

– Я жду их с нетерпением. А что, дела приняли такой угрожающий оборот?

Гагенбах утвердительно кивнул и сел против Леони.

– К сожалению! Начальство делает все от него зависящее, чтобы расчет и увольнение рабочих прошли как можно спокойнее, но это не входит в планы Фальнера и компании: они хотят наделать шума. Часть рабочих выразила намерение продолжать завтра работать, другие же ответили на это угрозами; в нескольких местах дошло уже до рукопашной; по-видимому, уже сегодня к вечеру дело разыграется вовсю.

– Господи, что же будет? Господин Дернбург не уступит ни за что. Я ужасно боюсь!

– Ну, чего вам-то бояться? Зачем же я здесь? – выразительно заметил Гагенбах. – В случае необходимости я защищу вас. Но до этого не дойдет – дом и его обитатели в полной безопасности, даже если, не дай, Боже, начнется схватка. В любом случае вы можете рассчитывать на меня.

– Я знаю это, – мягко ответила Леони, протягивая руку.

Доктор поспешно ответил на рукопожатие и задержал ее руку в своей.

– Сегодня утром я был у вас, – заговорил он, – но меня не приняли.

– Вы должны понимать, что после вчерашнего мне было очень тяжело...

– Извините, я приходил только как врач, чтобы справиться о вашем здоровье, – перебил Гагенбах. – У вас нездоровый вид; должно быть, вы провели бессонную ночь. Впрочем, и я не спал. Мне приходили в голову разные мысли, например, что вы были совершенно правы, считая меня полумедведем, вопрос только в том, стоит ли пытаться сделать из меня нечто более человекоподобное. Что вы думаете об этом?

– Я... я ничего не думаю.

– Но мне очень важно ваше мнение, – продолжал доктор. – Видите ли, если человек обрек себя на холостяцкую жизнь, не заботясь ни о ком, он понимает, что и до него, в свою очередь, ни единой душе нет дела, то... все это весьма печально. Если у него есть, по крайней мере, мать или сестра, то еще куда ни шло, но у меня нет никого, кроме глупого Дагоберта,

а что это за сокровище, вы сами знаете.

– Но зачем рассуждать об этом именно сегодня? – Леони старалась уклониться от дальнейшего объяснения. – В такое время, когда весь Оденсберг...

– Надеюсь, Оденсберг окажет нам снисхождение и подождет со своим восстанием до тех пор, пока мы не договоримся, – перебил Гагенбах, – а договориться мы должны. Я был у вас сегодня вторично, но не застал вас. Тем не менее я осмелился войти в вашу комнату, потому что мне хотелось взглянуть на ваш письменный стол. Над ним теперь висит портрет вашей покойной матушки, и ему я от всего сердца уступаю это место. Вы решительны и напрочь выкинули из головы старые воспоминания, а потому... а потому... Что, собственно, я хотел сказать? – Доктор запутался. Первый раз он приступил к предложению без всяких церемоний, во второй хотел это сделать самым деликатным образом, но сбился на первых же словах; однако он быстро собрался с духом, решительно встал и подошел к избраннице своего сердца. – Я полюбил вас, Леони, – сказал он просто и сердечно, – и хотя я грубый малый, но ведь так вдруг этого не изменишь. А намерения у меня хорошие и честные, и если вы решитесь попробовать, то ваше согласие сделает меня очень счастливым. Вы ничего не скажете? Совсем ничего?

Леони Сидела, густо покраснев и опустив глаза. Она чувствовала все великодушие и сердечную доброту этого человека, которого так сурово оттолкнула и который снова пред-

лагал ей руку и сердце; она молча протянула руку своему поклоннику.

Доктор понял, и блестяще, без дальнейшего промедления завершил дело – обнял свою невесту и поцеловал.

– Слава Богу, наконец-то! – воскликнул он. – Завтра напишу Дагоберту; пусть сочинит нам к свадьбе стихи и воспевает свою будущую тетюшку при прочих удобных случаях; это я ему, разумеется, позволю.

– Но, доктор! – укоризненно остановила его Леони.

– Меня зовут Петером! – перебил он. – Это имя тебе не нравится, я давно знаю; оно кажется тебе недостаточно поэтичным, но, раз уж меня так окрестили, ты должна будешь привыкнуть к нему. Фрейлейн Леони Фридрих и доктор Петер Гагенбах – так будет написано в приглашении на нашу свадьбу.

– Но ведь у тебя есть и другие имена, кроме этого?

– Разумеется: Петер – Франц – Гуго.

– Гуго? Какая прелесть! Я буду звать тебя так!

– Я не позволю! – решительно заявил Гагенбах. – Меня назвали Петером в честь отца и деда, меня все так зовут, так же будет меня звать и моя будущая жена.

Леони робко, но ласково положила свою руку на руку жениха и с мольбой заглянула ему в глаза.

– Милый Гуго!.. Ты не согласен, что это звучит чудо как красиво? Нет? Ну, как хочешь, Гуго, я вполне покоряюсь твоему желанию, но Петер и Леони вовсе не сочетаются; это

ты и сам должен понимать.

Гагенбах буркнул «нет», но довольно кротко; из ее уст имя Гуго показалось ему не таким уж плохим; но в то же время в его душе закралось опасение попасть в будущем под башмак жены, и он почувствовал необходимость раз и навсегда обезопасить себя от покушения на верховную власть.

– Нет, пусть будет Петер, – решил он. – Ты должна покориться, Леони.

– Я покорюсь во всем, – самым кротким тоном ответила Леони. – Вообще, я слабое и несамостоятельное существо, не имеющее собственной воли; за все время нашего брака ты не услышишь ни одного противоречия, милый Гуго; но неужели ты действительно откажешь мне в моей первой просьбе да еще в день обручения?

«Милого Гуго» даже в жар бросило от этого мягкого голоса и умоляющего взгляда:

– Ну, уж если это доставляет тебе такое удовольствие, пожалуй, зови меня так, но на приглажительных билетах будет напечатано...

– Леони Фридберг и доктор Гуго Гагенбах! Благодарю тебя от всего сердца за это доказательство любви ко мне!

Что оставалось делать бедному Петеру Гагенбаху? Он принял благодарность и прикрыл свое постыдное отступление тем, что поцеловал невесту.

Тем временем Дернбург принимал в кабинете доклады о делах на заводах; донесения служащих были малоутешитель-

ны. Прежде каждый из ряда вон выходящий случай заставлял Дернбурга среди или во главе его рабочих, теперь же он избегал всякого сближения с ними; в последнее время он не заговаривал ни с одним из них, даже ни на кого не смотрел, хотя ежедневно бывал на заводах.

Погруженный в мрачные размышления, он стоял один у окна; при стуке отворившейся двери он медленно обернулся, предполагая, что пришел очередной посыльный с заводов, но вздрогнул и застыл на месте, глядя на вошедшего.

– Эгберт! – наконец воскликнул он.

Рунок запер за собой дверь и остановился у порога.

– Прошу прощения, – тихо произнес он, – в том, что я еще раз воспользовался своим прежним правом входить без доклада; я делаю это в последний раз.

Дернбург уже овладел собой и холодно произнес:

– Я действительно не ожидал снова видеть вас в Оденсберге. Что привело вас ко мне? Мне казалось, что нам не о чем больше говорить.

Рунок, конечно, должен был ожидать такого приема, но его глаза все-таки с упреком смотрели на говорившего.

– Господин Дернбург, вы были несправедливы, когда всю ответственность за беспорядки в день выборов отнесли на мой счет. Я был в городе...

– Знаю, с Ландсфельдом! Волнениями руководили из города.

Эгберт побледнел и быстро сделал шаг вперед.

– И этот упрек относится ко мне? Неужели вы верите, что я участвовал в этих оскорблениях или хотя бы в то, что я знал о них и не помешал им?

– Оставим это, – сказал Дернбург тем же холодным тоном. – Теперь мы только политические противники; в качестве таковых нам, конечно, придется иногда встречаться, но никаких других отношений между нами быть не может. Если вам действительно нужно сообщить мне что-либо, то я предпочел бы, чтобы это было сделано письменно, но раз вы здесь, прошу, говорите, что вам угодно от меня?

– Я не мог написать, – твердо возразил Рунек. – Если мой приход удивляет вас...

– Нисколько! Меня удивляет только то, что вы явились ко мне сюда, в мой кабинет; ваше место там, на заводах, среди ваших избирателей, которые теперь собираются повторить происшедшее в день выборов. Разве вы не намерены возглавить их, чтобы вести против меня? Я готов к нападению!

Эти слова глубоко ранили молодого человека.

– Зачем этот тон? – воскликнул он. – Излейте на меня весь свой гнев, я все снесу, но не говорите со мной так! Такого наказания я не заслужил.

– Наказания? Я думал, что ты выше моей мести, – с горечью сказал Дернбург, в самом деле оставляя насмешливый тон. – Что тебе надо здесь? Не хочешь ли ты предложить мне свою защиту против рабочих? Разумеется, они послушаются своего депутата. Благодарю, я один с ними справлюсь. Поло-

вина из них сожалеет, что поддержала забастовку; завтра они придут опять, но я не позволю им работать, если они безоговорочно не Подчинятся и не отрекутся от своих коноводов.

– Господин Дернбург...

– Ты думаешь, они не посмеют сделать этого? Я тоже так думаю; вы еще крепко держите их в руках. Хорошо, в таком случае будет объявлена открытая война. Они сами вынудили меня пойти на крайние меры.

– Это страшные слова! – мрачно произнес Рунек.

– Я знаю. Не думаешь ли ты, что я не отдаю себе отчет в том, какие последствия будет иметь для десяти тысяч рабочих простой в течение нескольких недель, а может быть, и месяцев? Это путь к нищете и отчаянию, а я должен буду смотреть на это. Но вся ответственность падает на тебя и твоих приверженцев! Тридцать лет в Оденсберге царили мир и благословение Божье, и я сделал все, что может сделать человек для своих рабочих; вы внесли сюда раздор и ненависть. Вы посеяли драконовы зубы, посмотрим, как вам удастся управиться с жатвой.

Дернбург несколько раз прошелся по кабинету, а затем остановился перед молодым инженером, который молча стоял, мрачно опустив глаза, и спросил с горькой насмешкой: – Ты испугался духов, которых сам же вызвал, и хотел бы теперь разыграть роль посредника? Ты последний человек, которому я дал бы на это право. Я и слышать не хочу о каком бы то ни было посредничестве; мой союз с Оденсбергом

окончательно порван, отныне мы можем быть Друг для друга только врагами.

– Я пришел не как посредник, – сказал Эгберт упавшим голосом, – и вообще мой приход вызван не этим. Меня привел тягостный долг. Речь идет о бароне Вильденроде, которому вы отдали руку Майи. К счастью, я узнал об этом вовремя, чтобы вмешаться...

– Ты протестуешь? – резко спросил Дернбург. – Было время, когда я принял бы во внимание твой протест, когда дорога к сердцу и руке Майи была открыта для тебя. Ты сам знаешь, что явилось препятствием к этому: ты принес в жертву своим убеждениям любовь и все остальное.

– Я никогда не любил Майи, – твердо возразил Рунек, – я всегда видел в ней только подругу детских игр, сестру Эриха, и не питал к ней иных чувств, кроме братских.

– В таком случае я и здесь ошибся, – медленно сказал Дернбург. – Но, если так, какое тебе дело до замужества моей дочери?

– Я хочу спасти Майю от несчастья стать добычей мошенника.

– Эгберт, в своем ли ты уме? Понимаешь ли ты, что говоришь? Это обвинение безосновательно...

– Я докажу, что это не так. Я давно об этом хотел сказать, но только теперь мне удалось получить доказательства и только теперь я узнал о плане барона через Майю получить Оденсберг; теперь я должен говорить, а вы должны выслу-

шать. Барон Вильденроде считается здесь богатым, но у него нет абсолютно ничего. Двенадцать лет тому назад ему пришлось оставить дипломатическую карьеру, потому что разорение отца лишило его всяких средств; старый барок застрелился; его семья только своему древнему имени обязана тем, что правительство приняло в ней участие: были скуплены имения, обремененные долгами, рассчитались с кредиторами, и вдова до конца жизни получала небольшую пенсию. Барон Оскар уехал из Германии и долго не показывался в своем отечестве.

Дернбург слушал, мрачно сдвинув брови. Когда-то он слышал другое о тех же событиях; правда, в том рассказе не было ничего прямо противоречащего истине, но самое главное – разорение семьи – было скрыто.

– Я видел Оскара фон Вильденроде еще три года тому назад, – продолжал Рунек. – Это было в Берлине, в доме госпожи Царевской, богатой вдовы, жившей на широкую ногу. Я давал ее детям уроки рисования, при этом довольно часто виделся с ней самой и по ее желанию набросал несколько эскизов виллы, которую она собиралась строить; эскизы ей понравились, и, вероятно, желая выказать мне признательность, она пригласила меня на вечер; я не мог отказаться, потому что уроки рисования давали мне средства продолжать образование. Совершенно чужой в большом обществе, я ушел в соседнюю комнату, где брат хозяйки играл в карты с несколькими гостями; между ними был и барон Виль-

денроде, который, как я узнал из разговоров, жил в Берлине уже три месяца и собирался провести там всю зиму. Ему удивительно везло в игре, других же упорно преследовала неудача; брат госпожи Царевской. страстный игрок, все повышал ставки и все больше и больше проигрывал, а Вильденроде выиграл уже порядочную сумму. Эта азартная игра была противна мне, и я уже хотел отойти, как вдруг один пожилой господин, тоже из числа играющих, некто граф Альмерс, схватил барона за руку и дрожащим от ярости голосом назвал его шулером.

– Ты сам видел? – живо спросил Дернбург.

– Собственными глазами. Я был свидетелем и того, что произошло дальше. Все вскочили, громкий говор привлек в комнату и остальных гостей, прибежала и хозяйка. Она просила и заклинала присутствующих не разглашать эту историю и пощадить ее дом, не доводить до открытого скандала. Вильденроде притворился глубоко оскорбленным; он угрожал вызвать графа Альмерса на дуэль, но его негодование было только предлогом для того, чтобы поскорее уйти. Граф заявил, что уже давно следил за этим обманщиком, но только сегодня смог уличить его; он настаивал на необходимости дать делу дальнейший ход, так как Вильденроде вращался в высших слоях общества, и надо было изгнать его из этого круга. Царевской и ее брату удалось вырвать у свидетелей обещание молчать при условии, что Вильденроде заставят немедленно уехать. Условие оказалось излишним; он и не

думал вызывать графа на дуэль, а на следующее утро узнали, что он уехал еще ночью.

Рунок излагал только факты, но выражение его лица и тон производили потрясающее впечатление и уничтожающе действовали на слушателя.

– Дальше! – коротко и хрипло произнес Дернбург.

– Я не видел Вильденроде и ничего не слышал о нем до того времени, пока он не появился в Оденсберге в качестве шурина Эриха. Я узнал его с первого взгляда, тогда как он, вероятно, уже не помнил меня; намек, который я сделал ему, он высокомерно отпарировал.

– И ты скрыл это от меня? Не сказал сразу же?..

– Разве вы поверили бы мне без доказательств?

– Нет, но я навел бы справки и узнал бы правду.

– Это я сделал за вас. У меня были многочисленные связи в Берлине, и я воспользовался ими; я обратился также на родину Вильденроде и в Ниццу, где с ним познакомился Эрих. Все, что могли бы сделать вы, сделал я, и со мной, как С посторонним, все было откровеннее, чем было бы с вами. Сначала я думал было хоть предостеречь вас; но в таком случае вы, вероятно, расторгли бы брак, от которого зависело счастье всей жизни Эриха, а это убило бы его. Когда я однажды намекнул ему на такую возможность, он сам сказал мне, что лишиться Цецилии было бы для него равносильно смертному приговору. Я знал, что он говорит правду, и не хотел брать грех на душу.

– Цецилия? – повторил Дернбург с пробуждающимся подозрением в голосе. – Совершенно верно, она пострадала бы от этого раньше всех. Какую роль играла она? Что она знала?

– Ничего! Совершенно ничего! Она жила с братом, ничего не подозревая, и считала его богатым; в этом заблуждении была она и тогда, когда стала невестой Эриха; только здесь, в Оденсберге, она узнала от меня, что в прошлом ее брата есть нечто темное; однако, что именно, у меня не хватило духу сказать ей. То, как она приняла мой намек, послужило самым убедительным доказательством, что ее нельзя упрекнуть решительно ни в чем.

Глубокий вздох облегчения, вырвавшийся у Дернбурга, доказывал, как сильно он боялся, что и на его невестку может упасть тень.

– Слава Богу! – едва слышно прошептал он.

Эгберт вынул из портфеля несколько бумаг.

– Вот письмо графа Альмерса, который ручается честным словом за истину случившегося в тот вечер; вот свидетельство о происшедшем после смерти старого барона, а вот известия из Ниццы. Или Эрих был слеп, или его нарочно изолировали и охраняли от всяких посторонних знакомств, иначе он должен был бы знать, что его шурина во всей Ницце считают двуличным профессиональным игроком. Некоторые подозревали, почему ему постоянно так «везло» в игре, но доказать свои подозрения никто не мог, и это давало ему возможность удерживать свое положение в обществе.

Дернбург взял поданные ему бумаги и, подойдя к столу, на котором находилась кнопка звонка, сказал:

– Прежде всего я должен выслушать самого Вильденроде. Надеюсь, ты не побоишься повторить свои обвинения в его присутствии?

– Я только что сделал это – я пришел сюда из его комнаты. Это была последняя попытка с моей стороны обойтись без скандала, но она не удалась. Барон знает, что в настоящую минуту я все рассказываю вам, но не поспешил за мной, чтобы оправдаться.

– Все равно, он должен ответить мне! – Дернбург позвонил и крикнул вошедшему слуге: – Попросите господина Вильденроде немедленно прийти ко мне.

Слуга вышел. Наступила продолжительная пауза; слышался только шелест бумаг, которые Дернбург разворачивал и просматривал одну за другой. Он становился все бледнее. Эгберт молчал и неподвижно стоял на прежнем месте. Много, очень много времени прошло, прежде чем дверь опять открылась, но на пороге показался не Вильденроде, а лакей.

– Господина барона нет в их комнате и вообще в доме, – доложил он, – должно быть, они уже уехали.

– Уехал? Куда?

– Верно, в город; они приказали кучеру заложить экипаж и ждать их у задней калитки парка. Должно быть, уже уехали.

Дернбург жестом отпустил лакея. Самообладание оставило его; он опустился в кресло, и с его губ сорвался вопль от-

чаяния:

– Дитя мое! Моя бедная Майя! Она всей душой любит его!

Потрясающим было горе человека, который бесстрашно шел навстречу борьбе, грозившей ему разорением, но не в силах был перенести несчастье своей любимицы.

Эгберт подошел и нагнулся к нему.

– Господин Дернбург! – сказал он дрожащим голосом.

– Уйди! Что тебе надо?

– Эрих умер, а человека, который должен был занять его место, вы вынуждены оттолкнуть. Дайте мне еще раз, хоть на один час, право, которое я имел когда-то!

– Нет! – выкрикнул Дернбург подымаясь. – Ты отрекся от меня и моего окружения, ты потерял право разделять с нами горе. Иди к своим друзьям и товарищам, которые теперь ведут против меня толпу, сорвавшуюся с цепи, и которым ты принес меня в жертву; ты принадлежишь им, твое место там! Они сделали мне много зла, но ты больше всех, потому что ты был ближе всех моему сердцу. От тебя я не хочу ни участия, ни поддержки – лучше умру!

Старик вышел в библиотеку и с силой хлопнул дверью, давая понять, что всякой связи между ним и Эгбертом пришел конец.

Деревья парка шумели и раскачивались от ветра, грозившего к вечеру превратиться в ураган. Он гнал и крутил в воздухе красные и желтые листья, а над землей расстиралось серое, затянутое облаками, небо.

Майя возвращалась с могилы брата одна, так как Цецилия пожелала еще остаться и уговорила Майю идти без нее. Девушка, переживавшая самый расцвет весенней поры жизни, чувствовала тайный страх ко всему, что напоминало о смерти; ее влекли к себе жизнь и счастье рядом с любимым человеком.

На обратном пути она проходила мимо Розового озера, где Оскар когда-то впервые заговорил с ней о любви. Сегодня это место выглядело совсем по-другому, чем в тот майский день: землю устилали поблекшие листья, пожелтевшая осока окаймляла берега озера, казавшегося черным и неприятным при мрачном свете хмурого дня; в поредевших кустах больше не щебетали птицы, все было безмолвно и мертво, а далекие горы были окутаны плотной пеленой тумана.

Майя невольно остановилась, неподвижно глядя на это так печально изменившееся место и, вздрогнув от холода, плотнее закуталась в накидку. Вдруг она услышала приближающиеся шаги; из-за кустов вышел Оскар.

– Я искал тебя по всему парку, Майя, – торопливо сказал

он, – и уже потерял было надежду найти.

– Я была с Цецилией на могиле Эриха. Она еще осталась там.

– Тем лучше, потому что мне надо поговорить с тобой. Ты согласна выслушать меня? – и, не дожидаясь ответа, барон притянул невесту на скамью.

Только теперь Майя заметила, что он в шляпе и пальто, а его лицо какое-то странно растерянное.

– Надеюсь, ничего плохого не случилось? – испуганно спросила она. – Папа?..

– Речь не о нем, а обо мне или, скорее, о нас с тобой. Майя, я должен сказать тебе нечто серьезное, важное. Ты должна доказать, что твоя любовь ко мне истинная, настоящая. Ты ведь любишь меня, не так ли? Здесь, на этом самом месте, ты отдала мне когда-то свое сердце. Я думал, что прошу твоей руки только для того, чтобы разделить с тобой счастье, жизнь, полную света и радости. Хватит ли у тебя мужества разделить со мной и горе?

Майя была ошеломлена этим внезапно обрушившимся на нее потоком слов; она дрожала.

– Оскар, Бога ради, что ты хочешь сказать? Ты пугаешь меня этими мрачными намеками!

– Я требую от тебя жертвы, большой, тяжелой жертвы. Ты принесешь мне ее?

– И ты еще спрашиваешь! Все, все, чего ты ни потребуешь!

– А если я потребую, чтобы ты покинула отца и родину и ушла со мной в чужие края, ты последуешь за мной?

– Отца? Родину? – повторила девушка не понимая. – Но ведь мы остаемся здесь, в Оденсберге.

– Нет, я должен уехать. Ты поедешь со мной?

– Я... я не понимаю тебя, – Майя вся дрожала.

Барон обнял ее и притянул к себе; в его лице не было ни кровинки, а в глазах пылал мрачный огонь.

– Я рассказывал тебе однажды о своей прошлой жизни, – начал он, – о неустанной погоне за счастьем, которое все убежало от меня, пока я не нашел его, наконец, здесь, в Оденсберге, в тебе. Ты помнишь?

– Да, – прошептала Майя. – Помню ли я! Ведь это было тогда, когда ты сказал, что любишь меня!

– Я не мог раскрыть перед твоим чистым, детским взором картину своего прошлого, – продолжал Вильденроде, – и теперь не могу, но в нем есть темное пятно...

– Несчастье? Да? – испуганно спросила Майя.

– Да, несчастье, которое сбило меня с пути истины и заставило пойти на преступление. Я хотел покончить со всем этим и начать здесь, возле тебя, новую счастливую жизнь, но вдруг эта тень снова вынырнула из прошлого и грозит отнять у меня тебя, Майя.

– Нет, нет! Я не позволю разлучить нас, что бы ни было в прошлом, что бы ни случилось в будущем! – горячо воскликнула Майя. – Мой отец – хозяин в Оденсберге, он ко-

нечно же защитит тебя!

– Твой отец расторгнет нашу помолвку и навеки разлучит нас; этот железный человек с непоколебимыми принципами предпочтет видеть тебя мертвой, нежели рядом с мужем, прошлое которого запятнано. Есть только одно средство сохранить тебя, одно единственное, но для него ты должна обладать большим мужеством.

– Что... что я должна сделать? – пробормотала Майя, теряя волю под обаянием взгляда и голоса жениха.

– Ты моя невеста; я имею право требовать, чтобы ты стала моей женой! – страстно продолжал он. – Мы уедем из Оденсберга, и как только пересечем границу Германии, я поведу тебя к алтарю; тогда никто, даже твой отец, не будет иметь права вырвать тебя у меня; о наш брак разобьются усилия всякой власти, ты будешь навсегда моей!

Вильденроде знал, что такой брак недействителен перед законом, но какое дело было ему до этого? Лишь бы Майя считала его действительным, лишь бы она могла назвать себя его женой; тогда Дернбург должен будет согласиться, ради чести своего имени он не допустит, чтобы его дочь жила с кем-нибудь, кроме мужа, а придать браку законную форму можно будет и позже. Если положение хозяина Оденсберга было для Вильденроде потеряно, то Майя все-таки оставалась наследницей отца, с ней были связаны свобода и богатство.

Это был сумасшедший, безумно смелый план, внушенный

барону отчаяньем, но он был выполним в случае согласия Майи.

Однако она в ужасе вырвалась из его объятий.

– Оскар! Всемогущий Боже! Чего ты от меня требуешь?

– Моего спасения! – порывисто воскликнул барон. – Я погибну, если останусь; ты одна можешь спасти меня. Поедем со мной, Майя, будь моей женой, моим ангелом-хранителем, и я на коленях буду благодарить тебя. Передо мной только две дороги: одна – с тобой – к жизни, другая – без тебя – к...

– К смерти? – воскликнула Майя. – Нет, нет, Оскар, ты не умрешь! Я пойду с тобой, куда хочешь!

Крик восторга сорвался с губ Оскара; он осыпал невесту страстными ласками.

– Моя Майя! Я знал это! Ты не покинешь меня, даже если все мне изменит! Пойдем, нельзя терять времени ни секунды.

– Сразу же? – спросила Майя вздрагивая. – Я не увижу больше отца?

– Это невозможно, ты выдашь себя. Мы должны уехатьсию же минуту. У калитки за парком стоит экипаж, который отвезет нас на станцию; документы и деньги у меня с собой; благодаря суматохе, которая царит сегодня в Оденсберге, наш отъезд останется незамеченным, а я позабочусь, чтобы наших следов не нашли, пока я не буду в состоянии известить твоего отца о нашем бракосочетании.

Глаза Майи не отрывались от лица говорившего. Это бы-

ли уже не веселые, невинные детские глаза; в них было выражение, которое Оскар не мог разгадать.

– Не простившись с отцом? – машинально произнесла она. – Даже и этого нельзя, когда я расстаюсь с ним навсегда!

– Не навсегда, – успокоительным тоном возразил Вильдероде. – Твой отец примирится с нами. Я возьму всю вину, всю ответственность за этот шаг на себя одного. Мы вернемся.

– Я не вернусь, – тихо сказала девушка, – я умру от этой жизни на чужбине в разлуке с отцом, от того... того чего-то ужасного, о чем ты не хочешь мне рассказать. Твоя любовь – моя смерть.

– Майя! – остановил ее барон с гневным изумлением, но она продолжала, не обращая внимания на его восклицание:

– Собственно говоря, я всегда чувствовала это. Когда ты впервые вступил в наш дом и я увидела твои глаза, мною овладел страх, мне казалось, что я стою над пропастью и должна броситься в нее. И этот страх возвращался постоянно, даже тогда, когда ты впервые заговорил со мной о любви, даже в течение последних счастливых недель; я только боролась с ним, цепляясь за сиюминутное счастье. Теперь ты показал мне эту пропасть, и я... я должна броситься в нее!

– И ты все-таки хочешь идти со мной? – медленно спросил Оскар, у которого как будто захватило дыхание.

– Да, Оскар, ты говоришь, что в этом твое спасение; как же я могу колебаться?

Майя склонила голову к нему на грудь с тихим, душераздирающим плачем; это юное существо хоронило свое счастье. Вильденроде неподвижно стоял и смотрел на нее. Наконец Майя подняла голову и вытерла слезы.

– Пойдем... я готова.

– Нет, – хрипло сказал Оскар, выпуская ее из объятий.

– Что ты сказал?

Барон снял шляпу и провел рукой по лбу, как бы стирая с него что-то. Его лицо изменилось; несколько минут тому назад на нем отражалась неудержимая страстность его натуры, теперь же на нем застыл холодный покой.

– Я убедился, что ты права, – сказал он, и его голос тоже был неестественно спокоен. – Было бы жестоко мешать тебе проститься с отцом. Иди к нему и скажи... что хочешь.

– А ты? – спросила Майя, ошеломленная такой внезапной переменой.

– Я подожду тебя здесь. Может быть, будет даже лучше, если ты еще раз поговоришь с ним, прежде чем мы решимся на последний, крайний шаг; может быть, тебе и удастся уговорить его.

Луч света, блеснувший для Майи, был бледен, но его было достаточно, чтобы воспламенить в ее сердце надежду.

– Да, я пойду к отцу! – воскликнула она. – Я буду на коленях умолять его не разлучать нас! Ты ведь не мог сделать ничего такого ужасного, непоправимого; он выслушает меня. Но разве не лучше было, если бы и ты пошел со мной?

– Нет, это ничего не изменит. Иди... иди же, время дорого. – Барон почти со страхом торопил ее, но когда она действительно пошла, он вдруг протянул к ней обе руки. – Майя! Скажи еще раз, что ты любишь меня, что ты пойдешь со мной, несмотря ни на что!

Девушка бросилась назад и прижалась к нему.

– Ты боишься, что я могу передумать? Я разделю с тобой все, Оскар, даже самое плохое! Ничто, ничто не разлучит нас с тобой!

– Благодарю тебя! – с чувством сказал барон. В его голосе слышалась тихая, мягкая, дрожащая нота, а мрачный огонь в глазах потух; они блестели глубокой нежностью. – Благодарю, моя Майя! Ты не знаешь, что ты даешь мне этими словами; они искупают всю мою вину. Может быть, ты узнаешь сейчас от отца то, что я не могу тебе сказать; если все осудят и отвернутся от меня, то вспомни, что я люблю тебя, люблю безгранично. Как я люблю тебя, я сам чувствую только теперь, и докажу тебе свою любовь.

– Оскар, ты ведь останешься здесь? – спросила Майя, томимая мрачным предчувствием.

– Я останусь в Оденсберге, даю тебе слово. Иди же, дитя!

Барон еще раз поцеловал невесту и выпустил ее руки; она медленно ушла. У кустов она обернулась; Вильденроде стоял неподвижно и смотрел ей вслед, но он улыбался, и это немного успокоило девушку; она быстро пошла дальше по окутанному туманом парку.

Оскар следил взглядом за ее стройной фигуркой, пока она не скрылась, потом медленно вернулся к скале и ощупал рукой карман на груди; там лежали его деньги, и еще что-то, взятое им на случай. Теперь он наступил. Но нет, не здесь, не так близко от дома! Часом позже, часом раньше – не все ли равно, а ночь больше подходила его намерению.

– Бедная Майя! – тихо произнес он. – Ты будешь горько плакать, но отец примет тебя в свои объятия. Ты права – такая жизнь и мой позор убили бы тебя. Ты будешь спасена, я пойду один навстречу... гибели.

Фамильное кладбище семьи Дернбургов находилось в конце парка и представляло собой место, окруженное темными елями; простые мраморные памятники украшали зеленые, увитые плющом, могилы. Здесь покоились отец и жена Дернбурга, здесь же нашел, себе последнее пристанище и его сын Эрих.

Вдова Эриха еще оставалась на могиле, но ветер, становившийся все сильнее и порывистей, напомнил ей наконец, что пора уходить. Она наклонилась, чтобы поправить свежий венок на могиле, но вдруг сильно вздрогнула и выпрямилась: из-за елей вышел Эгберт Рунек и остановился против нее. Очевидно, И он не ожидал встречи, но быстро пришел в себя и сказал кланяясь:

– Прошу прощения, если помешал; я думал, что здесь никого нет.

– Вы в Оденсберге, господин Рунек? – спросила Цецилия, не скрывая удивления.

– Я был у господина Дернбурга и не хотел упустить случай побывать на могиле друга. Я вижу ее в первый и, конечно, в последний раз. – Его взгляд скользнул по одетой в креп фигуре Цецилии. Он подошел к могиле и долго молча смотрел на нее. – Бедный Эрих! – сказал он после паузы. – Ему пришлось так рано проститься с жизнью и все-таки... такой

смерти можно позавидовать – умер в полном расцвете счастья!

– Вы ошибаетесь. Эрих умер не с этим чувством, – тихо сказала Цецилия.

– Вы хотите сказать, что он чувствовал приближение смерти и его мучила тоска разлуки? Но я слышал, что смерть застала его врасплох, что, когда у него горлом хлынула кровь, он был совершенно здоров, а потом уже не приходил в сознание.

– Не знаю, для меня в последних минутах жизни Эриха есть что-то загадочное, – взволнованно возразила молодая женщина. – Когда он незадолго перед смертью открыл глаза, я видела, что он узнал меня; этот взгляд преследует меня до сих пор, я не могу освободиться от него: он был полон такой боли и упрека, как будто Эрих знал или подозревал...

– Что он мог подозревать? – поспешно спросил Рунек.

Цецилия молчала; здесь меньше чем где-нибудь в другом месте она могла сказать, чего боялась.

– Брат думает, что это мое воображение, – уклончиво возразила она. – Может быть, он и прав, но это воспоминание мучит меня и всегда будет мучить.

Она наклонила голову, прощаясь с Эгбергом, и хотела уйти; он явно боролся с собой, но потом сделал движение, как будто желая удержать ее.

– Я думаю, будет лучше, если я приготовлю вас к известию, которое встретит вас дома. Барон Вильденроде уехал.

– Мой брат? – воскликнула Цецилия с испугом, полным предчувствия. – И вы в Оденсберге? Что вы сделали?

– Исполнил тягостный долг, – серьезно ответил Эгберт. – Ваш брат не оставил мне выбора. Он был предупрежден через вас, и мог бы довольствоваться тем, чего уже достиг... нельзя же было принести в жертву Майю! Я открыл глаза вашему свекру.

– А Оскар? Он уехал, говорите вы? Куда?

– В настоящее время этого никто не знает, но во всяком случае вас он известит об этом. Однако вас это не касается, и любовь к вам вашего свекра не уменьшилась; он знает, что вы не заслуживаете упрека.

– Разве дело во мне? – горячо воскликнула молодая женщина. – Неужели вы думаете, что я могу спокойно жить в Оденсберге, когда мой брат опять блуждает по свету в борьбе с враждебными силами, которые уже сбили его с толку? Вы исполнили свой долг – пусть так! Что за дело такой железной натуры, как ваша, кого и что вы уничтожили при этом!

– Цецилия! – перебил ее Рунек, и в его голосе слышалась мука, которую он испытывал, слушая эти упреки; но молодая женщина продолжала с возрастающей горечью:

– Брак с Майей и ее любовь спасли бы Оскара, я знаю это, потому что в нем есть предрасположение к добру. Теперь он опять брошен в прежнюю обстановку, теперь он погиб!

– И виноват я, – вы, конечно, это хотите сказать?

Цецилия не ответила, но ее глаза с отчаянием и горьким

упреком смотрели на человека, стоявшего перед ней с мрачным и непреклонным взглядом.

– Вы правы, – сурово сказал Эгберг. – Провидение осудило меня приносить горе и несчастье всем, кого я люблю. Человека, который был для меня более чем отцом, я вынужден был оскорбить и обидеть до глубины души; сердце бедной Майи я должен был смертельно ранить; но самое тяжелое для меня – то горе, которое я должен был причинить вам, Цецилия, и за которое вы осуждаете меня.

Он напрасно ждал возражения, Цецилия упорно молчала. Так же, как тогда, когда они стояли у подошвы Альбенштейна, слышался шум. Этот таинственный шум то усиливался и разрастался, то вдруг стихал и замирал вместе с ветром; только теперь это был шум осенней бури, яростно трепавшей полуоголившиеся деревья. Серые тени сумерек ложились на землю, а звуки, примешивавшиеся к завыванию ветра, не походили на мирный звон колоколов; это был далекий смешанный гул, слишком неопределенный для того, чтобы можно было решить, что это такое, тем более что буря часто заглушала его. Но вот ветер стих на несколько мгновений, и гул донесся яснее; Цецилия испуганно повернула голову.

– Что это? Это со стороны дома?

– Нет, как будто с заводов, – ответил Рунек. – Это голоса людей! Это крики разъяренной толпы! На заводах что-то случилось. Я должен идти туда!

– Вы? Что вам нужно там?

– Я буду защищать господина Дербурга от его людей! Я знаю, как раздражены и настроены против него рабочие: если он теперь покажется... ему грозит опасность.

– Господи! – в ужасе вскрикнула молодая женщина.

– Не бойтесь ничего; пока я возле него, ни один из рабочих не приблизится к нему. Горе тому, кто решится на это!

Несколько минут тому назад Цецилия думала, что не может простить обвинителя ее брата, а теперь воображаемая ненависть вдруг исчезла под влиянием страха за него, за его жизнь; она быстро подбежала к нему и, обеими руками схватив его за руку, воскликнула:

– Эгберт!

Рунок остановился как вкопанный.

– Цецилия! Вы так зовете меня?

– Вы не станете намеренно раздражать толпу? О, вы ищете смерти! – вне себя воскликнула молодая женщина. – Эгберт, подумайте обо мне, о том, как я боюсь за вас!

В восторге от услышанного, Эгберт хотел привлечь к себе любимую женщину, но его взгляд упал на ее траурное платье и на могилу друга, и он только молча прижал ее руку к губам; однако светлый луч счастья не погас на его лице.

– Я буду думать и помнить об этом. Прощайте, Цецилия! С этими словами он быстро исчез.

К вечеру оденсбергские заводы стали ареной бурных сцен. Старания начальства сдержать волнение и сохранить спокойствие при увольнении рабочих осталось без результатов вследствие вызывающего поведения партии, тайным руководителем которой был Ландсфельд и возглавлял которую здесь, на заводах, рабочий Фальнер. Сегодня руководитель социалистов счел нужным лично явиться в Оденсберг; он знал, что зависело от этого дня. Большинство рабочих уже опомнилось и решило завтра опять приступить к работе, подчинившись требованиям патрона; каково будет влияние их примера на остальных, можно было предвидеть; следовательно, надо было во что бы то ни стало устроить несколько стычек, которые сделали бы всякое соглашение невозможным. Добиться этого Ландсфельду удалось.

Заводы были переполнены шумящей толпой рабочих, которые пока только ссорились между собой. Фальнер и его приверженцы яростно осыпали бранными словами своих противников.

«Труссы! Изменники! Подлые собаки!» – слышалось во круг, а те, к кому относились эти эпитеты, разумеется, не оставались в долгу. Они упрекали товарищей в том, что те силой заставили их принять решение, которое им и во сне не снилось. Кулаки пока не очень пускались в ход, но каж-

дую минуту могло последовать кровавое столкновение, а тогда диким страстям возбужденной толпы трудно будет препятствовать.

Служащие выдерживали форменную осаду в здании дирекции; младшие сбежали из бюро и мастерских, теперь уже запертых, сюда, к своим начальникам, которые сами совершенно растерялись. Принятые меры не дали результата, и все взволнованно обсуждали, что нужно предпринять.

– Ничего не поделаешь, надо вызвать патрона, – сказал директор. – Он решил при необходимости вмешаться лично; я не знаю, что еще можно придумать.

– Ради Бога, нет! – воскликнул Виннинг. – Он не должен показываться; он настроен совсем не так, чтобы сказать им доброе слово, а если заговорит с ними резко, тогда всего можно ожидать.

– Да чего, собственно, хотят эти люди? – спросил доктор Гагенбах, пришедший сюда, полагая, что может быть надобность в медицинской помощи. – Кому они угрожают? Господину Дернбургу? Нам? Или друг другу?

– Этого они, по всей вероятности, и сами не знают, – возразил главный инженер. – Разве что их предводителю Ландсфельду это ясно. Говорят, сегодня он в Оденсберге, а потому мы можем с полной уверенностью ждать чего-нибудь серьезного.

– Именно поэтому я и не могу дольше брать ответственность на себя одного, – сказал директор. – Я извещу патрона,

что мы потеряли власть; пусть делает, что хочет.

Он пошел к телефону, как вдруг шум снаружи прекратился. Он затих внезапно; наступила могильная тишина.

– Это патрон! – произнес Виннинг. – Я так и думал, что он придет, как только услышит шум.

– Но какой у него вид! – тихо прибавил Гагенбах. – Боюсь, чтобы не случилось чего недоброго.

– Надо открыть двери, чтобы он мог скрыться здесь в случае нужды, – сказал директор, также поспешно подошедший к окну. – Он ведь один, даже Вильденроде нет; мы должны выйти к нему. Скорее, господа!

Дверь, запертую изнутри, открыли, но ни они не могли пробраться к хозяину, ни он к ним; их разделяла плотная толпа, занявшая всю площадь перед домом; попытка директора и его коллег пробить эту живую стену оказалась безуспешной; стоявшие ближе к ним рабочие приняли такие угрожающие позы, что они попятились, не желая еще больше разозлить толпу, так как это тотчас обратилось бы против Дернбурга.

Последний воспользовался узкой боковой дорожкой от господского дома к зданию дирекции, минуя заводские корпуса; никто не видел, как он прошел, и теперь он вдруг точно вырос перед рабочими из-под земли. Каким авторитетом он пользовался, показала эта минута: одно его появление уже подействовало на возбужденную толпу, и она вдруг притихла; все смотрели на высокую фигуру человека, стоявшего пе-

ред ними с мрачно сдвинутыми бровями, и все ждали его первого слова. Он медленно обвел взглядом толпу, которая когда-то повиновалась одному его знаку, а теперь так встречала его, и все еще молчал; казалось, голос отказывался слушать ему.

К несчастью, Ландсфельд и Фальнер были недалеко; предводитель социалистов находился перед зданием дирекции, где заперлись служащие; там же собрались самые ярые из его приверженцев. Появление Дернбурга, по-видимому, ничуть не удивило его и не было для него нежелательно; наоборот, его глаза блеснули как будто удовольствием, и он тихо сказал Фальнеру, постоянно находившемуся возле него как бы в качестве его адъютанта:

– Вот и старик! Я знал, что он не станет спокойно сидеть в четырех стенах, когда на его заводах начнется потеха. Теперь дело пойдет на лад!

Наконец Дернбург заговорил твердым голосом.

– Что значит этот шум? У вас нет причин поднимать его; вы заявили о своем желании прекратить работу – я запер мастерские и буду держать их закрытыми. Вы получили жалованье, идите же по домам!

Рабочие остолбенели; они привыкли к короткой и повелительной речи своего хозяина, но этот презрительный, ледяной тон они слышали от него впервые.

Ландсфельд нашел это мгновение подходящим для своего личного вмешательства.

– Ты вместе с остальными поддержишь меня! – быстро приказал он Фальнеру и затем, не долго думая, направился к Дернбургу.

– Дело не в жалованье, – заговорил он с вызывающим видом. – Чего требуют от вас рабочие, вам было уже сообщено. несправедливо уволенные рабочие должны быть...

– Кто вы? Кто дал вам право вмешиваться? – перебил Дернбург, хотя хорошо знал говорившего.

– Мое имя Ландсфельд! – последовал надменный ответ. – Я полагаю, этого достаточно для оправдания моего вмешательства.

– Нет, потому что вы не принадлежите к числу моих рабочих; вмешательства посторонних я не потерплю. Оставьте Оденсберг сию же минуту!

Приказание звучало гордо и презрительно. Ландсфельд смерил с ног до головы человека, против которого сейчас были настроены все и тем не менее осмелившегося так говорить.

– Такого требования я не выполню, – язвительно возразил он. – Я здесь по поручению своей партии, которой не безразличны дела Оденсберга. Товарищи! Признаете ли вы меня своим представителем? Могу ли я говорить от вашего имени?

Фальнер и его сообщники, следовавшие за своим вождем и окружавшие его, громкими криками поддержали его; остальные молчали. Ландсфельд с торжеством поднял голо-

ву.

– Слышите? Итак, я скажу вам, что условия, которые вы ставите желающим снова взяться за работу, позорны и унижительны! Всякого, кто их примет, я объявляю трусом и изменником!

– А я объявляю, что не желаю иметь дело ни с вами, ни с подобными вам! – крикнул Дербург, донельзя раздраженный этим вызовом. – Я поставил своим рабочим условия и только с этими условиями снова открою заводы, с людьми же вашего сорта я вообще не разговариваю.

Ландсфельд яростно рванулся вперед.

– С людьми моего сорта? Мы, конечно, не более как черви в глазах такого важного барина? Товарищи, как вам это нравится?

Он недаром обратился к единомышленникам; на Дербурга посыпались бранные слова и угрозы, и толпа еще теснее обступила его. Отрезанный от всякой помощи, он каждую минуту, мог ожидать всего самого худшего.

В этот момент издалека донеслись крики, возгласы, восторженные приветствия; можно было даже разобрать крики «Ура!», которые все росли и приближались. «Ура, Рунек! Ура, Эгберт Рунек!» – слышалось со всех сторон, и тесно сплотившаяся толпа расступилась, давая дорогу быстро подходившему инженеру.

Задыхаясь от быстрой ходьбы, он остановился возле Дербурга с таким видом, который явно говорил, что он решил

или выстоять вместе с ним, или погибнуть. Он бросил на Ландсфельда угрожающий взгляд, но тот ответил лишь насмешливым пожатием плеч.

– Ты здесь, мой милый? – пробормотал он. – Ну, если тебе самому угодно сломать себе шею, то мне незачем и стараться помочь в этом.

Рунок быстро окинул взглядом толпу и, оценив всю опасность положения, ухватился за единственное средство, которое еще могло помочь.

– По домам! – крикнул он рабочим, которые держали в осаде здание дирекции. – Разве вы не видите, что господин Дернбург хочет пройти к своим подчиненным? Я проведу его; дайте дорогу!

Пораженные и озадаченные рабочие повиновались и начали отступать; место перед домом мало-помалу освободилось. Если Дернбургу удастся пройти к своим служащим, опасность устранилась, и все окончится миром; но это не входило в планы Ландсфельда, и он снова вмешался.

– Что это значит? – резко крикнул он. – Наш депутат идет против нас на стороне враждебной партии? Сюда, Рунок! Твое место среди нас, твой долг отстаивать нас! Или ты намерен изменить нам?

Слово «изменить» сразу оказало действие: послышался грозный, глухой рокот толпы.

– Вы сами изменники и негодяи, если нападаете на человека, который делал для вас все, что только мог! – крик-

нул Рунек. – Прочь! Первый, кто прикоснется к нему, будет иметь дело со мной!

Он был в такой ярости и так страшен, что все, кроме Ландсфельда, попятились.

– Не испробуешь ли ты своих сил на мне? – крикнул последний, бросаясь вперед к Дернбургу, но в то же мгновение с громким криком, обливаясь кровью, упал на землю, пораженный тяжелым кулаком Рунека.

Все это произошло мгновенно и вызвало взрыв страстей раздраженной толпы. Фальнер и его сообщники с диким воплем кинулись на Рунека, который бросился к Дернбургу и заслонил его собой; богатырская сила давала ему возможность в течение нескольких минут выдерживать натиск, но исход такой неравной борьбы нетрудно было предвидеть. Вдруг в высоко поднятой руке Фальнера сверкнул нож, последовал сильный удар – и Эгберт упал.

Толпа оцепенела от ужаса; чудовищный поступок разом отрезвил ее, даже Фальнер застыл, испуганный содеянным; крики стихли. Бледный, с крепко сжатыми губами Дернбург, медленно нагнулся и приподнял бесчувственного Рунека; никто ему не мешал.

Между тем, когда место перед домом несколько освободилось, служащие возобновили попытку протиснуться к хозяину; это удалось им лишь отчасти, но во время кровавой развязки они были уже поблизости. Доктор Гагенбах сумел воспользоваться обстоятельствами.

– Дорогу врачу! – крикнул он, протискиваясь вперед. – Пропустите меня!

Это помогло: в толпе образовался узенький проход, и через несколько минут служащие окружили Дернбурга. Но он, забыв о своей безопасности, стоял на коленях возле Эгберта, поддерживая его голову, а когда доктор склонился, чтобы осмотреть рану, спросил тихим голосом, в котором слышался страх:

– Смертельно?

– Очень тяжело, – громко и серьезно ответил Гагенбах. – Надо сию же минуту перенести его.

– Ко мне! – сказал Дернбург.

– Да, это лучше всего. – Доктор быстро наложил повязку и повернулся к Ландсфельду, чтобы осмотреть и его. – Никакой опасности! – крикнул он окружающим. – Он просто оглушен ударом. Отнесите его в дом, и он скоро придет в себя, а в моей помощи нет надобности. Вот Рунек – тот тяжело ранен.

Его вид показывал, что он считает весьма возможным смертельный исход; и это решило дело: рабочие взволнованно заговорили, а когда Рунека подняли и понесли, толпа уже была настроена по-другому. Рабочие смотрели на своего депутата, которого выбрали назло хозяину. Залитый кровью, безжизненный, Рунек лежал на руках служащих, несших его, а их старый хозяин шел рядом, держа его за руку. Все молча отступали, пропуская печальную процессию; не слыша-

лось ни слова, ни звука, тысячную толпу охватило могильное молчание.

Тем временем в господском доме со страхом ждали исхода беспорядков; с заводов отчетливо доносились крики. Майя была еще в парке, когда ее отец был уже среди рабочих, а потому не могла переговорить с ним. Она пошла к Цецилии с намерением излить ей все, что накопилось у нее на сердце, но нашла ее в таком безумном страхе и волнении, что разговор оказался невозможным.

– Оставь меня, Майя! – с отчаянием сказала ей молодая женщина. – Оставь меня хоть на время! Позднее я выслушаю все, отвечу на все вопросы, но теперь я не могу думать ни о чем, кроме опасности, которой он подвергается!

Она выбежала на террасу, с которой можно было видеть заводы. У бедной Майи стало еще тяжелее на сердце. «Опасность, которой он подвергается!» Ведь это могло быть сказано только о ее отце, которого Цецилия так полюбила. Неужели ему серьезно грозит опасность со стороны его рабочих?

Так прошло больше часа; Майя не могла дольше выдержать. Что подумает Оскар о ее отсутствии? Он может предположить, что она колеблется в своем решении и хочет, чтобы он уехал один, чтобы он погиб! Она должна вернуться к нему хоть на несколько минут, чтобы сказать ему, что говорить с отцом теперь невозможно. Задыхаясь, она бросилась в парк, уже погруженный в глубокие сумерки, и вдруг встре-

тила отца.

Дернбург со своими спутниками выбрал кратчайший путь по той же узенькой боковой дорожке, по которой пришел на заводы и которой не было видно с террасы. Дорогой Эгберт пришел в себя от боли, которую причиняло ему движение. Его первый вопрос был о Ландсфельде; Гагенбах и ему сказал, что тому не грозит ни малейшая опасность; Эгберт с облегчением вздохнул.

В первое мгновение Майя увидела только отца и порывисто бросилась ему на грудь.

– Ты жив, папа, ты спасся! Слава Богу, теперь все будет хорошо!

– Да, спасся, но вот какой ценой, – тихо сказал Дернбург, указывая назад.

Девушка только теперь заметила раненого и вскрикнула от ужаса.

– Тише, дитя мое, – остановил ее Дернбург. – Я не хотел пугать вас. Где Цецилия?

– На террасе. Я сейчас скажу ей; она чуть не умирает от страха за тебя, – прошептала Майя, испуганно глядя на товарища детства, который был похож на умирающего, и поспешила к Цецилии.

Дернбург велел отнести Эгберта в собственную спальню и положить на кровать.

Доктор хлопотал возле раненого и отдавал приказания прибежавшей прислуге; вдруг дверь порывисто распахну-

лась, и в ней показалась Цецилия в сопровождении Майи; не обращая внимания на присутствующих, даже не взглянув на них, она кинулась к постели раненого и опустилась на колени.

– Эгберт, ты обещал мне жить! – в отчаянии вскрикнула она. – Ты все-таки искал смерти!

Дернбург остановился, пораженный. Никогда в его мыслях не зарождалось даже малейшее подозрение о существовании этой любви; теперь одно мгновение выдало все.

– Я не хотел смерти, Цецилия, право, не хотел, – тихо ответил Эгберт, – но спасти его иначе не было возможности.

Его глаза обратились на Дернбурга, растерянно смотревшего то на одного, то на другую.

– Так вот в каких вы отношениях! – медленно проговорил он.

Цецилия молчала, обеими руками держа за руку любимого человека, как бы боясь, чтобы их не разлучили. Эгберт пытался что-то сказать, но Дернбург не позволил ему говорить.

– Молчи, Эгберт, – серьезно сказал он. – Я знаю, что ты с нежностью относишься к невесте Эриха, чтобы не запятнать ее чести, тебе нет надобности уверять меня в этом, а после его смерти ты сегодня впервые в Оденсберге. Бедный мой мальчик! Этот приезд был роковым для тебя; ты заплатил за него своей кровью!

– Но эта кровь освободила меня от цепей партийного раб-

ства! – Эгберт попытался приподняться. – Никто из вас не подозревает, как тяжело мне было носить их. Теперь они разорваны, я свободен!

Он обессиленно упал на подушки. Доктор, не скрывая от раненого, насколько опасно его положение, решительно запретил ему говорить и волноваться.

Дернбург взглянул на невестку, умоляюще смотревшую на него; он понял ее немую просьбу.

– Эгберту нужен полный покой и тщательный уход, – серьезно сказал он. – Я поручаю его тебе, Цецилия, ты будешь здесь самой лучшей сиделкой.

Он еще раз нагнулся к раненому, обменялся несколькими тихими словами с доктором и направился в кабинет; Майя, до сих пор безмолвно стоявшая у двери, последовала за отцом, но приблизилась к нему так робко и нерешительно, будто должна была признать собственную вину.

– Папа, мне надо сказать тебе кое-что, – потупившись прошептала она. – Я знаю, каким тяжелым был для тебя сегодняшний день... но я не могу откладывать; в парке ждут моего и твоего решения, я должна дать ответ. Ты согласен выслушать меня?

Дернбург обернулся. Да, правда, сегодня он пережил много нелегких минут, но теперь ему предстояло самое тяжелое. Он протянул к своей любимице руки и, прижимая ее к груди, сказал прерывающимся голосом:

– Моя малютка Майя! Мое бедное, бедное дитя!

Наступила темная беспокойная ночь; небо было покрыто тяжелыми тучами. На оденсбергских заводах стояла тишина. Не было надобности ни в каких особенных мерах, не пришлось даже требовать, чтобы рабочие разошлись, по домам. После того, как их депутат свалил с ног одного из руководителей беспорядков и сам пострадал от ножа другого, ими овладело какое-то оцепенение; они чувствовали, что произошло нечто серьезное, избегали Фальнера; когда же стало известно, что Ландсфельд, в самом деле очнувшийся через полчаса, пешком ушел из Оденсберга, настроение оденсбергцев окончательно изменилось; слышались горькие жалобы и недовольство Ландсфельдом.

Среди ночной тьмы и свиста бури перед господским домом одиноко стоял барон Вильденроде. В окнах виднелся слабый свет; это была комната, где лежал Эгберт. Никто из обитателей дома не спал в эту ночь. Барон не знал ничего о последних событиях; он слышал гул, доносившийся с заводов, когда уходил от Розового озера, и знал, чего ожидали от этого вечера; но какое ему было дело теперь до Оденсберга и вообще до всего на свете!

Оскар готовился к последнему шагу. Он знал, что не должен больше видеть невесту, но непреодолимое стремление еще раз побыть вблизи нее влекло его к месту, где находи-

лось единственное существо на земле, которое он действительно любил. Ради Майи он принес себя в жертву, и даже остаток расчета в его любви исчез; эта любовь была единственным чистым чувством в его запятнанной, загубленной жизни, с которой он собирался свести счеты при помощи пули.

Вильденроде вспомнил первый вечер, проведенный им в Оденсберге. Он стоял тогда наверху у окна, и его голова была полна честолюбивых планов, а в сердце только зарождалась симпатия к милому ребенку, с именем которого было связано так страстно желаемое им богатство. Тогда он дал себе клятву стать со временем хозяином и повелителем этого мира и, предвкушая победу, гордо смотрел на заводы, из труб которых летели снопы искр; теперь жизнь в них замерла.

Только там, где находились прокатные мастерские, мерцал слабый, колеблющийся свет, постепенно становившийся все ярче. Оскар взглянул на него сначала рассеянно, потом пристально. Вот свет исчез, но затем вспыхнул снова; вот он мелькнул в другом месте, а затем вдруг точно молния озарила мрак ночи – пламя высоко взвилось к небу, и при его свете стало видно, что все окрестности окутаны густыми клубами дыма.

Вильденроде вздрогнул и, бросившись к дому, стал стучать в окно привратника.

– На заводах пожар! Разбудите господина Дернбурга! Я побегу туда!

– Пожар в такую ветреную ночь? Господи, спаси нас и помилуй! – послышался в ответ испуганный голос привратника, но Оскар уже бежал к заводам.

Пожар бушевал все сильнее. Обычно на заводах и ночью работали сотни людей; сегодня же там оставались лишь сторожа, да и те спали.

Вильденроде прежде всего кинулся к домику старика Мертенса и разбудил его. Ударили в набат, и через несколько минут собралось с десятков человек; глухой рев пламени был слышен уже совершенно ясно.

В Оденсберге пожарное дело было поставлено превосходно, потому что Дернбург организовал из своих рабочих добровольную пожарную команду и прекрасно обучил ее; но сегодня обычный порядок был нарушен, рабочие разошлись по своим довольно отдаленным от заводов домам и едва ли можно было ждать от них помощи.

Появился сам Дернбург, а с ним прибежали некоторые из служащих, жилища которых находились поблизости. Вильденроде вдруг очутился лицом к лицу с человеком, который всего несколько часов назад признавал за ним права сына, а теперь уже знал ужасную правду; Дернбург тоже невольно попятился, увидев барона, который, по его мнению, в эту минуту должен был находиться уже далеко отсюда. Но теперь не время было объясняться, и Оскар, решительно подойдя к нему, произнес:

– Я первый заметил пожар и сейчас же велел ударить в

набат. По-видимому, горит в прокатных мастерских.

– Да, в прокатных, – согласился Дернбург, – но причиной пожара не может быть неосторожность, работы прекращены там еще в полдень. Это поджог.

Окружающие согласились с его мнением. Но теперь не время было, по мнению Вильденроде, заниматься пустыми разговорами.

– Как бы то ни было, – воскликнул он, – мы должны проникнуть к месту пожара! При таком ветре всем заводам грозит большая опасность.

– При таком ветре все сгорит, – мрачно произнес Дернбург. – У нас нет даже средств для тушения пожара.

– А насосы! Рабочие... – заметил старый Мертенс, но горький смех хозяина не дал ему договорить.

– Мои рабочие? Они дадут сгореть всему, что только может гореть. Зовите их сколько угодно, ни один не придет! Ведь это мои заводы. Ни один из рабочих и пальцем не шевельнет.

Как будто в ответ на его слова послышались голоса и показались факелы на проходных заводов; появился отряд рабочих, шедших в пожарных касках и куртках, а сзади гремели насосы; через пять минут прибыл второй отряд, затем третий, четвертый; сигналы раздавались со всех сторон, вся оденсбергская долина ожила, всюду заблестели огоньки. Заводы наполнились людьми, все пришли и были готовы работать.

Дернбург вначале точно окаменел, глядя на пришедших; но когда увидел, что из темноты выступает один отряд за другим, что эти люди спешат, как будто это касается спасения их собственной жизни, глубокий вздох вырвался из его груди: владелец Оденсберга выпрямился, будто с его плеч свалилась гора, и воскликнул:

– Ну, если вы так хотите, – вперед! Туда, где горит!

Но пожар уже успел разгореться; прокатные мастерские были объяты пламенем, и пожарные тщетно пытались проникнуть внутрь. Дернбург лично руководил работами, и рабочие повиновались ему так же беспрекословно, как и раньше.

Оскар носился как угорелый. Он не спрашивал, признается ли еще за ним право принимать участие в общем деле, а просто взялся за него. Он появлялся везде, где была необходима помощь. Пожарные бесстрашно боролись с пламенем, насосы безостановочно качали воду, но огонь приобрел себе могучего помощника в свирепствующей буре и в союзе с ней насмехался над всеми усилиями людей. Огненные языки вырывались из окон зданий, лизали стены и, рассыпаясь искрами, вылетали из-под крыш, ветер перенес огонь на другие крыши; горящие головни, подхваченные бурей, летали по воздуху, неся с собой беду, и, падая, повсюду поджигали окружающие постройки. Отряды людей приходилось посылать то туда то сюда.

Вильденроде только что вернулся с одного из таких мест,

где тушили пожар под его руководством, к месту очага пожара, где безотлучно находился Дернбург, совещаясь с главным инженером. Тот стоял перед ним с растерянным лицом и говорил:

– Мы не совладаем с огнем. Посмотрите, он грозит уже захватить литейные мастерские, а если они загорятся, ему будет открыт путь куда угодно. Одно средство, может быть, еще и есть, но ведь вы не соглашаетесь. Если бы попытаться открыть резервуар радефельдского водопровода...

– Нет, никогда, это будет стоить человеческой жизни! – протестовал Дернбург. – Может быть, и нашлись бы охотники попытаться, но я не стану жертвовать людьми; пусть лучше все заводы сгорят.

Он подошел к насосам, отдавая приказания, а Вильденроде, слышавший их разговор, обратился к инженеру:

– Что вы сказали о радефельдском водопроводе?

– Он примыкает непосредственно к прокатным мастерским, – ответил тот. – Если бы открыть главную задвижку водоема, то пожар, пожалуй, можно было бы затушить. Но мы не имеем туда доступа: труба находится...

– Знаю, – перебил Вильденроде, – я присутствовал во время испытания и видел, как ее открывают. Вы говорите, пройти туда невозможно?

Инженер пожал плечами и указал на пожар.

– Теперь это, пожалуй, более возможно; насосами ликвидирован очаг, по крайней мере, на короткое время, но госпо-

дин Дернбург прав – попытка стоила бы человеческой жизни. Кто решится пройти между горящими стенами, которые каждую минуту могут обрушиться? А если бы и нашлись желающие и если бы им удалось открыть задвижку и направить воду на огонь, то как они вернулись бы? Когда вода прорвется, их задушит паром, и ни один не останется в живых.

– Все дело в том, чтобы один добрался туда живым, – проворчал Оскар, глядя на бушующее пламя.

Инженер озадаченно взглянул на него, но прежде чем собрался ответить, подошел Дернбург.

– Примите там команду, – приказал он, – Виннинг больше не в силах.

Инженер поспешно ушел, а Дернбург окинул барона мрачным взглядом.

– Зачем вы здесь? – спросил он, понижая голос. – Здесь достаточно рабочих рук, мы не нуждаемся в вашей помощи.

– Может быть, и нуждаетесь! – странно улыбаясь, ответил Вильденроде.

Дернбург подошел к нему ближе.

– Я не хотел позорить вас перед своими служащими и рабочими, но теперь говорю вам, что здесь вам больше нет места. Уходите!

Вильденроде мужественно выдержал грозный взгляд Дернбурга и сказал медленно и серьезно.

– Я уйду. Поклонитесь от меня Майе. Может быть, вы позволите ей хоть... поплакать обо мне!

Он быстро повернулся и исчез в толпе.

Оденсберг пережил ужасную ночь. Буря гнала облака, окрашенные пламенем в кровавый цвет, толпа суежилась, оглушительно крича, насосы шипели – все это представляло жуткую картину.

Вдруг из середины пожарища поднялся громадный клуб пара; он все рос, и в то же время слышалось странное шипение и гул. Пламя уже не взвивалось так высоко как до сих пор; оно потухало, уступая какой-то таинственной силе, а облако пара и гул все росли. Окружающие не могли понять, что происходит, и вслух высказывали всевозможные предположения; Дернбург первый нашел объяснение загадки.

– Открыт радефельдский водоем! – крикнул он. – Вода прорвалась. Вероятно, от огня лопнула главная труба или задвижка. Как бы то ни было, это спасет нас!

Все, затаив дыхание, следили за борьбой двух враждебных стихий, но скоро вода победила; правда, крыша мастерских еще горела, но потушить ее, когда внутреннее море огня погасло, было уже возможно. Насосы заработали с новой силой. Часть стен рухнула, и здание превратилось в груду развалин; это устранило опасность, грозившую окружающим постройкам, и пожар уже не мог распространяться дальше.

– Помощь пришла кстати, – сказал Дернбург, – а то, что водоем открылся в самый критический момент, не простая случайность...

– Боюсь, что это дело человеческих рук, – тихо проговорил главный инженер.

– Что вы хотите сказать?

– Барона Вильденроде нигде не видно. Он только что говорил со мной о возможности открыть водоем и сделал при этом одно странное замечание, которое даже испугало меня; несколько минут спустя я видел, как он быстро шел в том направлении и там исчез. Здесь не было простой случайности.

Дернбург побледнел; ему вдруг стали ясны последние слова Оскара, и он понял все.

– Господи! – воскликнул он. – В таком случае мы должны проникнуть туда, должны хоть попробовать...

– Это невозможно! – перебил директор. – Под этими дымящимися развалинами не спасется ни одно живое существо.

Он был прав, и Дернбург видел это; глубоко потрясенный, он закрыл глаза рукой. Для него все было ясно: человек, желавший во что бы то ни стало получить Оденсберг в свое владение, пожертвовал собой, чтобы спасти его.

Много часов пришлось еще работать оденсбергцам. То здесь, то там снова вспыхивал огонь; надо было изолировать место пожара и закрыть трубу радефельдского водоема, из которого все еще текла вода.

Наступил день, и наконец появилась возможность отпустить рабочих, оставив лишь сторожей. Все они проявили удивительное мужество и усердие. Теперь эти люди с закоп-

ченными лицами, в мокрой одежде, истощенные продолжительной и тяжелой работой, ждали своего хозяина; все взоры были безмолвно и вопросительно устремлены на него, когда он подошел к ним. В его голосе слышалось глубокое волнение, когда он начал говорить.

– Благодарю вас, дети! Того, что вы сделали для меня в эту ночь, я никогда не забуду. Вы обещали бросить работу, и я сказал, что не позволю вам снова переступить проходную; но вы все-таки работали для меня и моего Оденсберга, а потому, я думаю, – он вдруг протянул обе руки седому старику-рабочему, стоявшему возле него, – что мы с вами забудем все неприятности и будем продолжать работать вместе, как уже работали тридцать лет!

Крики радости, раздавшиеся со всех сторон, положили конец оденсбергскому мятежу.

Больше двух лет прошло с той бурной ночи, когда на оденсбергских заводах свирепствовал пожар, но эта буря и пожар, грозившие все уничтожить, стали источником новой жизни и деятельности.

Тяжелые события мало-помалу начали забываться, хотя долго еще было заметно их влияние. На следующий день после пожара был найден труп барона Вильденроде. Его геройский поступок всюду вызывал удивление и восторг; только Дернбург, Эгберт и немногие, посвященные в тайну, знали, что этой жертвой барон искупил бесчестную, запятнанную жизнь, для всех же других память барона, останки которого покоились под шумящими елями оденсбергского парка, была чиста и непорочна.

По всеобщему убеждению причиной пожара был поджог, но доказательств найдено не было, да их и не хотели искать. Фальнер, на которого падало подозрение, уехал из Германии, чтобы избежать суда, грозившего ему за нападение на Рунка. Так как последние события и без того уже обратили на себя внимание общества, то замешанные в них лица не пожелали еще больше выставлять себя напоказ судебному расследованию. В этом вопросе Дернбург был одинакового мнения со своими противниками и сделал все от него зависящее, чтобы предать прошлое забвению; он не хотел возму-

щать только что установившийся в Оденсберге мир, возбуждая в рабочих горькие воспоминания.

Еще не оправившись от раны, Рунек послал руководителю партии заявление, что отказывается от звания депутата. Даже без тяжелой раны, препятствовавшей ему в течение нескольких месяцев заниматься какой-либо серьезной деятельностью, такой шаг с его стороны был неизбежен; связь между ним и его бывшими товарищами уже давно была лишь формальной, теперь же она окончательно прервалась. Исход новых выборов нетрудно было предсказать: только один человек мог оспаривать звание депутата у хозяина Оденсберга, а теперь этот человек добровольно устранился. Эбергард Дернбург был избран подавляющим большинством голосов; на этот раз Оденсберг подал голоса за него; примирение состоялось.

После выздоровления Эгберт уехал из Оденсберга и долго не появлялся. Он так же как и Дернбург чувствовал, что будущее, на которое они оба надеялись, нельзя было поспешно соединять с прошлым, надо было дать время закрыться внутренним ранам. Рунек долго путешествовал и целый год прожил в Америке; там он закончил образование, начатое еще в Англии. Наконец он вернулся в Оденсберг, обретя долгожданное счастье. Недолго пробыв женихом, он обвенчался с Цецилией; свадьба была самая скромная.

В господском доме царило веселое, праздничное оживление; ожидали молодую чету, возвращавшуюся после свадеб-

ного путешествия. Леони Гагенбах, продолжавшая и после замужества поддерживать близкие отношения с домом Дернбурга, заканчивала приготовления к встрече. Из болезненной, нервной, отцветающей девушки вышла веселая и привлекательная женщина; доктор и в качестве супруга не потерял авторитета врача – он полностью отучил жену от ненавистных нервов.

Леони уже закончила свои дела, когда вошел ее муж. И на него брак оказал благотворное влияние; он выглядел довольным, его речь и манеры изменились; видно было, что он серьезно захотел «стать человеком».

– Я зашел только на минутку, чтобы сказать тебе, Леони, что мне надо еще сходить к одному больному; но это не займет много времени, и к приезду гостей я обязательно буду здесь.

– Они ведь приедут только к двум, – заметила Леони. – Но еще один вопрос, милый Гуго: ты подумал о деле Дагоберта? Доктор сердито нахмурился.

– Тут нечего думать! Сохрани меня, Бог, послать мальчишке триста марок, которые, по его словам, ему так необходимы. Пусть обходится тем, что я раз и навсегда назначил ему.

– Но ведь эта сумма не такая уж большая, и вообще тебе нечего жаловаться на Дагоберта – работает он прилежно, пишет нам регулярно...

– И воспевает тебя в стихах и в прозе тоже прилежно, –

закончил Гагенбах. – Положим, к такому глупому малому ни один разумный человек ревновать не станет, хотя он, узнав о нашей помолвке, и осмелился написать мне, что я изменчески нанес смертельный удар его сердцу. Впрочем, этот удар несколько не мешает ему при каждом удобном случае прятаться за спину своей тетушки, когда он желает получить что-либо от меня, изменника, а она, тетушка, к сожалению, всегда на его стороне. Но в данном случае и это не поможет, Дагоберт не получит денег, и хватит об этом!

Леони не противоречила; она только снисходительно улыбнулась и переменяла тему разговора.

– Сегодня мы будем в самом тесном семейном кругу, – заметила она, – приглашен только граф Экардштейн.

– Надеюсь, это означает, что у нас в доме скоро опять появится невеста и что вскоре в замок Экардштейн войдет молодая графиня?

Леони с сомнением покачала головой.

– Ну, до этого, кажется, еще далеко. Дербург желает этого несомненно, но Майя все еще не решается; кто знает, каков будет ее ответ, если граф вздумает объясниться.

– Но не может же она вечно грустить о женихе! Ведь она была тогда еще почти ребенком.

– И все-таки его смерть чуть не стоила ей жизни.

– Да, ужасное было время! – со вздохом сказал Гагенбах. – С одной стороны Эгберт, находившийся между жизнью и смертью, с другой – Майя, также собравшаяся уме-

реть, а между ними Цецилия, преспокойно объявившая мне однажды, когда Рунеку было плохо, что если мне не удастся спасти ее Эгберта, то и она не желает жить. Невеселое время пережили мы женихом и невестой! Слава Богу, что брак лучше. Однако пора! Я еще зайду домой; нет ли у тебя какого поручения?

– Одно, маленькое; ты ведь посылаешь кучера на станцию, так пусть он захватит на почту письмо с деньгами.

– С какими деньгами? – подозрительно спросил доктор.

– С тремястами марками для Дагоберта. Я уже приготовила письмо – оно лежит на твоём столе; тебе остается только дать деньги, милый Гуго.

– Леони, что это тебе вздумалось? Я ведь сказал тебе и повторяю, что...

Но повторить ему не удалось, потому что жена перебила его.

– Я знаю, Гуго! Ты представляешься суровым, а на деле ты сама доброта. Ведь ты давно решил послать бедному мальчику деньги...

– И не думал! – в ярости крикнул доктор.

– Нет, думал! – ответила Леони так решительно, что протестовать было совершенно невозможно. – Ты просто боишься подорвать свой авторитет и в этом, конечно, прав, как и всегда. Поэтому-то я и избавила тебя от необходимости писать Дагоберту; я сделала это единственно ради тебя; ты сам это видишь, милый Гуго.

«Милый Гуго» уже многое научился видеть за время своей супружеской жизни. Он никогда не слышал противоречия, и все делалось исключительно по своей воле, – жена ежедневно повторяла ему это, да и сам он почти всегда был того же мнения, но в Оденсберге думали иначе и утверждали, что всем в доме заправляет докторша. Как бы то ни было, а письмо с тремястами марками было отослано... через час.

В гостиной у окна сидела Майя; у ее ног лежал Пук, который стал более спокойным, правда, с ним не играли как прежде; конечно, его молодая хозяйка ласкала его, но веселые игры с ним прекратились уже два года тому назад. Вообще, она не была больше «маленькой Майей», ребячески прелестным существом, резвым, смеющимся, с лучезарными глазками. Ребенок превратился в тихую, серьезную девушку; ее карие глаза были омрачены глубокой тенью, указывавшей на горе, с которым она все еще не могла справиться.

Вокруг было тихо. Майя задумчиво глядела в окно на светлый летний день. В комнату вошел отец. Его волосы стали совсем белыми, но в остальном он был прежним.

– Ты смотришь, не видно ли экипажа? – спросил он.

– Нет, папа, еще рано, Эгберт и Цецилия будут не раньше чем через час, но так как все приготовления к их встрече уже окончены, то...

– Тем лучше; значит у нас остается час исключительно для нашего гостя: приехал Экардштейн; он в моем кабинете.

– Да? Почему же он не пришел с тобой?

– Потому что нашел необходимым послать меня вперед в качестве парламентаря. У нас с ним был длинный и серьезный разговор; должен ли я сообщить тебе его содержание или ты догадываешься?

Майя встала. Она побледнела и с мольбой взглянула на отца.

– Папа, ты не мог бы избавить меня от этого?

– Нет, дитя мое, – серьезно сказал Дернбург. – Виктор на этот раз хочет добиться ответа, и ты должна будешь выслушать его. Он просил моего заступничества, и я обещал, потому что должен загладить свою вину перед ним: он еще три года тому назад домогался твоей руки, хотя до открытого предложения дело не дошло; я увидел в просьбе бедняка-офицера лишь расчет и дал ему очень горько почувствовать это; но он доказал, что его любовь – настоящая, и я очень охотно отдал бы в его руки счастье моей Майи.

– Я хотела бы остаться с тобой, папа, – ответила девушка, почти со страхом прильнув к его груди. – Разве ты не хочешь, чтобы я осталась с тобой.

– Дитя мое, мы ведь не расстанемся, если ты станешь женой Виктора. Тебе известно, что заставило его до сих пор избегать Экардштейна; получив твое согласие, он сразу выйдет в отставку и займется имением. Тогда мы будем вместе; ведь Экардштейн так близко.

– Я не могу! – горячо воскликнула Майя. – Оскар прико-

вал меня к себе живой и мертвый. Я много раз с болью в сердце переживала умоляющий взгляд Виктора, но я не сме- ла понять его немую просьбу. Я не могу быть счастливой с другим!

– Немногим судьба предназначила быть счастливыми, – серьезно возразил Дернбург, – но обязанность делать счастливыми других, если это зависит от нас, лежит на всех нас. Виктор знает все, что было; он не требует от тебя той страст- ной любви, связывавшей тебя с Оскаром; может быть, он да- же и не понял бы ее; но ты необходима ему для счастья, и его честное, искреннее чувство, разумеется, стоит того, что- бы ты ради него постаралась прогнать свои воспоминания. Ты вполне свободна. Майя; подумай только об одном: жела- ющий жить должен жить для других.

Молодая девушка ничего не ответила, и две тяжелые сле- зы медленно выкатились из-под ее ресниц; речь отца оказала свое действие.

– Что же мне сказать графу? – спросил Дернбург.

Майя прижала обе руки к груди, опустила голову и едва слышно ответила:

– Скажи... что я его жду.

Отец обнял ее и сказал с глубоким волнением:

– Это хорошо, моя бедняжка, моя мужественная девочка!

Пять минут спустя граф вошел в комнату. Он почти не изменился внешне, только его лицо стало серьезнее и муже- ственнее. Впрочем, в настоящую минуту во всем его облике

чувствовалось волнение и тревога.

– Ваш папа сказал мне, что я найду вас одну, Майя, – заговорил он. – Я хотел бы сказать вам очень много, но не знаю, пожелаете ли вы выслушать меня.

Майя стояла потупившись; по ее лицу начал разливаться легкий румянец. Она утвердительно кивнула головой.

По-видимому, граф ждал иного знака одобрения; в его голосе послышался легкий оттенок горечи.

– Мне нелегко было обратиться со своей просьбой и выражением своих желаний сначала к другому человеку, хоть это и был ваш отец; но вы всегда так сторонились меня, Майя, так мало подавали мне надежды, что я не посмел прямо вам задать вопрос, от которого зависит счастье всей моей жизни. Я чувствую, что нуждаюсь в заступнике.

– Я не хотела огорчать вас, Виктор, право, нет. – Майя протянула ему руку прежним детски-доверчивым жестом.

– А между тем вы причинили мне немало горя своим постоянным молчаливым протестом, – сказал Виктор с укоризной. – С того часа, когда я нашел в тесном домике «гнома», с того мгновения, когда из-под серого капюшона появилось милое личико моей подруги детства, я знал, в чем мое счастье! Могу я наконец высказаться? Майя, я люблю тебя больше всего на свете, я не могу без тебя жить!

Такие же слова девушка слышала когда-то из уст другого человека, но сейчас они не показались ей пламенным излиянием любви, а выражали только теплое сердечное чувство, и

Майя не была бы женщиной, если бы осталась равнодушной к такой постоянной, искренней любви.

– Если ты хочешь этого, Виктор, то... я согласна! – тихо сказала она. – Я всегда любила тебя, с самого детства.

Виктор с радостным восклицанием прижал ее к груди.

Помолвка, о которой сразу сообщили отцу, разумеется, так заняла всех обитателей дома, что все забыли об экипаже, который теперь показался на вершине лесистого холма. Дорога шла сначала по возвышенности, а потом спускалась в долину; внизу, среди зеленых гор, раскинулся Оденсберг. Прокатные цехи уже давно снова были отстроены, а к прежним постройкам присоседились новые дернбургские заводы развивались и расширялись с каждым годом.

Цецилия в простом сером дорожном туалете, перегнувшись через дверцу открытого экипажа, смотрела вниз, где из-за деревьев парка виднелся господский дом. Теперь красота ее расцвела полностью, она удивительно похорошела. Но человек, сидевший рядом с ней, очень изменился. Это был прежний Рунек, полный силы и энергии, готовый, казалось, посостязаться с целым миром, но в его серых глазах появилось другое выражение: в них было что-то ясное, светлое, и нетрудно было догадаться о причине такой перемены.

– Вот наша родина, Цецилия! – сказал Рунек, указывая на дом. – Но ты так не любила Оденсберг... Сможешь ли ты жить здесь?

– Когда ты рядом? И ты еще спрашиваешь? – с легким

упреком возразила молодая женщина.

– Да, со мной, с неотесанным Эгбертом, у которого даже не всегда будет время для тебя из-за работы. Во время нашего свадебного путешествия я принадлежал тебе одной, мы могли мечтать; но теперь меня ждет работа с ее обязанностями и заботами, и это довольно-таки часто будет отвлекать меня. Поймешь ли ты это, Цецилия? До сих пор ты была очень далека от всего этого.

– Конечно, я должна буду еще учиться разделять с тобой заботы и обязанности. Ты научишь меня этому, Эгберт? А разве ты умеешь мечтать? Где ты этому научился?

Взгляд Эгберта скользнул по лесистым горам и остановился на одинокой скале, на вершине которой в ясных лучах солнца сверкал крест Альбенштейна.

– Там, наверху, – тихо сказал он, – когда вокруг нас шумел лес, а из долины доносился колокольный звон. Это было тяжелое время для тебя, моя дорогая. Мне пришлось безжалостно лишить тебя твоего невинного счастья, разбить вдребезги чудный мир, в котором ты жила до той поры, и показать тебе пропасть, над которой ты стояла.

– Не хули то время, – прижимаясь к нему, сказала Цецилия, – я тогда проснулась и научилась видеть и думать. Знаешь, Эгберт, тогда я все время вспоминала сказание о разрыв-траве, заставляющей скалу выдать скрытое в ее недрах сокровище. Ты тогда так сурово и грубо выкрикнул: «В недрах земли пусто и мертво! Сокровищ больше не существу-

ет!», а между тем...

– Сам превратился в кладоискателя! – закончил Эгберт, наклоняясь и заглядывая в темные, влажно блестящие глаза жены. – Ты права, тогда я завоевал тебя.

Несколько часов спустя, Цецилия разговаривала в гостиной с Майей и графом Виктором, а Дернбург с Рунеком вышли на террасу.

– Ты приехал вовремя, Эгберт, – сказал он. – Директору с его плохим здоровьем не по плечу его обязанности; он хотел выйти в отставку еще несколько месяцев назад, но я уговорил его остаться до того времени, пока ты не заменишь его и не возьмешь на себя управление заводами. Я очень рад также и тому, что в доме опять будет Цецилия, потому что Майя недолго останется со мной: Виктор уже поговаривает о свадьбе; он совсем опьянен счастьем.

– Зато Майя не проявляет особенной радости. Она охотно дала согласие?

– Нет, не охотно, но добровольно. Раз слово дано, она постепенно справится с болью, которую ей причинила любовь и смерть Оскара; теперь между ней и воспоминанием о нем стоит долг, и она пересилит себя.

– А граф Виктор поможет ей в этом.

– В этом я убежден. Он далеко не такая сложная натура, как... – Дернбург бросил искоса взгляд на своего приемного сына, – как другой, известный нам человек, которого, собственно, я прочил в мужа Майе, но который, к сожалению,

всегда шел своей дорогой и следовал лишь убеждениям, засевшим в его упрямой голове; так же «Поступил он и в любви.

– До сих пор ты мало видел радости от своего сына, – сказал Эгберт, борясь с волнением. – Ему пришлось даже вступить с тобой в открытую борьбу, но, поверь мне, отец, я больше всех страдал от этого, а теперь все мои силы принадлежат тебе и твоему Оденсбергу.

– Мы употребим их в дело. Я уже чувствую подчас свою старость; кто знает, надолго ли хватит моих сил. До тех пор ты будешь возле меня, и, я думаю, общими усилиями мы найдем возможность преодолеть разделяющие нас с тобой разногласия. Мы уже говорили об этом, когда ты вернулся из Америки.

Глаза Эгберта открыто и смело встретились с глазами Дернабурга.

– Да, и я счел своим долгом сказать тебе всю правду, когда ты выразил желание передать мне управление заводами. Я навсегда порвал с социал-демократической партией, но не с великой правдой, лежащей в основе этого движения; ей я не изменю, ее я буду отстаивать, за нее буду бороться всю жизнь.

– Я знаю это, – ответил Дернабург, протягивая ему руку, – но и я кое-чему научился в те тяжелые дни. Я уже не прежний упрямец, считающий, что могу один противостоять новому времени. Правда, я не могу с распростертыми объяти-

ями встретить это новое время, ведь я всю жизнь отстаивал свою точку зрения и не могу изменить самому себе; но я привлеку себе на помощь молодую, свежую силу. Когда я передам Оденсберг полностью в твои руки, ты, Эгберт, начнешь здесь новую эпоху; я не стану тебе мешать. А пока пусть каждый из нас будет свободен!